

Н И К . Ш П А Н О В



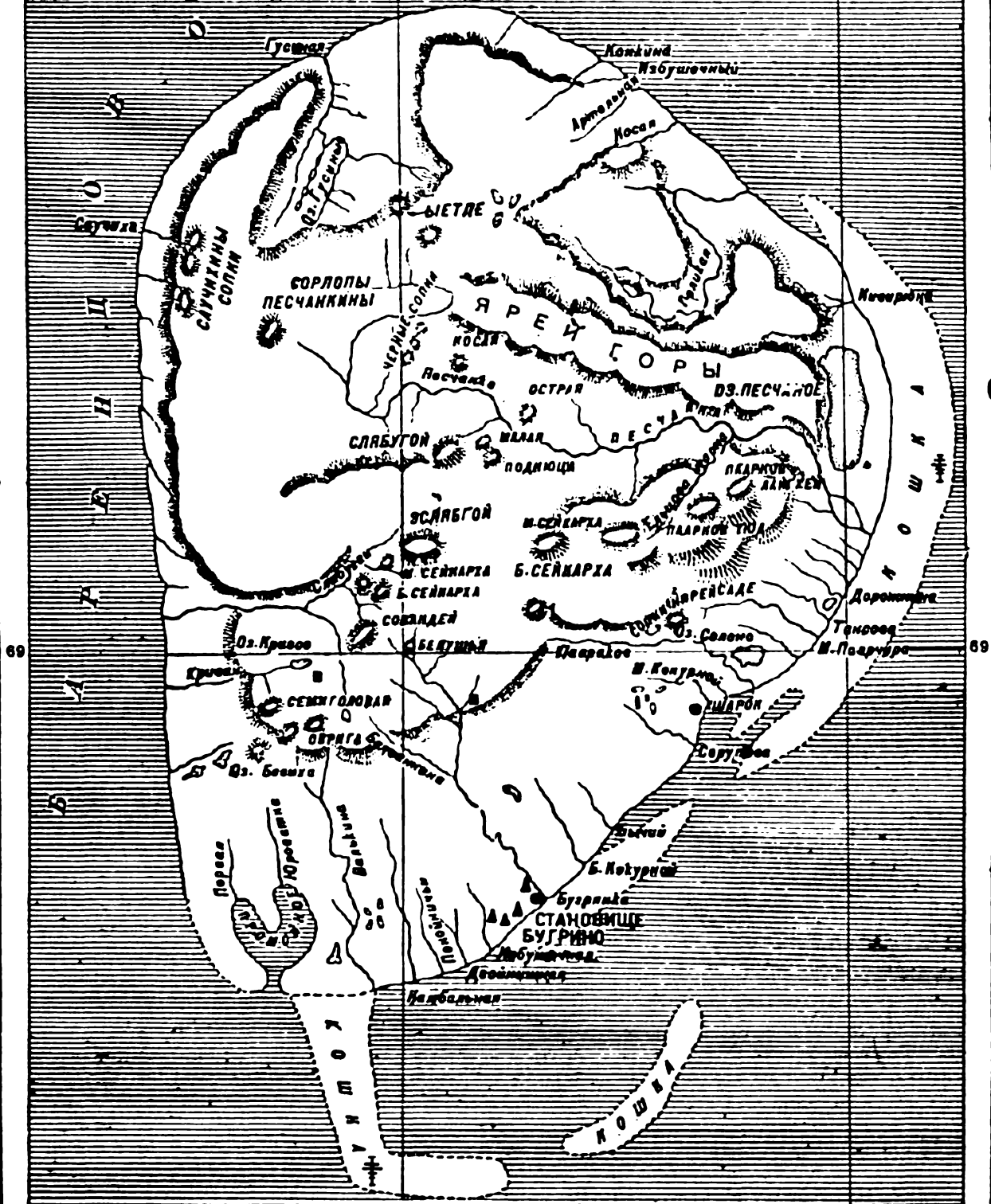
К Р Д И
З Е М Л И

¹ ⁰ ³ ⁰
МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ



КАРТА ОСТРОВА КОЛГУЕВА (ХОЛГОЛА)

МАСШТАБ:
1 км 0 5 10 15 км



Сост. по экспедиции Перфильева, М. Мурашев.

НИК. ШПАНОВ

КРАЙ ЗЕМЛИ

*С 8 рисунками с натуры худ. Василия Беляева,
40 фотографиями А. П. Никольского и 4 картами*

**Типография Изд-ва „Молодая
Гвардия“, Ленинград, В. О.,
5 лин. 28. Заказ Изд. № 4181.
Главлит № А-71010. Тираж
4.110 экз. Печати. лист. 20.**

Наше юношество прежде всего должно познакомиться с тем миром, на который направлен человеческий труд. И если бы за работу сели знающие люди, обладающие небольшой литературной талантливостью, как сумели бы они увлечь читателей живым рассказом хотя бы о наших природных богатствах: о лесах севера, об угле и рудах Донбасса, об умиравшем при власти помещика мощном Урале, Кавказе и о неисчислимых богатствах хотя бы только одного Кузнецкого или Алтайского района. Это вернее, чем вся „гуманная“ литература, вдохнет в юношество пафос трудовой борьбы, пафос строительства, обновляющего весь мир.

И. Скворцов-Степанов

ПРЕДИСЛОВИЕ

Английские географы гордятся тем, что они знают каждый клочок британских владений. Они правы вдвойне: они действительно знают географию Британской империи и они действительно вправе этим гордиться. Австралия, Индия, Африка, Канада — все это так далеко от самой Англии. Тысячи и десятки тысяч километров пути отделяют заморские владения от метрополии, и между тем нет такого клочка ни в одном самом диком, самом необитаемом уголке доминионов или колоний, где англичанин не попирает бы почву своим тяжелым походным сапогом.

И не только те края исходили вдоль и поперек английские географы, где английский паспорт является законным документом, а и туда, куда доступ европейцу запрещен под страхом смерти, назойливо лезут передовые ищейки британского империализма, сначала узнать, обнюхать со всех сторон, излазить вдоль и поперек привлекающий их кусок земного шара и после того попытаться подмять его под широкую когтистую лапу жадного британского льва.

Вот принцип англичан.

Толкаемые жадными до наживы купцами, поощряемые щедрыми премиями адмиралтейства, английские мореплаватели исколесили все воды нашей планеты от Арктики до Антарктики.

И прежде всего борьба оформившегося и осознавшего себя английского империализма была борьбой за географию. Не даром история морских открытий наполовину является историей английского мореплавания, а в истории исследования Азии, Африки, Австралии и Америки английским географам принадлежит одно из самых почетных мест.

На истории вытеснения англичанами с морей таких исторических мореплавателей, как португальцы, испанцы и позднее голландцы, чрезвычайно рельефно выпирает значение познания англичанами арены борьбы.

Их предшественники, фактически владевшие основными европейско-азиатскими путями, заставили англичан начинать свою морскую карьеру на далеком севере в поисках северных путей из Атлантического бассейна в бассейн Тихого океана, считавшийся тогда единственно привлекательной целью для купца. Но португальцы и испанцы, понуждаемые разлагающимися морально правящими кругами своих государств, вырождались из купцов-исследователей в чистых конквистадоров, стремившихся только к тому, чтобы добыть золото там, где его можно было вышибать мечом из рук цветных народов, населявших неизвестные завоевателям страны.

Политика англичан была более дальновидной. Они шли не путем завоевания вслепую, а путем овладения через познание нужных им областей. Изучение и географическое исследование всегда сопутствовало и сопутствует англичанам в их захватнической деятельности.

Англия и Советский Союз — антиподы. Мы не собираемся и не хотим никого и ничего завоевывать и покорять. Как путь к осуществлению постоянных империалистических тенденций, география нас не интере-

сует, но искусству географических исследований и науке познания земли мы все-таки должны у англичан научиться. Имена многих русских исследователей-путешественников вписаны золотыми буквами в историю познания земного шара. Но как бы блестящи ни были заслуги наших отечественных географов и краеведов, то, что сделано нами, ничтожно мало. Настолько позорно мало, что не имеем даже права сказать: «мы знаем свою страну». По сравнению с правительствами других стран, правительство Российской империи никогда не отличалось стремлением к познанию подвластных ему территорий. Только вторая половина XIX и первые годы XX веков ознаменовались некоторым оживлением в области возрождения географии и краеведения России. Но и тогда правящие верхи продолжали гораздо больше интересоваться топографией фешенебельных курортных местностей Западной Европы, чем географией страны, в которой они жили и которой управляли.

Большинство отрицательных явлений, порождаемых человеческой косностью и реакционной неподвижностью, обладают значительной инерцией. Вероятно, поэтому в нашей стране, где в силу исторически сложившейся обстановки крестьянин был прикован к своей сохе, рабочий—к станку, интеллигент—к своему столу, и где для немногих людей, располагающих реальной возможностью передвижения в любом направлении, изучение географии при наличии извозчиков почиталось излишним и даже предосудительным, вероятно, поэтому прохладное отношение к проблеме изучения отечественной географии, не говоря уже о мировой, грозило до самого последнего времени перейти из тяжелого наследия в печальную и позорную традицию.

Это тем более удивительно, что, с одной стороны, именно наша страна является одной из наименее исследованных культурных стран, и, с другой, ни одно государство не предоставляет к услугам географа и краеведа столь разнообразного и захватывающе интересного поля деятельности, как именно Союз ССР. От знойных песков средней Азии до закованной в лед земли Франца Иосифа, от Черного моря до Тихого океана мы располагаем тем, чем не располагает больше никто, кроме разве Северо-Американских Соединенных Штатов.

Даже самые насущные нужды заселения и использования природных богатств ряда областей Советского Союза говорят о необходимости наиболее интенсивного развития деятельности наших географов. Первостепенная важность географического и краеведческого исследования самых отдаленных и на первый взгляд бесполезных уголков Союза постепенно осознается советской общественностью. Однако следует сознаться со всей откровенностью, что почва для быстрого продвижения этого вопроса продолжает оставаться весьма мало благоприятной как в отношении подготовленности широких масс трудящихся к восприятию самой идеи, так и в отношении материальных возможностей для ее осуществления. Следует твердо усвоить, что недостаточно поставить задачу и ассигновать средства для ее осуществления. Нужна культура путешествия.

Быть может, многим слово «культура» покажется здесь неуместным, но это именно так.

Прежде всего, больше чем в каком бы то ни было другом деле работа изучения географии и краеведения страны является работой коллективной, а иногда даже и подлинно массовой. Каждый, в ком существует склон-

ность к передвижению, к посещению неизвестных еще мест, как пчела в улей, должен нести крупицу своих знаний и наблюдений в сокровищницу советской географии.

Для этого нужны кадры, огромные кадры людей, любящих путешествие и умеющих путешествовать. Не тех туристов, которые умеют ездить на автомобиле по Военно-грузинской дороге и восходить на засиженные «вершины», а людей, ищущих мест, где до них вообще никто не бывал или бывали немногие.

Но мало людей, нужны еще и технические средства. В горное путешествие не поедешь с фанерным чемоданом и в городских ботинках; отправиться на дальний север в овчинном полушубке с той несуразной сумкой, которую у нас называют рюкзаком, с лыжами, прикрепляющимися к ногам рвущимися на каждом километре ремнями, это значит обречь себя на то, чтобы не сходить с палубы судна или замерзнуть где-нибудь, беспомощно сидя на льду в намокшей овчине.

У нас нет снаряжения, мы не умеем его изготовлять. У нас не уделяют этому должного внимания.

У нас нечего одеть туристу; нет таких консервов, которые он спокойно мог бы взять с собой: в уверенности, что получит сытную и вкусную пищу в пути; нет палаток, в которых путешественник мог бы укрыться от дождя и холода; нет самой простой походной спиртовки с сухим спиртом, на которой можно было бы согреть себе пищу.

Можно ли при таких условиях путешествовать иначе чем в поезде? Можно ли изучать свою страну? Можно ли считать для себя правилом использовать хотя бы отпуск для путешествия и туризма?

У нас привыкли с вожделением думать о прелестях Крыма и Кавказа как о чем-то само собой разумеющемся, когда речь идет об отдыхе. Вообще юг, зной, ленивое барахтанье в волнах прибоя — вот идеал отдыха. И поверит ли кто-нибудь, что не на советский юг, а на советский север должен с надеждой смотреть всякий, кто хочет провести отдых не в нервной грызне с соседом по пляжу, не в душных конурах курортов, а в подлинном, единственно полном общении с природой, в окружении абсолютного покоя, в состоянии постоянного, физически укрепляющего движения среди незаплеванной, ошеломляющей своей девственной чистотой природы.

Только на север!

Новые места, новые люди. Люди только тогда, когда хочешь их видеть — вот идеал туриста, и он вполне осуществим только на севере.

При всей своей кажущейся бедности север грандиозно богат. В нем вовсе не так мало колорита и красок, как принято думать. Нужно только уметь различать их в подавляющей суровости северных пейзажей.

Идите на север!

Каждый, кто раз побывал на крайнем севере, вернется туда еще раз. И это хорошо, нам нужно изучать наш север, потому что подавляющая часть нашего Союза приходится на северные широты и, к нашему несчастью, именно эта часть является наименее изученной. Всякий путешественник, всякий турист своим дневником, статьей, брошюрой, книжкой внесет посильную долю в дело познания нашей великой страны.

Я далек от надежды, что по этой книжке читатель сумеет составить себе более или менее четкое предста-

вление о жизни на островах Северного Ледовитого океана, посещенных мною на этот раз, но если хотя бы немногие отдельные моменты жизни севера оставят в нем некоторое впечатление, я буду считать свою задачу выполненной.

Там, далеко на севере, в постоянных лишениях и в неравной борьбе с суровой природой живут граждане Советской Страны. Своим тяжелым трудом эти далекие сыны советов вносят большую долю в дело поднятия хозяйства всего Союза. Они дают в наше распоряжение ценнейшие товары, превращающиеся на внешнем рынке в станки и машины, нужные для великой исторической стройки.

Жители крайнего севера дают продукты своего труда, не имея представления о том, что если бы к ним на помощь пришел коллективный разум живущих на юге людей, с его колоссальным запасом энергии, знаний и опыта — их труд мог бы стать неизмеримо более продуктивным, их жизнь из жизни полузверей могла бы превратиться в нормальную жизнь мыслящих людей. В свою очередь, и страна использует продукты труда северян, ничего не зная ни об этом труде ни о жизни заброшенных на снежные просторы севера пасынков природы. А если бы люди, живущие на юге, знали жизнь севера, они своим разумом пришли бы ему на помощь и умножили бы богатства, приходящие от северян.

Таким образом каждый грамотный, побывавший на севере, должен чувствовать за собой двойной долг: перед полудикими людьми далекого севера, ждущими помощи с юга, и перед людьми юга, имеющими право получить от севера много больше, чем он дает сейчас. Их нужно познакомить.

И если из этих путевых записок людям юга сделается понятной и знакомой хоть одна черта на широком туманном лице советского севера, я буду считать свой долг перед севером и югом выполненным. Я буду считать свою крохотную долю внесенной в сокровищницу познания лица великой Страны Советов.

Весьма вероятно, кое-кто из читателей склонен будет сделать мне упрек: автор дал в своих записках много отрицательного, он проглядел все то положительное, что происходит в нашей огромной работе по освоению северных окраин Союза. Этим читателям я хочу предупредить: да, я видел много хорошего, много отрадного, и все отрадное и большое, что я видел, нашло у меня отражение. Но я видел и очень много плохого больше чем хотелось бы видеть. И мог ли я умолчать об этой стороне, имел ли я право на замазывание тех прорех, о которых должна знать советская общественность, строящая слишком большое дело, чтобы смущаться отдельными неудачами и недочетами, может быть, иногда даже недобросовестностью исполнителей? Я не писал парадной статьи для парадного отчета, я писал только о том, что видел — о хорошем так же откровенно, как о плохом. Я считаю, что в этом заключается мой долг перед нашей молодой страной, перед ее великой стройкой — откровенно говорить обо всем, что видишь. Знать недостатки — значит наполовину уже их уничтожить. Лишь бы была воля к их уничтожению, а такая воля у Советского Союза есть.

Автор

ПРЕДПУТЬЕ

1. БЕЛЫЙ МИКРОБ

Еще не сошел снег на серых безлистных бульварах; еще солнце кажется новинкой, и хочется беззаботно ловить короткие часы неуверенного тепла, убегающего от малейших порывов холодного апрельского ветра; москвичи еще щурятся отвыкшими от яркого света глазами на опрокинутые столбы крутящегося роя пылинок, пересекающие замурованные двойными рамами комнаты; еще никто не думает о большем, нежели: одеть или не одеть весеннее пальто, а я уже слышу со всех сторон:

— Куда же вы едете, где вы проводите это лето?

А что я могу сказать, почему я знаю, куда я еду? Наша страна так безмерно велика; куда ни поедешь по ней, на запад ли, на восток, на юг или на север, везде можно встретить столько интересного и нового.

Хорошо бы, правда, на юг, в широкие, обожженные беспощадным солнцем пустыни средней Азии, где мерно неделю за неделей мягко будет ступать твой верблюд, или на суровые, дышащие ознобом склоны Памира, где придется цепляться за холку коня, скребущего копытами камень и снег заоблачных перевалов. А быть может, лучше двинуться на восток, в дебри Сихотэ-Алиня, где можно спастись от зноя под плотным зеленым шатром тиссов и освежить усталые ноги в студе-

ной воде горной речушки, такой студеной, что ступени делаются через пять минут совсем синими; где без топора нельзя сделать ни шагу по заплетенной лианами тайге и где нельзя спать без костра, если не хочешь заниматься ночью приемом рыси или медведя; где желто-черный хозяин уссурийской тайги, родной брат бенгальского тигра, приходит напиться из ручья, в котором ты черпал воду для чая. Быть может, туда?

Унылыми и бледными кажутся степи, давит проникающее во все поры жидкое золото солнца; нечем дышать в теснинах, как плотным строем толпы наполненных бесконечными рядами деревьев. Все это не то.

Я уже купался в безмерном сиянии полярного льда, из которого незаходящее солнце вырывает мириады алмазов и рассыпает их в воздухе слепящим световым дождем.

Этот дождь падает на изумрудные глыбы неподвижных полей и вместе с аквамариновой пылью снова взвивается вверх до самого тусклого неба взметающимся фейерверком.

Вакханалия света, полная палитра красок, неудержимое движение там, где все мертво, где все неподвижно, где солнце до подлости скупое.

Я уже видел все это. Я ступал ногой на колышущуюся поверхность торосов, под моей лыжей хрустел ненаслеженный снег ледяных полей полярного моря.

Я должен видеть все это. Я должен окунуться в бездну, наполненную алмазной аквамариновой пылью. Я должен еще раз дышать воздухом, которым еще не дышал человек. Кто отравлен белым микробом, может желать только севера.

На север! Только на север!

2. МЫ ВЫБИРАЕМ МАРШРУТ

Кинооператор Блувштейн, с которым мы делили каюту на борту «Красина» в экспедиции к берегам Шпицбергена, с видом завязтого трубочника набил длинную трубку и закурил. Обычно Блувштейн не курил трубки, поэтому и набивал ее плохо и курить не умел. Трубка ежеминутно гасла. Блувштейн вновь ее раскуривал, пока, наконец, темная слякоть слюны и никотина не заставила его перекошиться.

Я знаю этот вкус и верю тому, что он действительно способен испортить все очарование любовно смакуемых прелестей Берлина — темы, более чем устойчивой во всех разговорах моего бывшего соплавателя: «А вот когда я был в Берлине...»

Иногда в минуты углубленного самосозерцания, когда воспоминания давили на Блувштейна со всей реальностью галлюцинаций, вместо рассказов о Берлине, из глубины кресла доносилось: «Ramona, du bist...», и огромные ступни плавно двигались в такт мотиву.

Впечатление, произведенное никотином, было мне очень на руку. Прелести Берлина, его локалы, кинозалы и кинозвезды — все это в данный момент интересовало меня значительно меньше, чем та тема, ради которой Блувштейн сидел у меня: куда мы едем в этом году?

Сменив незадачливую трубку на самую обыкновенную папиросу, Блувштейн снова ожил и заговорил.

— Послушайте, на что вам дался этот «Лидтке»? Представьте себе поясней огромную коробку, набитую так называемыми учеными, считающими себя солью земли

только потому, что их интересует то, что неинтересно больше никому на корабле; кочегарами, матюкающимися по поводу чистого воротничка, одетого на таком явном бездельнике, как вы; кучей сварливых журналистов, жадно следящих за вашим карандашом и ревниво охраняющих свою очередь на радиорубке. Разве вас не тошнит от одной мысли обо всем этом и разве не равноценно это блевотине, на которую вы натываетесь на поле девственно чистого полярного льда?

— Но, милый мой, я не могу дать распоряжения капитану моей яхты подготовиться к самостоятельному походу к полюсу и не могу выписать чек на сто тысяч ..

— Darling, без дураков... — Кольцо синего дыма взвилось над спинкой кресла и, медленно растворяясь, поплыло к потолку. — Я всегда считал, что у вас на плечах еврейская голова.

— Благодарю, но...

— Погодите, я — киночеловек, вы — писака. Наши интересы в значительной мере сходятся. Нам нужны одни и те же объекты, — не осколок камня, от которого изошел бы слюной Самойлович; не позвоночник кита, который Иванов мог бы приписать ихтиозавру; не желтый листок какой-нибудь невиданной травки. Все это, конечно, очень ценно, но нам с вами нужны живые люди, нужна жизнь, нужна природа во всем ее величии. Мне нужно показать это на пленке, вам на страницах вашей очередной халтуры...

— Но...

— Ну, ладно, ладно, не залупайтесь.

Новое голубое кольцо поднимается ввысь. Переплетаясь с густым облаком дыма из моей трубки, оно ме-

чется в золотом снопе, пронизывающем стекла балконной двери. Дым смешался, как наши мысли, и общей тонкой волной понесся в форточку.

Блувштейн удовлетворенно крикнул.

— Едрихен штрихен! Для того, чтобы путешествовать, вовсе не нужен «Лидтке». Давайте поищем чего-нибудь более компактного и поворотливого, что способно было бы йтти туда, куда нужно нам, а не тащило бы нас с собой как трюмных крыс помимо нашей воли. Но сначала все-таки нужно точно наметить наиболее интересующий нас материал...

Много ночей просидел я после этого разговора над картами. Книги, журналы, папки неопубликованных рукописей горой нарастали на моем бюро.

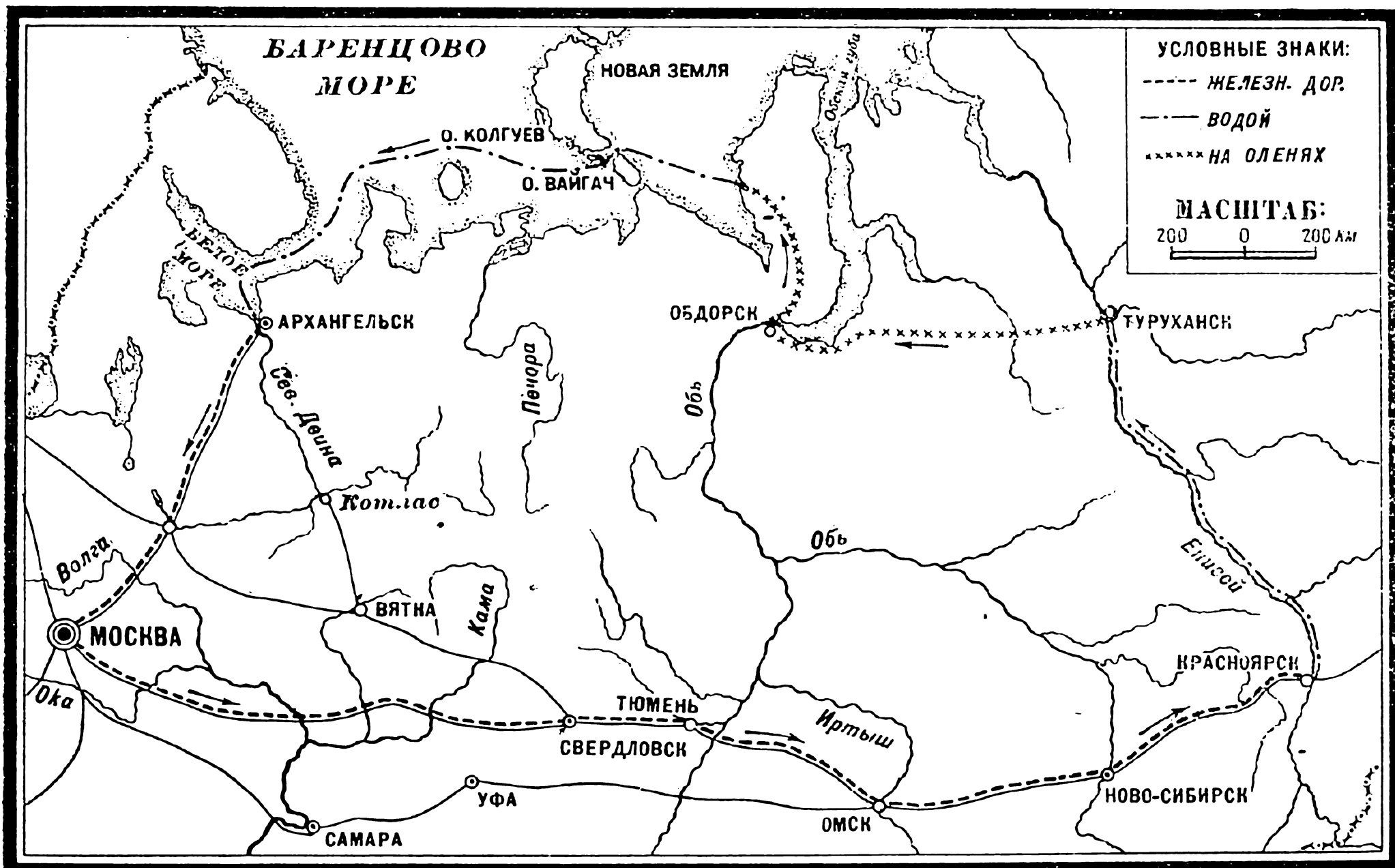
Иногда приходил Блувштейн. Тогда на сцену появлялся патефон, и рассуждения о различных вариантах маршрутов чередовались с

«Ramona, du bist...»

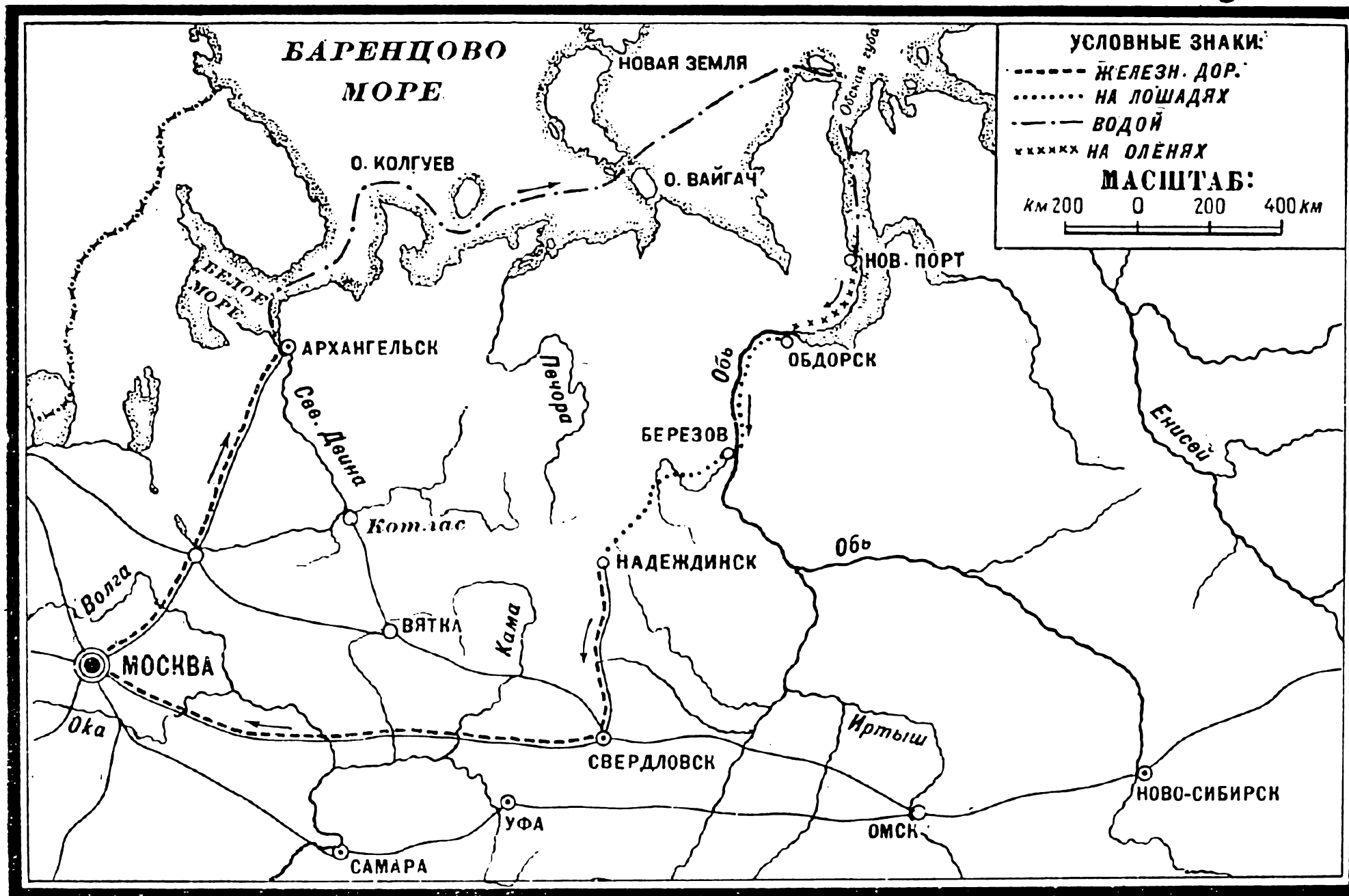
Размышления о предстоящем северном путешествии в голове Блувштейна отлично уживались с невыветрившимися воспоминаниями о том же Берлине.

Два наиболее интересных варианта маршрута нам пришлось совершенно отбросить: один требовал больше года времени, несмотря на свою кажущуюся краткость, другой требовал затраты таких средств, которых мы не могли рассчитывать достать. Пришлось остановиться на маршруте, нанесенном на карте № 1. Вниз по течению Енисея, затем на оленях через полуостров Ямал и морем с Ямала в Архангельск. В этом намерении нас весьма энергично поддержал старший директор пушного директората Наркомторга СССР А. Б. Этингин. При его деятельной помощи нам удалось заинтересо-

ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ МАРШРУТА ЭКСПЕДИЦИИ



ВТОРОЙ ВАРИАНТ МАРШРУТА ЭКСПЕДИЦИИ



вать своим планом Госторг РСФСР, согласившийся отпустить часть средств, необходимых для нашего путешествия и кинематографической съемки. Остальную часть, в результате хлопот Блувштейна, должно было добавить акционерное общество «Восточное кино».

Не следует, однако, думать, что продвинуть вопрос через дебри госторговских канцелярий было так просто.

Когда казалось, что, наконец, все ясно, согласовано, утрясено и проработано, Госторг вдруг изменил свое мнение о маршруте и предложил заменить Енисей Обью.

В некоторых отношениях такой путь был даже интересней, да и времени для размышлений у нас не оставалось, и так уже размышления Госторга тянулись почти два месяца. Нам ничего не оставалось, как согласиться на предложенный вариант.

«Рамона» звучала значительно более мажорно, и на сцене снова появилась длинная трубка, к которой Блувштейну нужно было привыкнуть ввиду предстоящего длительного отрыва от лотков с папиросами «Наша марка».

Мне предстояла неблагодарная задача делать сценарий, долженствующий удовлетворить вкусу и требованиям сразу нескольких ценителей. По мере движения моих сценариев вверх по иерархической лестнице Госторга, пометки и исправления росли в числе.

Я корпел ночи над переделками и перекраиваниями осатаңевших мне съемочных планов и сценариев, подгоняя их под разноречивые вкусы начальства.

Наконец последний вариант сценария получил утверждение, и мы могли двинуться.

Но скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Только к середине июня мы могли, наконец, сказать: едем.

И точно так же, как до того в кабинетах Госторга и Востоккино нам успокоительно говорили: «успеете», так теперь стали сыпать нетерпеливые: «ехать, пора ехать».

А мы носились высунув язык по Москве в тщетных поисках суррогатов, могущих нам заменить элементарнейшие предметы экспедиционного снаряжения.

Все было плохо. Все было дорого.

Наконец 25 июня куплено было последнее, что нужно Блувштейну, — микифон, и 26 июня Блувштейн с помощником оператора Черепановым сели в архангельский поезд. Я остался еще на сутки, чтобы дополучить в мастерской Общества пролетарского туризма не сделанные к сроку рюкзаки и палатки.

В ночь на 28 июня, совершенно измотанный и больной, с температурой почти 40°, с горлом, через которое воздух вырывался с хрипением, я тоже сел в вагон.

В тусклом сиянии уплывающего перрона исчезли лица провожающих. Я с трудом взгромоздился на верхний диван и с наслаждением растянулся на холодном полотне постели.

3. НОРД-ЭКСПРЕСС

Наутро я проснулся довольно поздно. Все мои спутники уже, повидимому, давно поднялись и как-будто успели перезнакомиться. Это были: какой-то москвич, судя по разговору, причастный к Совторгфлоту, и два иностранца лесопромышленника — голландец и немец,

едущие в Архангельск знакомиться на месте с состоянием погрузки леса на их пароходы. Оба они были в необычайно мрачном настроении. Пройдясь по коридору вагона, я склонен был объяснить это настроение тем впечатлением, которое на них произвел этот вагон — единственный мягкий, спальный вагон во всем поезде. Впечатление было жуткое, от которого мы давно уже успели отвыкнуть. В каждом купе была устроена импровизированная столовка. На подоконных столиках, на чемоданах и прямо на диванах пассажиры расположились для еды и чаёвничанья. Перед ними красовались эмалированные или жестяные чайники и кружки, какие берут в дорогу для чистки зубов. На полу около плевательниц громоздились неаппетитные кучки обгрызанной колбасной кожицы и огуречной кожуры; из некоторых кучек глядели изломанные скелеты куриц. При каждом шаге с пола доносилось за душу хватающее хрустенъе рассыпанного сахарного песка.

Мне живо вспомнилось детство, 1903 год. Я ехал тогда с отцом в Манчжурию. Тогда тоже не было в поезде вагона-ресторана, и пассажиры наполняли свои купе объедками и запахом жареных куриц, покупаемых на станциях у баб. И теперь, как и двадцать шесть лет назад, наш поезд медленно плетется мимо тесно сгрудившихся по сторонам насыпи темных рядов елей. На полустанках он так же стоит по полчаса, а остановки на больших станциях, вроде Вологды, измеряются уже часами. Иногда поезд останавливается и в чистом поле или среди темного бора. Тогда пассажиры любопытной гурьбой высыпают из вагонов: одни бросаются ожесточенно рвать цветы около железнодорожного полотна, другие собираются толпой около «за-

болевшего» паровоза или группируются около вагона, у которого загорелась букса.

Двадцать шесть лет тому назад все это было в порядке вещей, люди были к тому готовы и забирали в дорогу солидные библиотеки и надлежащее оборудование для организации столовки в своем купе. Но теперь у большинства из нас не было с собой не только ножей и вилок, но даже чайников. В глазах проводников мы были наивными простаками. За нашу наивность они брали полтинники в обмен на мутную бурюю жидкость, приносимую в кривом, облупленном чайнике. Мы эту жижу жадно пили, заедая станционными пирожками.

Хуже было иностранцам, воротившим нос и от бурой жижи и от пирожков. И голод и жажду они топили в курении — голландец все время сопел большущей трубкой, а немец не выпускал изо рта черную сигару. Как только догорала одна, он тут же закуривал новую. От сизого тумана в купе у нас ничего не было видно. В моей глотке точно кто-то орудовал ружейным ершиком.

Немец по-голландски не говорил; голландец невероятно коверкал скудный запас известных ему немецких слов. Но это не мешало им целый день ругать поезд и наши порядки.

Вскоре в их разговоре принял участие совторгфлотский деятель. Окончательно обалдев от своих сигар, немец туго выдавливал слова в сторону совторгфлотца.

— Скажите, герр, ведь это норд-экспресс?

— Почти.

— Но почему в нем нет вагона-ресторана и почему мы так медленно едем? Неужели все поезда у вас ходят

так ужасно и как можно прожить, не питаясь нормально, много дней, ведь в России такие огромные расстояния?

Лежа на верхнем диване, я слышу, как нарочито долго и звучно отхлебывает чай совторгфлотец, повидимому, выигрывая время на подготовку ответа. Наконец, с хрустом прожевав остатки сахара, он понес какую-то невероятную чушь:

— Видите ли, господа, мы советские варвары — Европе это хорошо известно. И притом варвары, всегда очень близко соприкасающиеся с востоком. От востока мы переняли одну привычку, столь мало свойственную вам, представителям культурных западных наций — гостеприимство. Мы готовы обречь себя на уйму неприятностей и лишений, лишь бы угодить своим гостям, избавить этих гостей от малейшей неприятности. Так вот, все, что вы видите здесь на этой железной дороге, есть не больше как результат нашего гостеприимства. По этой дороге ездит много иностранцев, и притом не какая-нибудь мелочь, а все люди почтенные, торговые, — совторгфлотец галантно раскланялся в сторону собеседников, — так сказать, представители европейского капитала. А нам прекрасно известно, что, сидя у себя в Европах, вы привыкли считать нынешнюю Россию гнилой развалиной, оборванной, голодной, дикой. Страной, которая, ничего не созидая, проживает остатки былого величия. К вашему счастью, европейской прессе удастся поддержать в вас именно такое убеждение, и не дай бог вам собственными глазами убедиться в том, что все это ложь, что Совдепия растет, что в Совдепии ходят настоящие экспрессы с настоящими вагонами-ресторанами, в которых дают не котлеты из древесной коры и не рагу из кошек, а обед из четырех блюд за

рубль тридцать. Ведь если бы вы все это увидели, то по возвращении домой у вас обнаружили бы неполадки в печени и было бы в корне подорвано доверие к почтенной европейской прессе. Вы наши гости, мы не можем подносить вам таких сюрпризов, как здоровый растущий организм вместо рахитичной умирающей утопии. Ради вас мы обрекаем на неудобства сотни своих граждан, привыкших на других линиях к комфорту скорых поездов, и пускаем здесь, где много иностранцев, этот черепаший поезд того типа, который мы пять лет тому назад уже сдали в архив. Это ради вашего душевного покоя и ради...

Я не дослушал этой нелепой речи. Повышенная температура и отяжелевшая от сизого сигарного дыма голова заставили меня искать покоя, и я заснул.

Утром меня разбудил проводник:

— Скоро Архангельск.

Долго сидел я у окошка, но не мог заметить никаких симптомов приближения большого портового города. Когда поезд остановился у низкого дощатого настила с небольшой бревенчатой будкой, в вагон ввалилась гурьба носильщиков. Оказывается, это и есть Архангельск. Пришли мы с опозданием больше двух часов.

Затратив десять минут на переправу через Северную Двину на перевозе, опоздавшем против расписания на сорок минут, я прошел в Коммунальную гостиницу, единственное пристанище в городе, до краев набитое постояльцами, а, как потом оказалось, и жадными жирными клопами.

В этой гостинице мне пришлось гостить достаточно долго, пока местный Госторг подготовлял отправку судна на острова Северного Ледовитого океана.

За это время я имел случай и поскучать и набегаться в хлопотах, познав все прелести удивительного города

4. ПУШИСТОЕ ЗОЛОТО

Обидно терять драгоценное время в унылом Архангельске, где медлительность возведена в систему, а опоздание — почти в культ. Здесь на два и на три часа опаздывает почтовый поезд; здесь на полчаса опаздывает перевоз через Двину при общей продолжительности его хода в пятнадцать минут; здесь на месяц и полтора опаздывают с погрузкой пароходов экспортным лесом. Опоздания перевоза вызывают весьма шумную, хотя и безобидную по существу ругань пассажиров. Большинство из них — пильщики и грузчики. Народ шумливый, но исков за опоздание не предъявляющий. Зато другие опоздания, как, например, с погрузкой леса, хотя и проходят менее шумно, зато влекут за собой убытки в десятки и сотни тысяч долларов. Англичане, норвежцы, голландцы и немцы значительно сдержаннее наших грузчиков. Они почти не матерятся, но зато вчиняют нашим незадачливым лесоэкспортерам безошибочные иски за простой своих пароходов. А иностранных пароходов скопилось здесь сейчас свыше полусотни.

Архангельцы оправдываются «немыслимой» жарой, лишаящей их не только способности работать, но даже толково отвечать.

А жара действительно потрясающая. Вчера в тени градусник показывал 40° по Цельсию.

Однако нам эта жара не помешала совершить интереснейшую поездку за 25 километров от Архангельска для

съемки госторговского питомника серебристо-черных лисиц.

Первые пятнадцать километров мы идем мутно-серым простором Двины на нарядном, сверкающем медью и лаком, моторном катере Госторга. Следующие пять километров — на карбасе рыбака Терентьича, неуклюжей лодке, с водой, плескающейся в утлом корпусе более шумно, чем за бортами. Узкая протока настолько мелка, что карбас то-и-дело скребет днищем, а из-под весел взлетают к поверхности воды желтые клубы песку. Это — морской отлив, несмотря на то, что отсюда до устья Двины более пятидесяти километров.

Мимо густых камышей, мимо черных вековой чернотой бревен, остатков петровских шлюзов, мы добрались до деревни Таракановой. Здесь на высоком бугре нас ждет лошадь из питомника. Предстоят еще пять километров пути до этого своеобразного монастыря, где укрылись от взоров мира лисицы.

На бугре лошадь. Лошадь впряжена в четыре колеса, соединенных четырьмя жердями. Четыре колеса и четыре жерди — больше ничего. Это и есть экипаж.

Но уже через десять минут мы убедились в том, что никакой иной экипаж и не мог бы проехать к питомнику. Мы едем без всякой дороги: то какими-то изрытыми, точно чорт на них в свайку играл, поймами, то заросшими кустарником косогорами, то высохшим руслом ручья.

Вся наша кладь поминутно рассыпается. Никакие веревки не могут ее удержать на жердях при такой тряске и качке. О нас самих и говорить нечего: уже после первого километра мы отказались от езды и пошли пешком. Один лишь Блувштейн, судорожно вцепившись

в жерди повозки, продолжает гримасничать на ухабах и кочках.

Рядом с Блувштейном трясется возчик Сеня. Сене 19 лет, он из дальней деревни. Это дает ему право на все корки ругать местные дороги. Волосы Сени, совершенно бесцветные от солнца, ярко белеют над красным лбом, усеянным росинками пота. Сеня — жертва своих поморских сапог. Они до паха, весом в полпуда каждый. Эти сапоги — признак хорошего тона каждого архангельца и носятся во всякую погоду, при всяких обстоятельствах.

Сеня прикован к экипажу непокорностью гайки правого переднего колеса. Гайка то-и-дело отвинчивается, и колесо грозит соскочить. Сеня не верит мне, будто это из-за того, что весь передок таратайки поставлен у него шиворот-навыворот. Исходя потом и рискуя сломать себе шею на толчках, Сеня упорно тщится удерживать рукой гайку и колесо.

Так въезжаем мы в большую котловину, окруженную мягкими, в порядке расставленными лесистыми холмами. Все дно котловины на несколько километров точно перепахано или взрыто. Местами глядят мокрые, гладкие пятна. Редко-редко попадаются кустики чахлой травы. Еще недавно здесь было огромное озеро. Со времени Петра Первого оно служило водоемом для пополнения той протоки, по которой нас вез Терентьич. Но в этом году местные крестьяне сломали плотину и спустили озеро. Они поссорились с таракановскими и не хотели, чтобы на их воде работала таракановская мельница. С ... считывали, выпустив воду, приносящую пользу таракановцам, получить на дне озера огромные поемные луга. Но вместо вождеденных лугов

на много гектаров тянется теперь скользкая грязь и над грязью тучей синее рой комаров. Комары стали бичом для всей окрестности.

Высоко на горе над этим бывшим озером из лесной чащи торчит желтая вышка. Над вышкой реет красный флаг. Это — цель нашего пути, питомник.

Подле вышки, точно старинное городище, вырастают бревенчатые стены с серыми покосившимися башнями. Лисий монастырь. Здесь, недоступные взорам внешнего мира, содержатся 40 серебристо-черных лисов, 49 лисиц; в этом году к ним прибавилось 95 лисят.

Значительное пространство, очищенное от растительности, усыпано известью и речным песком. Растянутая на столбах проволочная сетка делит все это пространство на прямоугольники разной величины. В каждом прямоугольнике домик. В одних живут отдельно друг от друга производители, в других бездетные лисицы, наконец в самых больших домиках матки со щенятами.

Сейчас неблагоприятная для этого зверя пора. Глядя на линяющую, торчащую клочьями шкуру лисиц, трудно поверить, что цена зимней шкуры этих зверьков достигает 1 000 рублей, а есть экземпляры, оцененные на племя до 3 000 рублей.

Молодняк выглядит лучше. Лисята не так линяют и гораздо круглее своих родителей, несмотря на жару. Они бойко бегают по вольерам, распутив свои пушистые с белыми кисточками на конце хвосты.

У стариков и клички какие-то старые: Радзивилл, Шарлотта, Циник. А молодняк: Авиажир, Цыгарка, Автодор.

Отдельно ото всех в большой вольере, сплошь заросшей кустарником, живет единственный чернобурый лис-

туземец (остальные привозные, американские). Большой, пушистый, без всяких следов безобразно торчащих клочьев лезущей шерсти, этот лис носится по вольере, зло свистя на людей. Кличка этого красавца «Большевик». Он основоположник отечественной породы искусственно разводимой ценной лисы.

Шкуре «Большевика» нет цены. Администрация питомника с интересом ждет: какие качества покажет потомство «Большевика». На него возлагаются большие надежды.

Пока пушистое население питомника ест и пьет всюю. И при этом как ест! В лисье меню входят разные молочные каши, яйца, свежие помидоры, компот, апельсины, лимоны, иногда дается живая птица.

Но лиса требует не только обильной и изысканной пищи. Целый штат студентов-зоологов наблюдает за лисьей гигиеной. Лисиц причесывают, их пудрят противопаразитными порошками, им чистят уши и чего только с ними еще ни делают.

В наблюдении за диковинной жизнью пушных отшельников у нас незаметно проходит весь день. Немыслимое солнце сошло за верхушки деревьев, и прозрачный столбик спиртового термометра спускается до 31. Допивая десятый стакан студеной ключевой воды из Беседного ручья, на берегу которого приютилась контора питомника — желтый домик с флагом, — я дослушиваю рассказ зоотехника о жизни и нравах живой валюты, вверенной его попечению.

Вот подкатил Сеня со своим экипажем. Гайка на переднем колесе опять еле держится.

— Сеня, ты передок-то перевернул бы,

— А пошто?

Мы беремся сами за передок и переворачиваем его. Сеня меланхолически чешет затылок и, подтянув к самому поясу голенища, со страдальческим видом усаживается на жерди экипажа.

Уезжая, мы видим, как из домика лисьей кухни тянется к вольерам вереница студентов с корзинами, наполненными тазиками лисьей еды.

Лисий монастырь будет ужинать. Чем сытнее будут эти валютные зверьки, тем пушистее будут их шкурки, тем ярче будут гореть, глядя на них, глаза зарубежного покупателя, который в обмен на Цыгарку, Авиаким и Автодор даст нам по целому Форду.

В обмен на подрастающее на берегу Беседного ручья пушистое золото мы получим машины, много машин.

БОТ „НОВАЯ ЗЕМЛЯ“

1. ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО

«Острова СЛО» — это одна из злободневных есенних тем Архангельска.

На островах Северного Ледовитого океана, как некая ост-индская компания, царит Госторг. Собственно говоря, не все острова СЛО входят в орбиту Госторга, а только расположенные в юго-западной его части: Колгуев, Вайгач, Южный и Северный острова Новой Земли с расположенными около них мелкими островами вроде островов Панкратьева, Пахтусова, Долгого и других.

Кроме фрахтуемых Госторгом для обслуживания островов СЛО пароходов, он имеет и свой собственный «флот» — два деревянных моторно-парусных бота, водоизмещением по 300 тонн. Боты эти норвежской постройки, и корпуса их вполне приспособлены к плаванию во льдах. Весной боты Госторга выходят на промысел в Белое море, а с открытием прохода к Новой Земле и к Колгуеву, т. е. в июне—июле отправляются в обход островных становищ для приема продуктов зимнего промысла и для заброски промышленникам предметов снабжения, главным образом продовольствия.

На одном из этих ботов нам и предстоит идти в море.

Не очень отрадно первое знакомство с ботом «Новая Земля».

Крошечное суденышко, болтающееся у пристани от прохода каждого катерка, не предвещает спокойного плавания.

Хотя и экспедиция наша невелика, нас всего трое: режиссер-оператор Блувштейн, помощник оператора Черепанов и я — литературный ассистент.

Нас мало, зато ящиков у нас много. Собственноручно на каждом из них я вывел черной краской опознавательные: «Востоккино» и порядковый номер. Последний номер был «19».

Это не считая тюков; их у нас было два. И не считая огромных рюкзаков — их у нас было три.

Когда тюки и ящики исчезли в трюме «Новой Земли» я свободно вздохнул, хотя над душой у меня еще висело наше теплое платье. Дело в том, что в Москве мы не запаслись ни меховой одеждой ни спальными мешками, положившись на Архангельск, а в Архангельске ничего не оказалось. Удалось раздобыть только три малицы, из них только одна новая, а одна проношена почти до дыр.

Так как наиболее ношенная малица оказалась и самой маленькой, то она досталась Черепанову, а самая новая, она же самая большая — Блувштейну.

Наконец настал долгожданный день, когда капитан возвестил о готовности бота к отходу.

«Новая Земля» была погружена. Доски, бочки, ящики загромождали палубу вровень с фальшбортом. Поверх всего этого прыгали и извивались привязанные цепочками собаки.

Солнечным утром мы явились на борт «Новой Земли», обвешанные остатками нашего имущества: рюкзаками, аппаратами, ружьями, патронташами и сумками.

Гулкими звонами наполняли выхлопы болиндера маленькую желтую трубу «Новой Земли». Пушистыми черными клубками взлетали отработанные газы над закопченным краем трубы, заражая окружающий воздух запахом горелой нефти. Точно накопила гигантская керосиновая лампа.

Неожиданно, несмотря на то, что мы их ожидали две недели подряд, прогудели три отправных свистка. Скоро серая стенка пристани с вытянувшимся на ней как огромный серый жираф краном исчезла за поворотом, и мимо нас потянулись заваленные всяким корабельным хламом беспорядочные берега Соломбалы.

Прошли серую коробку плавучего дока, где неделю тому назад стоял наш бот и где теперь чернеет измятыми и облупленными бортами «Малыгин», жестоко пострадавший в ледокольной кампании этого года.

Медленно проползают освещенные скупым архангельским солнцем бесконечные биржи со свежее желтеющими штабелями балансов и пробсов. Около бирж теснятся громады лесовозов всех флагов: здесь чернобокие немцы, ржавые англичане, безликие шведы и облупленные, покрытые заплатами греки.

Унылой вереницей стоит все это скопище судов. Исполдволь, точно нехотя, переползают на их борта желтые балансы, влекомые дефицитными грузчиками.

Но вот исчезли вдали последние суда, остался сзади таможенный домик Чижовки, и, миновав нелепую красную бадью плавучего маяка, мы начинаем неистово нырять на увенчанных пенистыми гребешками волнах Белого моря.

Узким трапом, таким узким, что мне непонятно, как протискивает в него свой живот наш капитан Андрей Васильевич, спускаюсь в кормовые помещения. Здесь — каюта капитана, каюта старшего механика, каюта двух штурманов и кают-компания или «салон».

Салон представляет собой темный колодец, круглые сутки тускло освещаемый керосиновой лампой. На дне колодца стоит маленький столик, вплотную обведенный диваном, так что сесть за стол и выйти из-за него могут только все сразу. Тут же койка младшего механика и общий умывальник величиной с салатник.

Около умывальника в углу привинчен к переборке маленький шкафчик-буфет. Все это нагромождено так тесно одно к другому, что мое мягкое место, когда я моюсь, выставлено к обозрению сидящих за столом, а головой я упираюсь в буфет.

То, что в салоне расположена койка второго механика, имеет свои преимущества для ее обладателя, так как, проснувшись, ему достаточно спуститься на полметра, и он оказывается уже на диване за столом. Зато если мы обедаем или ужинаем в то время, когда механик вернулся с вахты и отдыхает у себя в койке, то над чьей-нибудь тарелкой свисает его нога с грязными пальцами, глядящими сквозь неизменное решето заношенного носка.

В такие моменты к запаху кушаний примешивается какой-то острый, неприятный запах, происхождение которого мы сначала не могли объяснить.

Через салон можно пробраться в каюту штурманов, где мне досталась третья запасная койка.

Штурманская каюта — это узкий проходик; в нем не только нельзя разойтись, но даже растиснуться. Чтобы

войти в каюту одному, другой должен либо лечь в койку, либо выйти в салон.

Моя койка расположена в нише поперек каюты. Концы койки срезаны к корме в виде трапеции. Поэтому, забравшись в койку, я могу вытянуть ноги только в одном ее конце и то не совсем, не хватает двух-трех вершков.

Свет в каюту проникает через кап над моим изголовьем. Для изжития сырости и спертого воздуха кап почти всегда открыт настежь. Только по ночам, когда делается невмоготу от холодного ветра, я прикрываю кап.

Но почти всегда, возвращаясь в 12 часов с ночной вахты, капитан затапливает чугунный камелек, обогревающий сразу всю корму и стоящий на расстоянии аршина от моего изголовья. Через пять минут делается невыносимо жарко и до тошноты душит запах копоти от керосина, которым Андрей Васильевич поливает уголь для простоты растапливания. Волей-неволей приходится снова открывать кап и мириться с тем, что из него на лицо мое опускается промозглый туман. Впрочем, от пылающего камелька туман этот на лице тут же высыхает.

Влезать в мою коечную нишу нужно через рундук (он же письменный стол) первого штурмана. Это настолько сложная процедура, что я стараюсь проделывать ее как можно реже. Несмотря на мое пристрастие к чаю, мне приходится даже отказываться от вечернего чаепития.

Собаки — наш бич. То, что на палубе, в буквальном смысле слова, нельзя пройти, это еще полбеды. Гораздо хуже то, что ни на одну минуту собаки не умолкают. Из часа в час, изо дня в день несутся с бака голоса три-

дцати псов. Они лают, воют, скулят, визжат, рычат, тьякают. Они не переставая издают все звуки, на какие способна охрипшая собачья глотка. Когда бак обдает брызгами и окатывает волной, промокшие собаки дрожат от холода и воют особенно жалостно.

На них жалко смотреть, но жалость тонет в бессильной злобе, когда ночью не можешь заснуть от нестерпимого концерта.

Впрочем, это было только вначале, потом я так привык к голосам собак, что, напротив, просыпался ночью, когда внезапно вся свора замолкала и на судне воцарялась тишина.

Точно так же я приспособился и к качке. Сначала мне было трудно засыпать из-за того, что тело попеременно упиралось в переборки то головой, то ногами или перекатывалось с бока на бок. Казалось, что внутренности следуют за движениями судна и прижимаются то к левому, то к правому боку. Временами мутило так, что нехватало решимости выползти из койки, несмотря на наличие зверского аппетита. А потом я стал просыпаться из-за того, что мое мотание в койке прекращалось.

2. ДНИ НА БОТЕ

Дни на боте похожи один на другой так же, как похожи друг на друга вахты, разделяемые только четырьмя условными двойными ударами рынды. Нет других границ между днем и ночью, как только те же дробные дискантовые удары. Разница только в том, что сменяющиеся с дневных вахт рулевые бодро отзванивают свои восемь ударов, особенно напирая на послед-

нем, гулко разносящемся во все закоулки судна и возвещающем либо обед, либо чай, либо ужин. А ночные вахты, сменяясь с мостика, думают только о том, как бы скорее добраться до койки и, зарывшись с головой в одеяло, отделаться от назойливого белесого сияния ночи. Поэтому их склянки звучат поспешней, более дробно, и последний двойной удар, сливаясь в один, не выпирает, как днем, а наоборот, затихает раньше других.

Еще, пожалуй, тем отличается ночь ото дня, что по ночам крепкий норд-ост кажется холодней, и вахтенный штурман в дополнение к меховой тужурке надевает еще валенки, а рулевой норовит поднять выше стекло рубки и плотнее завязать тесемочки своего тулупа.

Кроме вахтенного механика, коротающего часы в любовном поглаживании горячей стали своего Болиндера, вахтенный штурман и рулевой — единственные люди на корабле, обязанные не спать. Даже радист большей частью, пренебрегая всеми правилами и предстоящим выговором капитана, «прорезает» двухчасовую вахту, полагаясь на то, что своя братва, сидящая на береговых радиостанциях, передаст ему утром все, что может там накопиться. Да и что такое спешное может понадобиться берегу от крошечного бота, затерянного в холодном Баренцовом море с пятнадцатью людьми, временно поставившими крест на всех береговых делах!

Ночами даже механики не вылезают из своего гулкого колодца.

Время от времени слышится только голос вахтенного штурмана:

— Возьми маленько право!

— Есть право!

Штурман подойдет, подождет, пока судно станет на румб.

— Так держать.

— Есть так держать!

Со стороны рулевого это простая вежливость. Он и без того уже давно удержал валящееся вправо судно. Но должен же что-нибудь делать вахтенный начальник, чтобы оправдать свое пребывание на мостике, а еще больше для того, чтобы разогнать одолевающую его сонливость. Поэтому, проходя мимо опущенного стекла рубки, штурман бросает деловым тоном:

— Подярживай, подярживай, не давай сваливаться!

Но так бывает только глубокой ночью, почти под самое утро, потому что засыпает бот очень поздно.

У нас на корме в душном салоне долго тянется «заседание». На узких диванчиках плотно набились члены кают-компании. Из самой гущи доносится уверенный баритон:

— А вот когда я был в Берлине...

Если же рассказ ведет кто-нибудь из штурманов, или радист описывает невзгоды полярной зимовки, тот же баритон, разрезая голос рассказчика, тянет в нос: «Ramona, du bist...»

Кубрик тоже не спит. Кости домино размашисто шлепаются на изрезанный ножами стол под громкие возгласы игроков и зрителей. Временами, как грохот взрыва, из узкой двери кубрика вырывается смех, возбужденный очередной прибауткой дяди Володи — повара.

За спинами играющих двумя тесными ярусами сошлись матросские койки. Из дальнего конца доносится богатырский храп заступающей вахты. Из-за борта

ближней койки, выглядывает заострившийся, бледный нос Черепанова, сидящего на вынужденной диете.

Только в те дни, когда качка утихает, Черепанов обретает способность вылезать из своей койки. Отлежавшись на свежем воздухе на юте, Черепанов даже начинает есть.

Но точно на зло, стоит ему войти в аппетит, как снова «Новая Земля» начинает то мерно кланяться носом, то валиться с борта на борт. Бедняга опять уныло плетется в свой кубрик и покорно лезет в койку.

На Блувштейне же качка сказывается только тем, что реже становятся промежутки между сном, когда он бродит по кораблю в поисках слушателей рассказов о Берлине. Да, кажется, и его аппетит делается лучше, если только возможно иметь лучший аппетит, чем у Блувштейна, способного есть в любое время суток, коль скоро для этого не нужно прерывать очередной порции сна. Сна ему требуется в сутки столько же, сколько нам с Черепановым вместе, примерно, восемнадцать часов. Его даже нисколько не смущает то, что диван в капитанской каюте, служащий ему койкой, короче его роста по меньшей мере на полметра. Блувштейн лежит на нем, подобрав колени к подбородку и навертев на голову одеяло.

Впрочем, владелец каюты оказывается Блувштейну вполне подходящим компаньоном. Андрей Васильевич при каждом удобном случае не раздеваясь лезет в свою косячную нишу. Из этой темной ниши неаппетитно торчат углы наволочки, давно утратившей всякий намек на свой природный цвет. За подушкой видна кучей наваленная каша из одеял и таких же серых, как наволочка, простынь.

Собираемся мы только за обедом и ужином, и то не все сразу, так как салон не может вместить девять столовников. Приходится есть в две смены. Этот порядок до крайности неприятен юнге Андриюшке, так как между сменами ему приходится успеть вымыть всю посуду.

Впрочем, он умудряется настолько упростить эту операцию, что задержек за ним не бывает.

Если салон не отличается вместительностью, то есть еще один уголок на судне, в отношении тесноты оставляющий за флагом салон и все представления о том, какая кубатура нужна для того, чтобы вместить человека. Это галльюн. Дверь галльюна состоит из двух половинок, верхней и нижней. Когда в галльюне никого нет, закрыты обе половинки. Если же в галльюне находится человек, то верхняя половинка двери откидывается, так как иначе сидящий там не только рискует задохнуться, но и просто ему некуда девать голову, — ее приходится выставлять в дверь.

В качку такая конструкция галльюна имеет свои неоспоримые преимущества, так как, расперевшись локтями и упершись головой в железный косяк двери можно быть уверенным, что не слетишь с сиденья.

Большинство избегает пользоваться этим уютным местом, и зачастую можно видеть на юте независимую фигуру, которую проходящие стараются не замечать.

В те минуты, когда Блувштейн не спит, не ест и не рассказывает про Берлин, из темной норы галльюна доносится неизменное

— Ramona, du bist...

При этом тон песенки бывает неизменно в высокой степени элегическим.

3. РУЛЕВАЯ ЖИЗНЬ

Я предпочитаю в таких случаях гулять по палубе к корме, где есть удивительно располагающие к размышлениям уголки. Стоя на деревянной решотке, прикрывающей румпель, можно следить за бегом судна, ни в чем не находящим такого яркого отражения, как в непрерывном вращении лага. Тонкая черта лаглиня остается далеко под кормой, прочерчивая едва заметный след на волне. Если качка сильна, то бывают моменты, когда лаглинь почти весь, до самого фальшборта, уходит в воду, и тогда наружу остается торчать только короткий хвостик, вырастающий из медного корпуса лага. И наоборот, иногда весь лаглинь всплывает наружу и бороздит вспененную винтом воду на все сорок сажен своей длины.

Но даже в сильную качку здесь, на корме, хорошо. Можно спрятаться от ветра под защитой надувшегося бурой стеной неподатливого как котельное железо грота. Гротшкот делается тогда твердым как палка и, держась за него, можно спокойно стоять, не боясь скачков, проделываемых ботом. Белая, кипящая пузырьками, плюющаяся пеной поверхность волны почти касается палубы. Стеньга, описав размашистую дугу по серому куполу неба, проектируется на вздыбленную поверхность моря далеко ниже горизонта.

Моментами кажется, что в стремительном наклоне бот уже не остановится и неизбежно должен лечь всем бортом на воду. Одну минуту он как бы размышляет. Потом стеньга снова начинает своей иглой чертить такую же размашистую дугу в обратную сторону, пока

снова не упрется клотиком в воду с противного борта. В такие минуты судно представляется до смешного ненадежной скорлупой, скорлупой, которая по логике вещей должна перевернуться при следующем более сильном размахе. Ведь не может же быть, чтобы вон та огромная гора с темнобурлящей пеной на гребне не перевернула нас как пустой орех. Невольно отводишь глаза, и крепче впиваются пальцы в тросы вант. Необычайно уютным кажется свет в окнах штурманской рубочки, едва заметный в окружающем тяжелом свинцовом сумраке.

По короткому железному трапу, не имеющему перил, я пробираюсь на спардек. За ступеньки трапа приходится держаться руками. Они скользки от брызг, и ноги неуверенно разъезжаются в стороны. Когда между мной и краем блестящего от воды спардека нет ничего, за что бы можно было уцепиться для того, чтобы не сползти по его крутому уклону в убегающую из-под борта темную массу водопада, хочется стать на четвереньки и всеми четырьмя конечностями вцепиться в палубу. Ветер особенно громко шуршит в ушах. Нацелившись и уловив момент, когда судно находится почти в горизонтальном положении, я с размаху втыкаюсь в узкий проход между стенкой рубки и укрепленным на шлюпбалках фансботом.

Дверь рубки не сразу поддается моим усилиям. Ветер прижимает ее как тугая пружина. Зато, когда она хлопывается с треском за моей спиной, я сразу чувствую себя так, точно во время сильного обстрела нырнул в надежный блиндаж. Ветер бессильно свистит и воет за стеклами, забрасывая их мелкой водяной пылью. В рубке тесно и холодно, но, по сравнению

с палубой, она кажется уютной. Тонкой переборкой рубка разделена на два отделения, заднее служит карточной, здесь относительно тепло, так как все стекла подняты и горит маленькая десятилинейная лампочка. В холод можно забраться на кучу сваленных на палубе оленьих шкур, бывших когда-то совиками. Благодаря тесноте здесь можно совершенно спокойно стоять в самую сильную качку — валиться некуда. Далеко не так уютно в первом отделении, где, вцепившись в штурвал, стоит рулевой. В приспущенное стекло окна с воем врываются порывы мокрого шквала. Не находя выхода из тесной каморки, ветер беснуется в ней и крутит концы шерстяного шарфа, замотанного вокруг шеи рулевого. Здесь нет даже нактоуза, придающего своей светящейся головой, похожей на скафандр водолаза, своеобразный уют всякой штурвальной. Путевой компас слабо мерцает светящейся картушкой над головой рулевого. За отсутствием на палубе места для компаса использован подволоок.

Свитр слишком неудсветворителен для того, чтобы можно было себя здесь чувствовать сколько-нибудь сносно. Я спешу укрыться в карточную. Мое движение к двери совпадает с сильным размахом бота, и по инерции я всей тяжестью валюсь на склоненную спину штурмана, делающего героические усилия занести какую-то запись в вахтенный журнал. Перо с силой втыкается в бумагу, распуская по графе «погода» мелкий крап разбрызганных чернил. Совсем так, точно по ней прошла сорванная ветром струя черного дождя.

Но штурман даже не рассердился, ему явно надоело целиться пером в строчки ускользающего вместе со столом вахтенного журнала. Молодое безусое лицо оза-

рывается улыбкой сочувствия при взгляде на мои усилия устроиться на косом диванчике так, чтобы не съезжать с него на палубу при каждом клевке судна.

Я скуп на табак как Плюшкин, потому что знаю, что мне до конца плавания негде будет возобновить его запас. Но сочувствие молодого штурмана переполняет меня такой нежностью, что я протягиваю ему жестянку. Мы набиваем себе трубки и, плотно зажатые в углах рубки, предаемся размышлениям.

Перед глазами размеренно качается на гвозде длинная подзорная труба. Когда бот валится с борта на борт, труба катится вдоль переборки из стороны в сторону. Когда бот начинает нырять носом, труба отделяется от стены и повисает в пространстве, глядя на меня своим блестящим в свете лампы окуляром. Так она стоит несколько мгновений, точно притянутая каким-то огромным магнитом, и медленно, так же медленно, как отодвигалась в пространство, начинает снова придвигаться к стене.

Так я созерцаю качание, пока не чувствую какой-то неловкости в пищеводе. Нужно сейчас же перевести глаза. В поле зрения попадает штурвал. От его широкого деревянного кольца короткими частыми лучами расходятся резные ручки. Перехватывая за эти ручки, рулевой то и дело ворочает штурвал. Движения рулевого точны и быстры. Каждый раз кряжистые пальцы перехватывают ровно столько, сколько нужно для того, чтобы заставить путевую черту стать против заданного румба. Но я обращаю внимание на то, что в каком-то месте штурвала пальцы делают несоразмерно большой скачок. Присмотревшись, я вижу, что в этом месте не хватает деревянной ручки, и из деревянного

кольца штурвала торчит острый гвоздеобразный железный штырь. Штырь быстро входит в поле зрения и выходит из него, загораживаемый широкой спиной штурвального, но по какой-то случайности штурман его тоже замечает.

— Сипенко, почему на штурвале ручки не хватает?

— Расколосась, руки нозила. Боцман свернул, чтоб не нозила.

Пошарив вокруг себя, штурман отыскал моток грязных тряпок и, выбрав из них наиболее толстую, пошел в штурвальную. По дороге он наткнулся на ставшую торчком к стене подзорную трубу. В дверях его бросило на косяк. Отстраняясь рукой, он тяжело и длинно выругался. Добравшись до штурвала, штурман стал ловить быстро пробегающий мимо него то вниз, то вверх остряк. Остряк не давался. Пройдясь по ладони штурмана, он оставил на ней широкую красную царапину. Штурман обозлился.

— Сипенко, придержи, — и стал быстро обертывать остряк тряпкой. Тряпку он сверху плотно прикрутил шкертиком. Когда он вылезал из-за штурвала, бот как раз переходил через зону равновесия, и штурман всей тяжестью навалился на торчащие в его сторону деревянные рукоятки. Когда штурман сел снова рядом со мной на диванчик, я увидел, что мех его куртки на животе разорван. Разглядывая дыру, штурман покачал головой, но тут же, повидимому, забыл про дыру, так как трубка его погасла, и он принялся с хрипом раскуривать ее снова.

— Слушайте, Модест Арсеньич, чего вам загорелось накручивать тряпку на штурвал? Ведь это стоит вам шубы.

Штурман не ответил, пока не раскурил трубки. И только когда голубой клубок весело вылетел из ее обгорёлого чубука, он оживленно заговорил.

— А видите ли, такой штырь самое мерзкое дело, какое можно себе представить. У нас вон был случай, я еще тогда матросом плавал, до техникума было... тоже штормяга трепал нас. Пожалуй, почище этого был. Трепало нас долго. Мы из Норвегии на пароходе шли с грузом селетки. Пароход тяжелый был в управлении, стервец. Бывало, одному штурвальному в мало-мальски свежую погоду никак стоять невозможно. Не удержать руля. У нас паровая машина румпельная была, да что-то в ней не поладилось, что ли, а только на руках все шли. Я при рулевом стоял. Как начнет валиться с курса, так только наваливайся, тут не только что руками, а и ногами на нижние ручки наступаешь, и животом навалишься, абы удержать курс. А уже отпустить штурвал на прямое положение просто невозможно было: как начнет вертеть, ни за что не поймать. Приходилось ручку за ручкой медленно отдавать... Так вот в этот самый штормягу случилось как-то так, что вахтенного штурмана наверху не оказалось, а в сей час маяк какой-то проблескивать стал. А курса нам штурман нового не задал. Места незнакомые, рулевой сам курса не знает, ну и послал меня вниз штурмана отыскать. Я еще сейчас помню, рулевого спросил:

— А удержишь, Иваныч, один-то?

— Небось, говорит, сдержу, — и всем корпусом на штурвал навалился. А на штурвале-то как раз, вот так же, как здесь, одной ручки нехватка была и голый штырь торчал.

— Ты, Иваныч, гляди, рук-то об гвоздь не обдери.

А он же меня: Иди, говорит. растуды, за штурманом, коли сказано. Ну, я и побежал. Пока туда, сюда заглянул, штурмана искавши, время и прошло. Ходить-то по судну нуда одна, от стенки к стенке так и стучает; а я тогда еще молодой был. мне и непривычно-то и скорее пройти хочется. А от спешки еще хуже выходит, потому что на ногах не удержишься во-время, тебя и мотает так, что хоть на четвереньках ползи. Ну, однако, штурмана отыскал. Гребу обратно на спардек, и как на палубу-то вышел, вижу, что-то неладное с судном. Змеей оно из стороны в сторону так и юлит. Ну, думаю. не удержал Иваныч руля-то. А только, впрочем, вылез на спардек, слышу, будто кричит кто-то. Прислушался, плохо слышно из-за ветра, а будто из рубки крик идет. И не крик, а вроде стопа как бы. Подошел кое-как к рубке — и впрямь стон оттуда слышен, а тут как на грех, никак отворить не могу, ветром прижало так, что не оторвешь. Оттащил я ее, а она внутрь как поддаст под зад, я прямо в рубку с маху и влетел плашмя на палубу. Еще, помню, обо что-то головой очень шибко ударился. Только с палубы поднялся, да опять так и сел. Иваныч-то около штурвала на палубе скорчился. Я сперва не сообразил и первым долгом за штурвал схватился, думал, сам хоть придержу руль-то. Стал штурвал поворачивать, а только не поддается. Я сильнее налег. Тут еще как раз штурман в рубку войти пытается, с дверью воюет. На штурвал я всем телом навалился, а в этот момент Иваныч-то как застонет и как раз у меня руки со штурвала соскользнули. Только сейчас я заметил, что ручки какие-то скользкие, точно салом смазаны. Штурман в рубку взошел, колпак с лампы-то откинул. Мы тут все и увидели. Иваныч-то

на палубе, а только у него из живота к штурвалу . . . какая-то белая полоса тянется, и вокруг него на палубе темное пятно растеклось, точно кровь. Мы со штурманом Иваныча подхватили, хотели от штурвала оттащить, а только тяжело, точно привязан. А Иваныч опять в себя пришел и у нас в руках биться начал. Глядим, а от живота-то его кишка на штурвал намоталась. И Иваныч уж снова как бы затих, и штурвал тронуть невозможно — кишка на нем намотана, а судно, как помешанное, из стороны в сторону рыскает, и на волну его поставить нужно, а то просто на ногах не устоять. Тревогой людей вызвали, кишку смотали... Иваныч еще два часа прожил... Кое-как добились, как такое случилось. Оказывается, пока я бегал, он штурвала не удержал, тот и пошел накручивать. Иваныч штурвал сдержать хотел, телом навалился, а его остряком как раз по животу-то и полоснуло. Ну, уж тут, конечно, он ничего дальше не помнит. Впрочем, оно и само понятно. Иваныч свалился, надо думать, а по перу-то руля волной бьет и штурвал из стороны в сторону вертится. Значит, кишку ему зацепило и стало мотать. А с остряка-то она, видно, никак не соскочит. Ну и вымотало... Вот я с энтих пор остряков таких как огня боюсь.

Штурман пыхнул остатками табаку и выколотил трубку.

— Утром боцману надо велеть ручку новую обязательно уделать... Сипенко, ты, слышь, как сменишься, непременно передай ручку-то уделать.

-- Есть, передам.

В поле зрения то попадает, то снова из него исчезает ручка штурвала с намотанной на нее неуклюжей тряп-

кой. Тени мечутся по тесной рубке, и подзорная труба то вонзается в пространство, то снова прилипает к переборке.

В поднятое окно рубки бьется ветер, пропитанный солеными брызгами норд-оста.

Штурман встал и, навалившись на дверь, вышел на мостик. Через открытую дверь шквал ворвался в тесную рубку, закрутился, заметался по ней и выбросил сноп искр и пепла из моей трубки прямо в лицо.

4. ЭФФЕКТ ЗУБА

Мне досаждают то, что даже в тихие дни, когда нет качки, на всем боте нельзя найти местечка для писания. То-есть писать-то можно, но так, что разобрать написанное потом невыносимо. Весь корпус судна дрожит как в лихорадке.

Исходит это дрожание из машинного отделения, где день и ночь в лязге и грохоте работает двухсот-сильный Болиндер.

Время от времени из колодца машинного отделения вылезает вахтенный механик. Высунув голову из низкой железной двери, он жадно ловит свежий воздух.

Когда из двери показывается сплюснутая кожаная кепка с тускло глядящими из-под нее какими-то белесыми маленькими глазками, значит, сейчас вылезет и испитое замасленное лицо, вполне гармонирующее с худым угловатым телом стармеха Григория Никитича. Или он прошмыгнет на минутку в каюту, чтобы смыть с горла запах гари и машинного масла крепким раствором ректификата «для технических надобностей», или пройдет на ют посмотреть, как поживает его гусь.

А если из двери машинного покажется смятая фуражка сукна неопределенного цвета, значит, сейчас заблестят и бойкие глаза второго механика Бориса Михайловича, и за круглой физиономией появится кряжистое маленькое тело. Борис Михайлович вылезает наверх для того, чтобы при дневном свете получше рассмотреть какую-нибудь из слесарных работ. У него их всегда по горло, то он собирает ружье, то чинит сломанный нож.

Григорий Никитич и Борис Михайлович — это вся наша «машинная команда». Им приходится стоять по две шестичасовых вахты, и трудно понять, как они выдерживают двенадцать часов лязга и грохота Болиндера в тесном и душном колодце машинного.

Однако, повидимому, даже Болиндер не в состоянии сломить их прекрасного настроения. Оба они всегда бодры и веселы.

Впрочем, в этом отношении они, как и весь экипаж, равняются по капитану. А настроение Андрея Васильевича всегда прекрасно. Внизу ли он в каюте, в салоне ли, на мостике ли — широкая багровая луна его лица всегда одинаково спокойна и озарена благодушием.

— Кептэйн, как думаете, скоро ли Колгуев?

— Все впечатление зависит, конечно, от эффекта погоды.

— Ну, если не переменится?

— Читайте: идем восемь миль, эффект благоприятный. Если тумана не будет — сегодня к утру будем иметь впечатление Колгуева.

И действительно, к утру сквозь разрывы тумана показалась низкая полоска острова Колгуева, или, как называют его самоеды, Холгол.

Но к этому времени впервые за плавание испортилось настроение капитана. Хмурый стоит он на мостике и брюзжит по адресу Госторга, снабжающего суда дрянными биноклями. Действительно, с биноклем, в который Андрей Васильевич пытается уловить Колгуев, не в СЛО ходить, а в театр, да и то если не претендуешь на детали представления. Но, конечно, не бинокль виноват в настроении Андрея Васильевича.

— Что с вами, кептэйн?

— Ничего, все спокойно...

— Ну, все-таки?

— Скверное впечатление.

— Никак освежиться нечем?

— Нет, не то. Эффект зуба.

— Как так зуба?

— Да вот болит, проклятый, ничем не уймешь.

— А вы его, кептэйн, спиртом.

— То-есть?

— Да так, наберите в рот и держите на зубе минуту, другую; только чистый надо, не разбавленный. Переменайте спирт, пока не пройдет.

— Вот это совет, сразу видно впечатление приятного человека.

Андрей Васильевич идет к себе. Через пять минут он возвращается с просветлевшим лицом.

— Ну, как?

— Пока непонятно, но думаю, что эффект будет.

И действительно, к тому времени, как мы обогнули остров, эффект был налицо.

Х О Л Г О Л

1. ПЕСОК

Остров Холгол или Колгуев лежит в Баренцовом море между $68^{\circ}44'$ и $69^{\circ}32'$ с. ш. и $48^{\circ}26'$ и $50^{\circ}3'$ в. д. от Гринвича. Протяжение острова 73 км с севера на юг и 57 км с востока на запад.

Большую часть года Колгуев бывает отрезан от материка, так как сообщение с ним возможно лишь в тот период, когда льды не преграждают пути судам. При этом, вследствие особенностей движения льдов в Северном Ледовитом океане, доступ к Колгуеву бывает закрыт значительно больший промежуток времени, нежели доступ к значительно севернее расположенным островам, как например, к Новой Земле. В то время, как к Новой Земле в большинстве случаев можно свободно пройти уже в мае, Колгуев в июне зачастую бывает еще со всех сторон окружен льдом. В этом году даже еще в начале июля суда, шедшие мимо Колгуева к устью Печоры, не могли достичь цели.

Природа Колгуева резко отличается от природы остальных островов полярных морей. В то время как поверхность этих островов в большинстве случаев покрыта возвышенностями и зачастую скалистые берега их мало доступны со стороны моря, поверхность Колгуева представляет собой типичную тундру — низкую болотистую равнину, прорезанную немногочисленными

невысокими холмами с очень отлогими склонами — как бы кусок Малоземельской тундры, отрезанной от материка рукавом Баренцова моря.

Население Колгуева очень невелико и состоит из 29 самоедских семейств численностью в 230 человек, живущих в 42 чумах.

Единственное становище на Колгуеве — Бугрино, по существу просто фактория Госторга, расположено на южном берегу.

Подход к острову с этой стороны исключителен по неудобству. Но, по какой-то злой традиции делать многое рассудку вопреки наперекор стихиям, старорежимные пионеры — купцы, забравшиеся сюда в погоне за дешевым песком, основали становище Бугрино именно на этом неудобном берегу. А у наших советских колонизаторов не хватило смелости махнуть рукой на две гнилые избушки купца Попова, и они стали пристраиваться тут же, пренебрегая тем, что здесь берег настолько обмелел, что даже такое судно, как наш бот, принуждено бросать якорь, примерно, в трех милях от берега. Ближе к берегу против становища сереют большие кошки. Даже на шлюпке приходится сделать крюк в несколько миль, чтобы подойти к становищу, и то не ближе чем на километр в сторону.

Хотя мы и шли во время большой воды, но подойти к черте прилива шлюпкой нельзя было и несколько сажень приходится шлепать по воде пешком. Если располагать хорошими сапогами, то не беда. Но когда мне пришлось лезть со шлюпки в воду в сапогах, изготовленных московским магазином «Турист», я испытывал не большое удовольствие. Прежде чем я сделал пять шагов, в сапогах уже чмокала вода. А вода здесь

студеная. Особенно в добавление к совершенно промокшей от брызгов на шлюпке спине.

Но все неприятности были тут же искуплены, стоило нам выбраться на берег. Нога утопает в тонком морском песке, на высокий откос берега невозможно выбраться по жирной, как масло, и скользкой глине. На откосе заманчиво голубеет кустик ярких незабудок.

Песок и глина.

Навстречу нам, по выстланному плотно слежавшейся мелкой галькой краю берега не спеша идет агент Госторга. С ним какие-то женщины в меховых шапках и непривычно теплых для июля пальто. Впереди, вперегонку с целой сворой собак, бегут ребятишки. Бледные личики выглядывают из-под капюшонов малиц.

Агент на острове — первое лицо. Это чувствуется во всей его неторопливой повадке. Однако такая повадка сохранилась недолго. Скоро агент — Дмитрий Ефимович Жданов — сбросил с себя губернаторскую личину и превратился в обыкновенного матроса, с крепким словом, размашистым жестом и верным, необманывающим глазом. Трюмный машинист военного флота в прошлом. Жданов теперь вместе с обязанностями агента Госторга выполняет на острове и некоторые другие; он — бухгалтер, заведующий складом, продавец, браковщик мехов, ученый оленевод, ветеринар, плотник, печник, водонос, дроворуб и моторист катера.

Первым из нас, кто заинтересовал Жданова, был радист. Жданов особенно тепло пожал ему руку, покрутил за пуговицу бушлата. Такое радушие агента вполне понятно, если принять во внимание, что на Колгуеве нет радиостанции, и наше судно является первой возможностью послать во внешний мир известие о себе.

После того внимание Жданова сосредоточивается на нашем капитане.

— Андрей Васильевич, груза́ для меня есть?

— Такое впечатление, что полон трюм.

— А что именно?

— Да главным образом песок — около ста бочек.

— Ну вот, опять та же история. Ведь сколько раз я сообщал о том, что у нас песок не идет. Самоед—он требует рафинаду, а что мне теперь...

— Постойте-ка, вы про какой песок-то?

— Один песок-то ведь — сахарный.

— Нет, бывает еще золотой. А только у меня для вас ни сахарный ни золотой, а самый нормальный — речной.

— И в бочках?

— В бочках... вот эффект.

Красная луна Андрея Васильевича расплылась в улыбку.

Приняв все это за шутку, Жданов тоже засмеялся больше, повидимому, из вежливости, так как ему было сейчас не до шуток. Легко ли, действительно, год прождать привоза новых товаров, сидеть последние месяцы без сахара, без чаю, курить одну махорку, а тут вдруг не добьешься у шутливо настроенного капитана толку, какие товары прибыли на пополнение запасов. Поневоле улыбка у Жданова вышла довольно кислой. Но капитан разочаровал его еще больше.

— И глина, Дмитрий Ефимович, тоже в бочках.

— Да нет, Андрей Василич, вы шутки-то бросьте, давайте всерьез об деле поговорим.

У Андрея Васильевича начала еще пуще обыкновенного краснеть и без того красная луна лица.

— Никакого впечатления шуток, товарищ Жданов, не должно получаться. Сказано ясно: песок и глина в таре. Потрудитесь принять.

Выражение плохо воспринятой шутки сменилось на лице Жданова неподдельным недоумением. Коротким броском руки он даже сдвинул на затылок свой малахай.

— Куда мне к чортовой матери этот песок, позвольте спросить? Для чего вы собственно его везли невесть откедова?

— А это уж, позвольте, не мое дело. Предписано Госторгом груз принять и доставить Колгуевской фактории, а зачем и почему — не интересуюсь... Так, частным образом, как будто бы для строительных надобностей. Говорят, тут у вас ни песку ни глины нет... Для Новой Земли тоже не малое количество в Архангельске заготовлено, кажется, что на «Ломоносова» грузить будут.

Жданов порывисто нахлобучил малахай на лоб и решительно заявил:

— Я песку примать не стану. Мне чего одна выгрузка его станет.

Выгрузка товаров на Колгуев, действительно, представляет большие трудности. Из-за мелководья грузы доставляются к берегу на карбасах, причем карбас может пройти к берегу только один-два раза в сутки в большую воду. Доставить груз до черты прилива обязана судовая команда за плату в 5 коп. с пуда. На самом бережку груз сваливается и предоставляется попечениям агента. Отсюда груз предстоит поднимать на высокий обрывистый откос, где стоит амбар фактории. Это проделывают самоеды за поденную плату в 5 рублей

человеку. А так как производительность труда самоедов совершенно ничтожна, то понятно, что разгрузка ложится невероятным накладным расходом на товар.

Жданов подумал и подтвердил:

— Нет, не стану примать.

Однако капитан, повидимому, тоже решил не сдаваться.

— Ну, этот эффект вы, батенька, бросьте. Песок теперь ваш, вы его и принимайте.

— Сыпьте в море прямо с борта.

— Не могу. Я груз принял и должен вам сдать.

— Но ведь вы же оконфузите меня на всю жизнь перед самоедами: «какой дурак русак песок из Архангельска возит». Я уже не говорю о том, что будет стоить выгрузка. Очень прошу вас смайнать за борт.

— Как я могу бросать за борт груз, за который в Архангельске по 45 рублей за куб плачено, да упаковка, да фрахт! Что вы шутите, что ли? Какой эффект получится в Архангельске, если за борт сто бочек смайнать

— Ну, а мне-то с ним что делать? — и агент недоуменно развел руками.

— Я выгружу, заплачу за выгрузку, а там уже ваше дело, — невозмутимо хрипит Андрей Васильевич.

Потом я видел злополучные бочки с песком аккуратно сложенными на берегу. Для того, чтобы самоеды не интересовались этими бочками, агент широко оповестил о том, что в них прибыла селедка (самоеды селедки не едят).

Утопая по шиколодку в прибрежном песке и гальке, мы добрались до становища Бугрина. Здесь всего четыре жилых дома, если можно присвоить это название

той конуре, в которой живет помощник агента Госторга, известный здесь под кличкой «Наркиз» (личность примечательная, но о нем ниже).

Размеры дома Наркиза таковы, что до середины ската крыши я свободно достаю рукой. Чтобы войти в дверь, нужно согнуться в поясе под углом 90°.

Остальные постройки немногим лучше. Обшитый толем дом агента состоит из четырех клетушек общей площадью 15 квадратных метров. Здесь он живет с семьей из трех человек; тут и контора, сюда же набиваются приезжающие по делам самоеды. Когда в «столовой» стоит самовар и сидят человек пять, то не только негде уже стать, но некуда даже выдохнуть из себя воздух.

Рядом с домом агента стоит покосившаяся избушка метеорологического наблюдателя Убеко Баранкеева. Подолки этой избушки оставили много шишек на моей голове.

В центре поселения стоит сооружение, замечательное исключительностью совмещаемых им функций: это — склад мехов Госторга и церковь. Не какая-нибудь ликвидированная, заштатная церковь, а самая настоящая, действующая.

Через никогда не закрывающиеся двери мы попадаем в просторное помещение, доверху заваленное тюками связанных постелей. Из-за тюков виден иконостас с расставленными перед ним аналоями. На аналоях священные книги. Дверь алтаря тоже не заперта.

Вхожу.

На престоле разложены орудия производства: два креста, дароносица, кадило и т. п. В середине — большое евангелие. Сбоку в шкафчике висят облачения.

В общем вся эта часть оставлена совершенно нетронутой и, хотя здесь нет священника, она содержится в порядке.

Самоед, которому приходит в голову справиться молебн или панихиду, приезжает в Бугрино. Сам открывает церковь, зажигает свечи, разводит кадило и начинает службу. Обычно это делает старший в семье, все же семейство молится в церкви. Если у приехавшего есть родные, похороненные на близлежащем христианском кладбище, то он ходит с кадилом и вокруг могил. Трудно сказать, в чем заключаются моления этих импровизированных священнослужителей и их прихожан, ведь большинство из них даже не имеют представления о русском языке.

Содержится церковь на добровольные пожертвования самоедов. Пожертвования или, как их здесь называют, «жертвы» приносятся натурой и притом тайно. Когда приношениями заполняется шкаф, происходит распродажа пожертвованного. Ее широко используют живущие здесь русаки, так как это является единственным легальным способом купить заветных песцов и лисиц.

После покосившихся, закопченных домиков становища совершенно ошеломляющее впечатление производит стоящее от него на расстоянии километра здание больницы. Большие окна, высокие потолки, просторные комнаты. Помещения необычно обширные, от которых уже отвык глаз москвича. У фельдшерицы комната в 30 с чем-то квадратных аршин, у санитарки — аршин 50, приемная такая же, если не больше, аптека, ванная и т. д.

Недоумение вызывает только одно — больница... на одного больного.

Но, как оказывается, для Колгуева этого вполне достаточно. Самоеды, по словам фельдшерицы, не только не любят лечиться, но и ничем не болсют.

— Позвольте, а пресловутый сифилис, от которого вымирают туземцы? А трахома, поражающая целые семьи и роды, экзема, чесотка?

Тучная фельдшерица только плечами пожимает.

— Ну, а знаменитая чахотка, порождаемая убийственными колгуевскими туманами?

Фельдшерица даже рассердилась.

— Я же говорю вам, что самоеды тут совершенно здоровы. Здесь нет никаких типичных болезней, свойственных туземцам. У меня за год было всего 60 больных с различными пустяками.

— В чем же дело?

— В стерильности колгуевского воздуха и всего острова.

Повидимому, колгуевский воздух действительно обладает необычайными целительными свойствами. Фельдшерица и санитарка отличаются исключительной комплекцией, завидным цветом лица и прекрасным аппетитом.

Не отстают от них и больничные клопы. Так как жить мне довелось в больнице, то я имел возможность ежедневно и многократно убеждаться в отменных размерах и непомерном аппетите этих клопов, выползающих из всех мельчайших щелок и трещин бревенчатых стен.

Когда борьба с клопами доводила меня почти до тошноты, я одевался и выходил на крыльцо.

Для того, чтобы выйти на крыльцо, нужно преодолеть сопротивление ветра, давящего на входную дверь с силой, буквально валящей с ног. Борьба эта тем труднее,

что крыльцо, ступеньки, перила—все скользко и блестит как лакированное.

Густой, промозглый туман обволакивает все кругом непроглядной мутью.

Пронзительные, почти никогда не прекращающиеся ветры и постоянные туманы — это свойства климата, делающие жизнь на Колгуеве и особенно в Бугрине очень тяжелой. Местоположение Бугрина выбрано весьма неудачно; становище стоит на совершенно открытом угоре, ничем не защищенном от ветров всех румбов.

Хотя в свою очередь эти ветры и обеззараживают Колгуев, избавляя его даже от мух, оводов и т. п.

Овод — это бич оленевода. На Колгуеве овод появляется не каждый год, но все же иногда бывает. Вред, причиняемый оводом, сводится к двум явлениям. Первое—это то, что, раз заведшись в шкуре оленя, овод оставляет там свои яички. Выходящие из яичек личинки под кожей животного образуют волдыри — свищи. Свищи причиняют оленю большие страдания, постоянно беспокоят его и изнуряют. Кроме того, в местах свищей на шкуре образуются дыры. обесценивая постели, идущие на замшу.

Из болезней наиболее частыми и распространенными среди оленей являются — головная болезнь и копытка, выводящие из строя огромные количества зверя.

На Колгуеве овод если и появляется, то не в таком подавляющем количестве как на материке. С острова самоедам уже некуда кочевать со стадами, чтобы уйти от овода, как уходит от него и от гнуса материковый самоед, поэтому колгуевец и не пренебрегает борьбой с оводом. Овода приманивают на разостланные белой



Рис. Василия Беляева. Самоед Семён Вылка на толбее (скале) караулит появленне морского зверя. Маточкин шар, Новая Земля 1929 г.

замшевой стороной наверх постели или на парусину и уничтожают.

Подкожные свищи самоеды также выдавливают. Мне не привелось видеть, но рассказывают, что, выдавливая свищей, самоеды их тут же и съедают. Так как выдавливание свищей возлагается на ребятишек, то свищи и считаются детским лакомством.

Что касается Колгуева, то на нем наиболее серьезной угрозой целости оленьих стад является гололедица. Из-за того, что сквозь покрытый гололедом снежный покров олень не может добыть себе ягель, стада гибнут. Иногда, в неудачные годы, падеж доходит до 60% наличного состава стад. В случае появления гололедицы судьба стада целиком зависит от знания местности пастухом и от его умения отыскать площади ягеля, доступного оленю. Однако, судя по рассказам, здесь самоед-пастух далеко не всегда оказывается на высоте.

Стерильность колгуевского воздуха делает остров почти совершенно безопасным в отношении эпизоотий, губящих на материке десятки и сотни тысяч оленей за год. Поэтому Госторг и сосредоточил внимание на Колгуеве как на природном оленьем заказнике, способном дать значительное количество экспортного сырья (оленьи окорока, замша, шерсть).

Теперь оленьее хозяйство на острове находится в совершенно зачаточном состоянии, используются только шкура и часть мяса оленя; убой не превышает 3 000 голов ежегодно (в стаде Госторга).

В значительной мере недостаточная эффективность напряженной работы Госторга происходит вследствие отсутствия необходимой согласованности в действиях Госторга и Комитета севера и, повидимому, непрекра-

щающихся между этими организациями скрытых тренировок на почве их советизаторской, колониационной и торговой деятельности.

Основная и, пожалуй, единственная в настоящее время база, на которой Госторг и Комитет севера могли и должны были бы объединить свои усилия, туземное оленье хозяйство, остается неиспользованной.

Колгуев—совершенно исключительное место для оленевода.

Холодные, колючие ветры Баренцова моря насквозь, из конца в конец, продувают остров. Жесткая трава лежмя-лежит под напором шипящих порывов. Но эти порывы, бич русаков, живущих на острове, спасение для оленей. И эти порывы, играющие роль единственного озонатора колгуевского воздуха, рано или поздно будут использованы.

Но мне не легче от живительного свойства холодного ветра, резкими короткими ударами бьющего со стороны бушующего за кошками моря. Суконная куртка — плохая защита от суровых вздохов старого Борея. Надо спастись в избу.

В больничной горнице жарко до духоты. Видимо, калории, затраченные мной на рубку дров, дали обильные всходы в печи, истопленной руками самого Блвштейна.

Засыпая, я слышу заунывный вой ветра в трубе. Сквозь тонкие щели в тройных рамах пробивается мышинный писк резких порывов.

В нос ударяет резкий запах раздавленного клопа. Вероятно, это первый нечаянный мазок на моей простыне за сегодняшнюю ночь. К сожалению, не последний.

2. В ЦАРСТВЕ КУМКИ

Колгуевская больница никогда не переживала такого оживления, как со времени нашего приезда.

Днем и ночью мы только и занимаемся приемом гостей. С примусов не сходят чайники, так как, надо отдать справедливость колгуевцам, даже русакам, пить чай они отменные мастера. О самоедах я уже не говорю. Их способность поглощать чай просто феноменальна, особенно у женщин. Полуведерный чайник приходится подогревать дважды, чтобы угостить четырех человек. Однако не следует думать, что в качестве угощения здесь можно отделаться одним чаем. Чай—это только прелюдия к угощению, выставляемому людьми, приехавшими «с парохода». Основное — это водка. Все взоры устремлены на твой багаж, все разговоры вертятся около того, сколько у тебя водки.

Приезжий, не поднесший «кумку» гостю, погибший человек, если он имеет в виду не только сделать какое-нибудь дело с туземцами, но даже просто извлечь от них какие-нибудь сведения.

Уже на другой день после того, как мы высадились на берег, тундра, повидимому, знала о нашем прибытии. Начали приезжать гости.

Лихо подкатили к крыльцу три первые нарты. Через минуту в комнату вошли и три первые гостя: Ека, Макся и Неньця. Входят робко, застенчиво, смотрят исподлобья.

Я еще не в курсе тем, которые могут заинтересовать самоедов; гости сосредоточенно молчат. Так же сосредоточенно и молча пьют чай. Пьют его невероятно

горячим и очень быстро. Жадно откусывают большие куски сахара.

Пытаюсь занять гостей барометром.

— Вот аппарат, который говорит наперед, какая погода будет.

Молодой самоедин поглядел, видимо, из желания не обидеть хозяина и снова принялся за чай.

Старик даже не стал смотреть и пренебрежительно махнул рукой.

— Твоя аппарат врет. Цисы эта, а цисы засегда врет. Наса чум цисы был, так засегда один время казал.

Мой барометр он принял за часы, а в часах его, по-видимому, уже разочаровал какой-то ломаный будильник, невесть каким ветром заброшенный в тундру. Я попробовал все же объяснить ему:

— Нет, друг, это не часы. Это совсем другая штука. Она не время говорит, а говорит, какая погода вперед будет: завтра, послезавтра.

— Ты, парень, брось; все равно такая штука врет. Кто могу сказывать, какая погода перед будя?

После этого я уже не делаю попыток занимать гостей нашими диковинками.

Молчаливое хлюпанье и чавканье длится десять, пятнадцать, двадцать минут. Наконец Макся решается прервать молчание. Маленький, щуплый, он, застенчиво улыбаясь, выдавливает из себя еле слышно:

— Хоросá цай.

Помолчав, точно подумав, так же робко замечает:

— Сахар хоросá.

Двое других, соглашаясь, кивают головой.

Я решаю использовать это начало и завязываю разговор.

— А разве у вас нет чая и сахара?

Макся смущенно опускает глаза и, ни на кого не глядя, цедит:

— Какой чай? Не стала чай, не стала сахар.

— Почему не стало?

— Агент мала давал.

— Так ты, наверно, промысла не сдавал, вот агент тебе и не давал.

— Какой промысла, нет промысла. Так давать нада.

— Почему же нет промысла?

— Зверь не стала. Зверь большевик стала. Хоудэ ягу, а́у ягу.

— И не будет а́у потому, что вы яйца весной у них обираете, откуда же а́у будут?

— Яйца как не обирать, что кушать будем?

— Так ведь лучше подождать. пока птица будет. Лучше большую птицу съесть, чем маленькое яйцо.

— Как не луцце.

— Так зачем же яйца берете?

— А как не брать?

— Так ведь ты же сам сказал, что лучше большая утка, чем маленькое яйцо.

— Как не люцце. А если яйца не брать, что кушать будем? Понимаешь ли, нет ли?

Я вижу, что это сказка про белого бычка, и перевожу разговор.

— А вот куроптей у вас тут много должно быть. Госторг промысел ставить будет.

— Хоудэ ягу. Нет куроптя.

— А куда же он девался?

— Хоудэ большевик стала, не стала на Колгусе.

— Что же по-твоему большевики плохие люди?

— Зацем плохой? Нет плохой. Говорю тóлько, большевик глупой. Нам денег нада, сахар нада, сипун для пой нада, чай нада, водка нада. Понимаешь ли, нет ли?

— Понимаю, конечно, вам все это и привозят.

— Какой привозят... мадо привозят.

— Ну, сколько тебе чего надо? У тебя какая семья?

— Моя какой семья, малой семья — не есть, а́нцы два есть, больше нет.

— Старики есть?

— Ягу.

— Ну так сколько же на тебя, женку и двоих детей чего нужно в год?

— На год? Сахар два сотня килограмма нада; чай два десятка килограмма нада; мука десять мешок нада. Агент не дает столько. Мала дает, сей год сахар шестьдесят сотня (160) килон давал, чай пятнадцать килон давал. Мала... Вон большевик больница строил. Зацем больница, ты мне кази? Больница много денег стоил. Тенег нет — больница есть. Пустой дело. Водка тозе нет, как мозна? Глупой большевик.

— Постой, друг, ты что-то врешь. Ведь у вас на острове свой совет?

— Свой.

— Свой председатель?

— Свой претатель. Я сам, парень, замеситель претателю.

— Заместитель председателя?

— Ну да, замеситель.

— Так вы же сами должны говорить, что вам нужно, чего не нужно. И разве к вам не приезжали русаки объяснять, как совет работать должен, почему надо больницу строить, почему теперь водки нет?

— Как не приехал, приехал. Многа приехал. Самый большой нацальник из самой большой исполком приехал Сидельник его прозывают.

— Синельников, что ли?

— Ну да, Сидельник, он. Приехал, собрание делал. Много говорил. Наса говорит, самоецкий совет делать нада, а сам наказал секретарем Павлика выбирать. Мы выбирал, руки поднимал. Как мозна не выбирать.

Рассказчик стал, повидимому, оживляться, но тут его перебил по-самоедски сосед, седой как лунь старик с изборожденным глубокими морщинами лицом.

— Ну да, как мозна не выбирать, коли Сидельник наказал. Сидельник многа говорил. Наказал водки пить не нада. Церковь ходить не нада. А только врал все парень. А зацем самоеду пьяный не быть? Не, врес, парень, нас не оманешь. Сидельник наказывал самоетку обществу в церковь ходить не нада. Многа врал Сидельник. Он сам чум никогда не емдал. Павлик посылал. Павлик тут у нас секретарем зимовал, все не чумы емдал, водку вместе пили. Павлик хороса видал какая наса жизнь, что самоеду нада. На другой раз когда Сидельник приехал, опять собрания делал, Павлик тозе говорил. Сидельника крепко ругал. Сидельник велел другой секретарь выбирать. Мы руки поднимал. Как мозна не поднимать, коли большой нацальник из самый большой исполком наказал. Казал Павлик водку пивал, с водки помирать будем. А только, парень, нас не оманешь. Русаку водка, а самоедам больница? Так не ладна, парень.

Двое других самоедов согласно кивнули головами.

— Да, так не ладна, парень.

Эта поддержка точно подстегнула старика.

— Ты кажи, парень, кто врал-то, агент врал ли, начальник врал ли? Не Сидельник, другой начальник на Колгуй ездил. Наказывал нам, не нада долг Госторгу платить. Наказывал, Госторг грабил долг тот, не нада платить. Да... большой советки хозяин долг списать будя. Так начальник наказывал. Да... а агент как делал? Наказывал: «долг плати». Долг есть — товара нет. Какое мое дело долг? Ты товар давай, есть долг, нет долг! Мне товар все одно нузен. Давай товар, как начальник наказывал. Кто врал? Я так думаю — агент врал. Нас не оманешь, парень!

Они сумрачно допили чай и положили чашки на блюдца.

Минут десять прошло в молчании. Я не знал, как реагировать на только-что слышанную отповедь большому начальнику из самого большого исполкома, Сидельнику. Я догадывался, что речь идет о некоем Синельникове, который не то от Архангельского исполкома, не то от Комитета севера совершает каждое лето объезд островов на манер ревизора-сенатора: устроит советский строй среди туземцев, чинит суд-расправу. Но я совершенно не был в курсе местных дел и не знал, в какой мере правы самороды.

Меня выручил, наконец, Неньця.

— Ты, парень, дела делать приехал на Колгуй?

— Да, вот скоро в чумы к вам поедем.

В один голос все трое облили меня холодной водой

— А водку привозил, парень?

И они весьма недвусмысленно уставились на водочную бутылку, стоящую на столе. Однако в бутылке была чистая кипяченая вода.

— Нет, у нас здесь водки нет.

— Как нет, парень? Не нада манить, нас не омманешь. Заскорузлый палец Еки с черным, широким как лопата ногтем ткнулся в бутылку.

— Это вода, друзья.

— Какой вода? Вода нам не нада. Кумка тарá.

— Говорю, нет вина здесь.

В доказательство я налил в чашку воды из бутылки и дал попробовать всем троим.

Отпили, почмокали, покачали головами.

— Десь нет, пароход есть. Какой дела делать езал, коли кумки не подноси́. Только голову дуришь. Так не ладна, парень.

Я попался на удочку.

— Здесь нет, на судне водка. Вот привезут, тогда приходите, угощу кумкой.

Только это им, повидимому, и нужно было. Они сразу поднялись.

— А не омманешь, парень?

— Зачем обманывать.

Три пары глаз еще раз подозрительно обшарили все углы, прежде чем гости решились уйти.

Наши первые туземные гости.

Всего два часа знакомства, а какая оскоми́на!

Ощущение оскомины охватывает вместе с чувством, близким к тошноте, от острого запаха, оставленного по себе самоедами. Кислый пот, гарь, тухлое мясо — все это смешивается в какой-то всепроникающей крепкой струе. Волны этого самоедского духа плавают по комнате вместе с сизыми клубами табачного дыма.

А из соседней комнаты так же непреодолимо лезет в дверь гул голосов собравшейся у нас русской колонии Колгуева. В голосах чувствуется необычная припод-

нятость, не то от радости по поводу прибытия свежих людей, не то от излишне выпитой водки. Здесь способны так много выпить без внешних признаков опьянения, что сначала никак не отличишь, просто ли человек горячится или это действие водки.

Только по тяжелому запаху спирта можно скорее догадаться о втором.

Чтобы избавиться от этой удушающей смеси самоедского пота и русской горькой, я выбегаю на двор.

Редкий для Колгуева вечер.

Почти тихо и нет тумана.

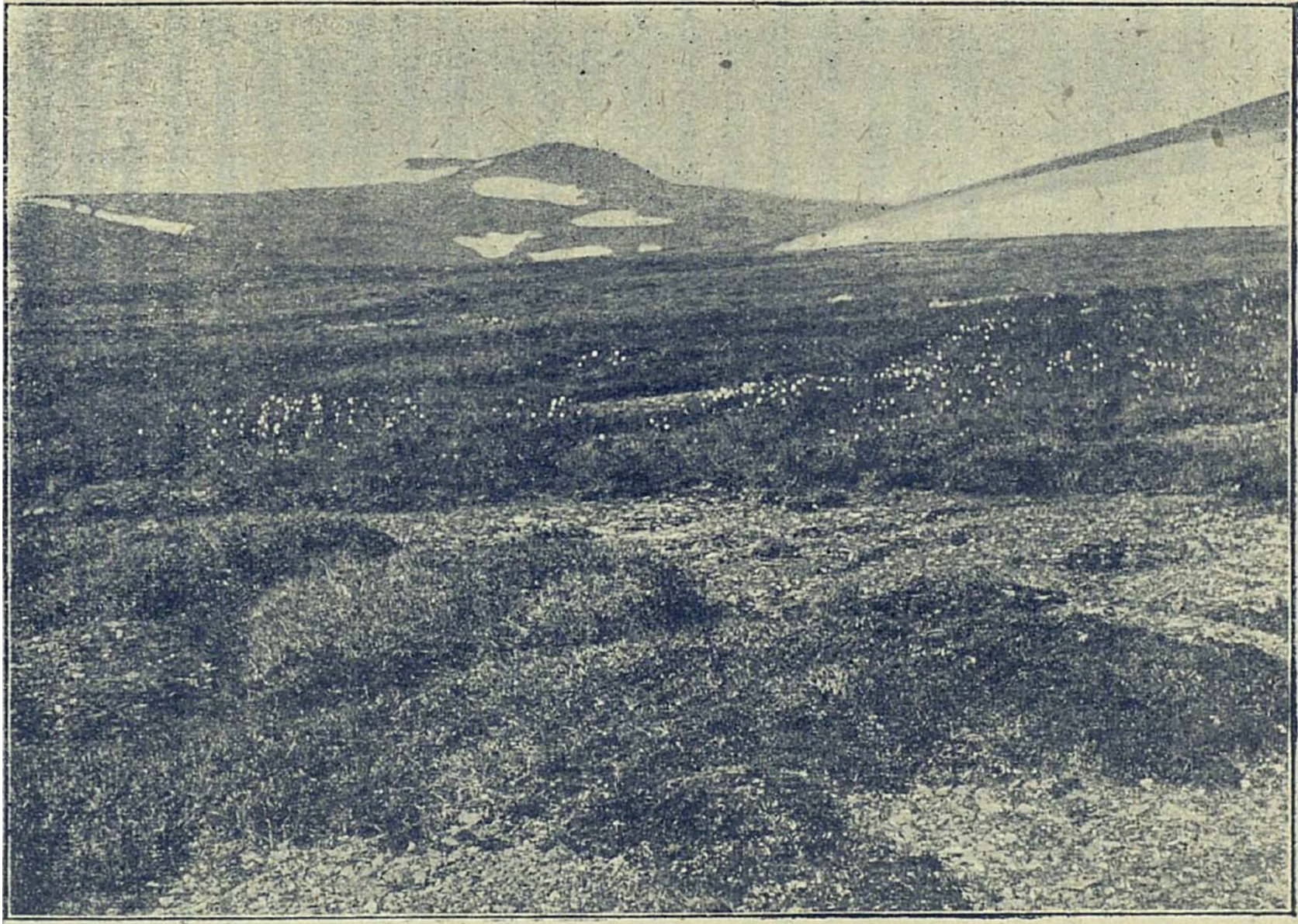
Далеко в море виднеется наш бот, отделенный от берега резкими желтыми полосами кошек, просвечивающих сквозь серо-зеленую муть воды.

По мере удаления к горизонту море делается все темней, пока не переходит в бурый, почти черный валик тумана. Над этим валиком снова серая муть, холодная, глухая какая-то, точно за ней и не скрывается прозрачная голубая чаша неба.

А с другой стороны мокрый купол неба как-будто влип в пологие буро-зеленоватые волны тундры.

Под ногами пружинит бархатистый ковер мха. Он, точно матрац, подается на каждом шагу, и так и тянет нагнуться и погладить рукой его коричневый ворс

Но какое разочарование: такой бархатистый на вид, мох дерет по руке, как хорошая терка. Из-под верхнего сухого слоя при легком нажиме выступает вода. Совершенно теряются в коричневом мшистом ковре редкие кустики незабудок. Незабудка здесь особенная. Я такой еще не видел. Цветочки необычайно чистого-чистого голубого цвета. Еще реже, отдельными глазками выглядывает иногда из-под ног ромашка.



Колгуевская тундра

Такой же неприветливой, как серое море, кажется коричневая тундра. И когда с моря на тундру наплывает туман, она сливается с морем в одну общую муть.

Не успеваю я пройти и одного километра в сторону тундры, как свинцовые валы тумана, виденные мной над морем, уже набегают на берег и начинают затягивать больницу. Она тускло желтеет свежим срубом сквозь завесу мутных клочьев.

Платье сразу намокает. Волей-неволей нужно идти домой.

А дома, в комнатах, такой же непроглядный туман, как на улице. Сизые клубы дыма от несметного количества выкуриваемых папирос плавают над столом.

Слышится хриплый голос Наркиза.

— Нет, я давно уже не священствую. Здесь я священствовал всего лишь два года, а то все на Новой Земле. Там-то я прожил, кажется, лет двенадцать.

Наркиз приостановился, медленно выцедил рюмку и, чавкая огурцом, продолжал:

— Религия! Какая там религия. Я так полагаю, что самоедину решительно все равно кому молиться, лишь бы молиться. Вот я вам скажу про свою просветительскую, так сказать, миссионерскую деятельность. Приедешь, бывало, в становище. Ну, конечно, вина привезешь. Без этого мы уж не езжали. Захватишь ведра три, а то и четыре. А вино нарочно так привезешь, чтобы самоеды видели. Бывало, спросишь: «Ребята, к обеду придете?» Ну, желающих мало, все на работу ссылаются: кому в море нужно, у кого рыба не засолена, другому турпана бить нужно. Тогда и объявляешь: «Кто придет к службе, получит по чарке водки!» Ну, конечно, придут. Служишь, стараешься. А они молчат,

точно воды в рот набрали. И не перекрестится ни один. Такое зло, бывало, возьмет. Скажешь им душевное слово: «Вы что же, такие-сякие, где вы, на сходке, ай в церкви? Молиться я за вас буду, что ли? Молитесь, мол, и чтобы с крестами!» Ну, начнут здесь кланяться. И лбы крестят, нужно не нужно. А только все молчат. «Пойте, скажешь, братья, «Спаси, господи, люди твоя!» Молчат. «Вы что, онемели?» Молчат. Начнешь по словам им выпевать, а они хоть бы что, как оглохли. Ин зло возьмет, и крикнешь им: «Вы молитву знаете?» Не знаем, мол. «А русский язык знаете?» Тоже, мол, не знаем. «А если я вам чарку за молитву поднесу, тогда знаете?» Тогда, говорят, знаем.

И начнут тут на все голоса выводить. Такое запоют, что хоть святых вон выноси. Стараются. На «Спаси, господи» не очень похоже, но ведь не в том и дело.

А только службу кончу, сейчас всем обществом ко мне. Давай чарку, за поклоны одну, за молитвы одну, за пенье одну. Ну, выпоишь им ведро и айда в другое становище. Самоедин—он жаден до водки. За водку что угодно сделает.

Вот однажды приезжал к нам какой-то товарищ из центра. Это еще на Новую Землю-то. По части фролка. Вроде как былины самоедские собирал. А только редко-редко кто из самоедов ихние-то сказки знает. Ну, конечно, враз вся округа узнала про этого товарища. А сказочник один единственный в томь как-раз на промыслу был. Приезжает это только один самоедин, здоров был пить и жаден до водки — страсть. И прямо к этому товарищу из центра. Я, говорит, так и так, могу сказки самоедские сказывать, если ты кумку поднесешь. Ну, тот и рад стараться, поднес ему

кумку, другую, а мне вполне известно, что никаких сказок этот самоедин не знает. А все-таки сели они и стал самоедин напевать, а этот фролкор записывает. Целый вечер все писал. Ну, налузгался самоедин до потери самочувствия, а фролкор-то доволен, что успел чуть не десять былин записать.

Тут еще инженер один случился, избы в становищах строил. Завидки его взяли на фролкора, и как только самоедин проспался, он давай ему от себя подносить и тоже просит все сказки сказывать. Ну, тот и сказывает. А только не сказки это, а так, из головы фантастика одна. И притом спьяну самоедин, конечно, успел уже забыть все, что накануне фролктору сказывал, и давай наново надумывать. Напевал, напевал, снова напился и уехал. А те двое, инженер и фролкор, стали свои сказки сравнивать: — и то, да не то. Выходит все шиворот-навыворот. И стали друг друга в некомплектности укорять. А только оба, конечно, свои сказки в центр повезли. Ну, а мне-то хорошо известно, что в этих сказках все только из пьяной головы самоедина надумано. Чудно, право... Ваше здоровье!

Пока Наркиз опрокидывал очередную рюмку, разговором овладел Жданов. Жданов вообще не отличался молчаливостью, а тут еще соответствующая доза водки окончательно развязала ему язык:

— За што я страдаю, товарищи? Скажите, за што? Да рази за мои 120 рублей сюда какой человек пойдет? Я и плотник, я и лавочник, я и водовоз, я и булгахтер. Вы жизнь мою в рассуждение возьмите. Госторг требует: товар дай, а Комитет севера — тпру!... Шалишь!.. Ты самоеда не тронь. Ты ему за товар-то в ножки поклонись... А он тебя еще ногой в рыло пхнет... Ведь

если бы самоед знал, что для своего пропитания он так же, как наш российский пролетариат, труд положить должен. А то ведь разговор какой: Милые самоедики, вы можете и работать, конечно, если захотите, но имейте между прочим в виду, что этот самый Госторг вас так и этак, все едино кормить обязан. Долги есть? Снимет Госторг, он богатый... Ставка мала? Повысит Госторг — его мощна, мол, выдержит. Укажите, между прочим, товарищи, который метод я в таких обстоятельствах, как агент, иметь могу? Привезли, скажем, товар. Команда его к черте прилива выбросила, а я хоть своими двумя руками груза в амбар поднимай. Потому, хотя поденная плата и определена кучеру на наших оленях в 2 р. 80 к. поденно, а при выгрузке по 5 рублей человеку поденно, но, впрочем, еще и за эти деньги наприсишься, так как в направлении физического свойства самоедин первый лодырь. Муку на угор поднимать, так он тебе за день пять кулей сносит, и то скажи спасибо. А между прочим пятерку ему гони. Какой процент накидки выходит, сами судите. Но накидки не полагается, дана Госторгу твердая цена — по ней и отпусти. То-есть, значит, себе в убыток. Или вот еще в качестве обрисования примера экономической политики насчет дров. Ну, вот вы, скажем, почему в Москве за сажень платите? 75 рублей? Прекрасно! А скажите на милость, находятся там гортопы или губтопы какие-нибудь, которые пожелали бы вам эти дрова по 30 рублей продать? Небось, нет таковых желающих. А вот, прошу, у нас здесь — расценки предельные 45 целковых за куб, а иначе — 15 рубликов за погонку швырка и ни гвоздика больше с самоеда ни возьми. А как вы располагаете, Госторгу таковые в чево ста-

нут? В Архангельске купи, на Колгуев привези, здесь на угор подними. Да все дрова трижды окупить можно за этот за подъем-то. Ведь за ево тому же самому самоедину, что мне 45 рублей заплатит, я столько же за подъем от берега отдам. То-есть позвольте, что же вышло? — дрова-то они у меня даром взяли.

Жданов задумчиво уставился в чашку с водкой, точно ища в ней прерванной нити своих набегающих друг на друга мыслей.

— Вы, вот, не имеете того представления, которое я хочу вам обрисовать в направлении деятельности культурного просвещения, а между прочим дело очень хреновое, чтобы не выразиться в смысле безнадежности. Возьмем теперь детскую площадку. Придумали это детей самоедов, прибывающих в Бугрино на время убоя, воедино собирать и с ними заниматься. Ну хорошо, привезти-то детей самоеды привезли и на площадку сдали. А потом и говорят: за такое одолжение пущай Госторг наших детей и кормит. А что у меня, Нарпит, что ли? Или тоже возьмем вот ясли. Приехал деятель из Комитета севера. Поговорил, разагитировал самоедов и вполне благоприятно добился постановления общества: организовать ясли. Постановили и уехал себе в Архангельск. А кто деньги-то на ясли давать будет? Самоеды? Нет, брат, шалишь: у них клещами на это дело копейки не вытянешь. На все один сказ: Госторг даст. А Госторг и так по всем швам трещит. Сколько-то вот разговоров было, артель организовать для морского промысла. А поди, выгони самоедина в море на лодке, пожалуй, оборвешься. Ну, хорошо, я им мотор исхлопотал. Мы с наблюдателем Баранкеевым на себя взяли. Тоже муки сколько приняли за мотор

этот, пока его на карбас вчинили. Архитектура тоже при этом своя проявлена. Мотор вполне что надо вышел. Ну и последовательно самоеды в артель пошли— 8 человек набрали. А ты спроси, с кого из них за мотор хоть копейку получить удалось? А ведь на мне по сей день 1 200 рублей числится. Тоже и работать — на берег кто мотор вытаскивать? Думаешь, самоеды? Нет, брат, ошибись, агент да наблюдатель за самоедов срабатывают. Тоже и честность эта их хваленая. Вон, только зевнул я, Николай то Ледков казенную важенку за свою в расход и вывел. А как его на этом деле Николай Большаков застукал, — тоже самоедин у нас тут, пастух, — так он Большакову другую важенку дал: молчи только, мол. Да тот спьяну мне все и выложил... Оч-ч-чень удобный в этом направлении человек Большаков Николай — никогда пьяный не запрется. Вот опять насчет вина, у кого найдется смелость в отрицании его вредности. Ну, а разве можно помыслить про сношения с самоедом без угощения?

Жданов крякнул, рывком опрокинул чашку и, не закусывая, грустно как-то закончил:

— А рассудите, товарищи, что есть триста литров вина на этот остров? Рази это норма? Тьфу, р-раз!.. и ни шплинта не осталось.

Жданов выразительно икнул и умолк.

В это время прибыли с судна люди, доставившие нам остатки нашего имущества.

Почти одновременно с прибытием этих людей я увидел в окно несущиеся по тундре ханы. Один, другой, третий. За ними еще серели в тумане упряжки.

Было уже два часа ночи, и я никак не мог предположить, что все эти упряжки направляются к нам. Но это

было именно так. Не дальше как через десять минут самая большая комната больницы была уже набита самоедами.

Причину столь позднего визита тут же пояснил тот самый старик самоедин, что был уже у нас днем.

— Мы видали, с парохода люди на мотор приходил, ящики носил. Ты казал, пароход водка есть. Я так думал, этот люди водка возил. Ты кумка подноси, парень.

В дело вмешался Жданов. С необычайным терпением и энтузиазмом он принялся излагать самоедам все дурные стороны пьянства. Однако самоеды плохо воспринимают эту пропаганду и упорно твердят свое: «кумка тарá». Тогда Жданов, махнув рукой на проповедь трезвости, стал объяснять самоедам, что водка у приезжих, может быть, и есть, это ему неизвестно, но тратить водку они не могут, так как, мол, если сейчас водку расходовать, то не с чем будет в тундру ехать, и им же хуже будет. Если водку сейчас почать, то русаки сами много выпьют, а если почать ее в тундре, то им же, самоедам, больше достанется. Самоеды плохо поддаются этим натянутым убеждениям, и спор продолжается битый час. Блувштейн, повидимому, потерял терпение и в довольно решительных тонах дал понять гостям, что они напрасно тратят время. Самоеды, наконец убрались, но один из них, рослый, здоровый мужчина, уже пожилой, с энергичным коричневым лицом, долго не сдавался. Он ушел явно раздраженный, с насупленным злым лицом. Это был местный шаман — Семен Винукан.

По уходе самоедов спущенные было под стол бутылки снова появились на сцене. Маленькие глазки

снова заиграли на кирпично-красном, испещренном мелкими, как паутина, морщинками лице Жданова. Пополняя израсходованные на проповедь трезвости калории, он наполнил себе чашку двойной порцией водки. С видом жертвы, сморщившись как от лимона, он проглотил водку, ничем не закусывая.

Большинство из нас уже клевало носами после невероятно сумбурного дня, но Ждановым вновь овладело непреодолимое желание делиться с кем-нибудь своими невзгодами.

— Да... и вот с таким несознательным человеком мне пришлось здесь три года отмотать. Разве я провинник какой? А вот терпел. Если самоед придет, ведь я его не погоню, верно? А раз пришел, ты с ним хочешь, не хочешь, говорить должен, и чай пить и водкой угощаться... Это вполне правильно Никандра характеризовал: жаден до водки самоед. Вот я вам расскажу такой случай... Дело было зимой, или не... весной уже, кажется. Одним словом, темно еще совсем было, а лед, между прочим, уже разбивать ветрами стало. Иногда вокруг острова каша какая-то бывала. Это самое тяжелое время года у нас, потому что с последнего парохода времени уже много проходит, а нового еще ждать и ждать. И ветра, уж очень ветра доезжают. Такие ведь здесь задувают, что уж на что я по морю человек привычный, а ведь другой раз прямо жуть берет: дом-то останется на месте, ай нет? В такое время, конечно, и говорить не приходится, ни одного самоеда не уговоришь с берега сойти, боятся. Они вообще до моря и морского льду здесь не особенно охотны. Но вот, впрочем, однажды утром, погода была, ни свет ни заря, меня на ноги подняли самоеды. Пришли, шумят, что

будто в море водка плавает. Я спервоначалу никак в толк взять не мог, как так водка плавает. Потом располагается, что в море среди битого льда бочка большая треплется. Ну, сами понимаете, мало ли бочек в море может плавать, и почему эта именно бочка с водкой, непонятно. Я, конечно, независимо от содержания бочки, бинокль взял и усматривать стал в том направлении, где самоеды это видали. И в действительном виде представилось мне вроде бочки, а около той бочки еще некоторые предметы. А самоеды все, как один: идем на лед, да и только. Бочку смотреть. И ведь надо вам поймать представление о том, что трусы они, на лед их не выгонишь ежели за каким делом, а тут, вот, поди. Хотя, впрочем, одни на лед иттить не решаются, требуют сопутствия. Я, конечно, не с точки зрения водки, а все-таки, думаю, надо поглядеть, что есть за бочка и предметы. До кромки припая-то дошли. Самоеды даже оленей тащить хотели, чтобы бочку вытаскивать. С трудом отговорил: давайте, говорю, сперва посмотрим. А как твердый лед-то кончился, самоедов видимый страх забрал. И действительно получилось довольно неприятно. Лед битый, торосистый. Льдина мелкая, неустойчивая. На ее становишься, она норовит в воду. Измокли, надо сказать, до костей, пока до бочки-то добрались. Один самоедин с головой окунулся, думали—не выудим из полыньи-то. Однако же до бочки дошли. Действительно большого размера, железная, того вида как бензинная, но пробок несколько и все как раз вверх глядят. Мои самоеды просто одурели, а пробок-то открыть и не могут—винтовые они. Я одну за другой пробки те отвинтил, и вполне ясно обнаружилось, что все наши усилия в совершенной произ-

водительности оказались... То-есть нет, я, собственно, хотел выразиться, что самоеды те напрасно, мол, старались-то... Бочка с моторным маслом оказалась... Сильная разочарованность проявилась среди самоедов. Все, что я в бинокль рассмотрел вокруг бочки, оказалось вполне непригодным для нас: доски, какие-то обрезки бревен, дрова, ящики. Такое у меня создалось впечатление, вроде как с палубы какого-то судна все это было смыто...

Между прочим, пока мы с этой чепуховиной возжались, неприятность для нас большая проявилась. Путь отступления к берегу-то весь разъехался. Чистая вода между нами и берегом оказалась. Затруднительно в настоящее время обсказывать все то, что нам тогда привелось перенести. Однако же я сам всю компанию на кошки вывел, как знаю, что на кошках лед плотно сидит и нет никаких опасений за то, что он в море может уйти. Ну, а на кошках мы были уже как дома, плавник там всегда есть, костер возможен. А кроме того, тут как раз случилось так, что несколько оленьих задков у нас еще с осени во время погрузки раскидало. Так они на кошках-то осели. И притом же совершенно нетронутые, так как во льду вмерзлые были. Мы их за милую душу, вырубивши изо льда, поварили. Хотя на этих кошках нам и пришлось двое суток посидеть, но, впрочем, это было наплевать, потому что, раз харч есть, все остальное ни к чему. Кроме того, надо сказать, что на этих самых кошках у меня зимой постоянно капканы с привадой для песцоз ставятся. Личные мои. Поэтому место хорошо известное и даже...

Жданов не договорил и потянулся к бутылкам. Однако бутылки были пусты. Он перетряхнул их все по:

очереди, тщательно посмотрел на свет и разочарованно поставил под стол одну за другой.

Когда затих голос Жданова, я очнулся от какого-то полузабытья, в которое окунула меня усталость от непомерно длинного дня. Все остальные, оказывается, уже спали. Кто на койке, кто прямо на полу, на куче оленьих постелей.

Я оказался самым терпеливым слушателем Жданова. Тут же мне пришлось в этом раскаяться. С нежностью человека, пребывающего в том градусе, когда простая внимательность собеседника кажется ему проявлением необычайных душевных качеств и братской любви. Жданов принялся жать мне руку. Его нежность шла так далеко, что было бы по меньшей мере свинством не проводить его до становища. Однако, если путь туда мы совершили довольно быстро, подгоняемые ветром, то обратно мне пришлось идти навстречу этому ветру. Порывы огромной силы давили на все тело, воздух наполнял нос и рот, давил в уши. Рукава пузырились, и руки делались непокорными. При каждом шаге из-под подошв на мшистой поверхности кочек выступала вода. Мох становился скользким, как лед. Ноги скользили, и минутами не хватало опоры, чтобы бороться с неистовым напором ветра. То расстояние, которое в направлении к Бугрину мы только что прошли в четверть часа, я преодолевал больше часа. Выбившись из сил, я с наслаждением бросился в койку.

3. ПО СУХОЙ ТУНДРЕ

Сквозь тройные рамы еще слышно посвистывание ветра. Нудно воет в трубе.

Это остатки крепкого зюйд-веста, два дня не дававшего производить разгрузку.

Люди, топорщась против ветра, бродят от дома к дому.

Редко прокричит над берегом чайка. Она отчаянно машет крыльями в сторону моря, но ветер несет ее хвостом к тундре.

Зато нет и в помине несносного тумана. Уляжется зюйд-вест, и будет совсем хорошо.

Сегодня к полудню должны приехать самоеды, чтобы везти экспедицию в тундру. Но съезжаются очень вяло. С большими промежутками показываются одна за другой упряжки.

Пока съедутся наши ямщики, надо использовать время хотя бы для того, чтобы хорошенько познакомиться с самоедской одеждой. Ведь мне самому через несколько часов предстоит облачиться в малицу.

Малица — это широкая, длинная, неразрезная рубашка, сделанная из оленьих постелей. Носится мехом внутрь, прямо на голое тело. Зимой поверх малицы одевается вторая такая же рубашка, но мехом наружу — совик. Кроме того, совик обязательно делается с капюшоном, а на малице иногда делается только высокий воротник без капюшона.

Ни на малице ни на совике нет никаких застежек, и надеваются они прямо через голову.

Из широких рукавов малицы можно совершенно свободно, не снимая ее, втянуть внутрь руки. Самоеды так постоянно и ходят. А кроме того, это позволяет им все время заниматься борьбой с одолевающими их вшами.

Один «опытный» путешественник по тундре пытался в Архангельске уверить меня, что замечательным каче-

ством оленьей одежды является именно то, что в ней не заводятся вши. Ну, так должен заявить, что мой скромный опыт совершенно не согласуется с этими уверениями опытного путешественника. Достаточно один раз видеть, как самоедин берет в зубы подол своей малицы и проходит по нему зубами, делая мелкие и быстрые укусы. Насекомые трещат на зубах достаточно убедительно, чтобы разочароваться в антипаразитных свойствах оленьего меха.

Если учесть, что самоеды в подавляющем большинстве никогда не моют даже лица и рук, не говоря уже о теле, то становится совершенно непонятным, каким образом их тело сохраняет белый цвет и кажется вполне чистым. Вот здесь я согласен поверить в спасительное действие оленьего меха, очищающего тело от грязи и пота.

Так же как малица, носятся на голом теле меховые штаны, а вместо сапог—пимы с меховыми же липтами.

Госторг, говорят, делал попытку завезти на Колгуев белье, но, в силу нежелания стирать его, самоеды носили рубашки под малицами до тех пор, пока эти рубашки не истлевали.

Это, конечно, не только не приносило пользы с точки зрения гигиенической, но скорее, наоборот, оказывалось вредным.

Самоеды носят малицы подпоясанными. Таким образом они имеют возможность прятать кое-что за пазухой на животе. И эту возможность они широко используют: за пазухой хранится табак, трубка, спички и вообще всякая мелочь, вплоть до изображения духов. Благодаря тому, что руки можно запускать за пазуху, втянув их внутрь из рукавов, такой способ ношения

мелочей оказывается действительно настолько удобным, что с первого же дня я его вполне оценил. Во всяком случае, гораздо удобнее иметь за пазухой носовой платок, плитку шоколада, блокнот и даже карманный фотоаппарат, чем все это рассовывать по карманам брюк и пиджака и в дороге задира́ть полы неподатливой малицы, чтобы добраться до карманов.

Не совсем приятно только то, что и носовой платок и шоколад отзывают резким запахом не то оленьей шкуры, не то пота, особенно если малица уже ношеная.

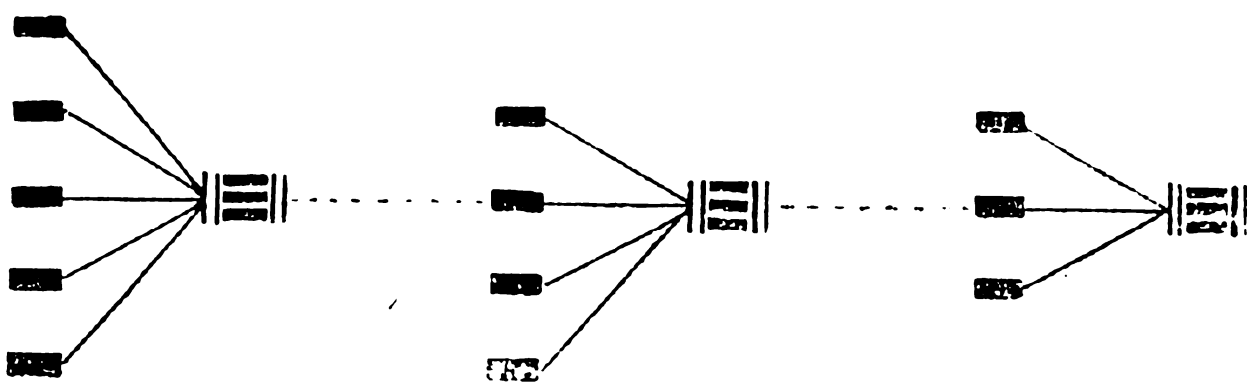
Впрочем, скоро к этому запаху принохиваешься и перестаешь отличать запах своего платка от запаха соседа-самоеда.

Самый процесс снятия и одевания малицы по первому разу кажется неприятным и неудобным. Во-первых, по физиономии каждый раз мажет грязным подолом, во-вторых, никак не сообразишь, что раньше сосать: голову или руки?

Из-за этого я чуть не задохся, протискивая голову через узкий воротник.

Черепанов из новичков быстрее всех овладел искусством носить малицу. Перетянувшись много ниже талии ремнем, он устроил себе объемистый мешок на животе и похож со своей бородой и лысоватой головой на какого-то толстопузого католического монаха, не по комплекции юркого. Зато поражает степенной мастодонтальностью Блувштейн. Даже для него огромная малица велика, она, как какая-то просторная ряса, спускается до пят.

Наконец прибыли нужные нам олени. Каждая запряжка состоит из трех нарт, запряженных таким порядком:



В передней нарте пять оленей, на ней сидит ямщик. Во второй четыре оленя — для пассажира. В третьей три оленя — под багаж.

Размер санок: $270 \times 90 \times 60$ сантиметров.

Доски для сидения настланы лишь в половину длины санок и притом с промежутками шириной в ладонь, так что сидение особенным удобством не отличается. Не сразу удастся сесть так, чтобы, с одной стороны, было удобно, а с другой, быть уверенным в том, что не вылетишь при езде по кочкам. Аборигены стращают трудностью езды по летней тундре именно из-за кочек.

Пока это удовольствие еще не началось, и мы имеем возможность насладиться обществом целой ватаги ямщиков-самоедов, набившихся к нам в комнату.

Нам некогда возиться сегодня с чаепитием, и мы хотим отыгаться на угощении одними папиросами. На перебой предлагаем самоедам пачки «Пушки». Но у них, оказывается, тоже губа не дура.

— Ты, товарищ, такой не давай, перва сорт давай.

Речь идет о «Сафо». От нескольких коробок «Сафо» тут же ничего не остается. Но этим дело не ограничивается. Гости продолжают сидеть и истреблять папиросы. Это тянется полчаса, час, и не видно, чтобы они собирались подниматься. А нужно ехать.

— Ребята, надо ехать, пожалуй.



Оленья упряжка

— Как не ехать.

Как будто должны бы подняться. Ничего подобного. Курение и оживленная беседа между собой продолжаются. Ждем еще полчаса.

— Ну, пора ехать.

С простодушным видом задают вопрос.

— Куда тут ехать?

— Как куда? Известно, в тундру, к горе.

— Мы говорим, как ехать-то, коли тундра сухой.

— Почему тундра сухая?

— Горла сухой — тундра сухой; тундра сухой, олень не бежит. Как ехать? Понимаешь ли, нет ли?

— Нет, не понимаю.

— Я говорю, как ехать? — И опять все то же: олени устали, погода плохая, ягель плохой и вообще все плохое и тундра сухая.

— А почему же тундра-то сухая?

— Без кумки как не будет сухой?

— Нет кумки.

Мы решили на этот раз выдержать характер и не давать кумки, но в дело вмешался Жданов.

— Если не дать по полчашке, все равно до вечера проканителюмся. И, смотрите, с собой берите. На всех остановках та же история будет.

Делать нечего. Приходится приняться за угощение.

Как по мановению волшебного жезла, тундра сразу сделалась влажной и легкой для езды, вялые олени обрели бодрость, и через двадцать минут мы тронулись в путь. Я устроился поудобнее на своих вторых санках, на задних прикручен багаж.

Рослый красавец Йоцо, держа в руке мотыйню, в другой — тюр, бежит рядом со своим ханом, пока не разо-

гнались олени; затем с размаху кидается на сиденье. С этого момента ни на минуту не остается неподвижным его тюр, сердито подталкивая зады одних оленей и ласково оглаживая других.

У Иоцо щегольская головная упряжка — пять белых рослых хабтэ.

Мои олени привязаны веревкой за шею к задку хана Иоцо, а в свою очередь к задку моего хана привязаны за шею олени уто с багажом. Поэтому обе «прицепных» упряжки вынуждены равняться по головной — самой сильной — под угрозой быть задушенными.

Мы быстро выносимся вперед. За нами длинной вереницей вытягивается караван.

Хан мягко бежит по мшистому ковру тундры.

Благодаря широкому разносу полозьев, хан сильно кренится только на очень высоких кочках, а небольшие проскакивает почти незаметно. Чтобы не испытывать неудобств езды, нужно только стараться полусидеть, полулежать, свесив ногу с хана. Но так, чтобы она не задевала за встречные кочки. Я было зазевался немного и чуть не поплатился за это ногой.

Как шпалы под вагоном, мелькают под ханом кочки. Впереди с легким треском, похожим на треск, какой издает мех кошки, если проводить по нему гребенкой, мелькают ноги четырех оленей. Этот характерный звук издают раздвоенные копыта оленей. Когда олень ступает на копыто, половинки копыта расходятся; когда он поднимает ногу, половинки снова сходятся, стучаясь друг о друга. Когда вблизи двигается много оленей, этот звук хорошо слышен и очень характерен.

Мотаются из стороны в сторону мохнатые крупы. Олени то расходятся в стороны, то прижимаются друг

к другу совсем вплотную. Временами просто оторопь берет, как ловко бегут животные через расставленные на их пути бесчисленные препятствия.

Нечего и говорить, что никакие лошади не смогли бы здесь пробежать и ста метров, не поломав себе ног. А олени временами только разносят ноги широко в стороны, как циркуль, и пропускают между ними кочки.

Упряжка оленей более чем примитивная. У коренного оленя постромки протянуты от хомута между ног; у пристяжных по одной боковой постромке. На быстром беге и при перескакивании через кочки олени часто попадают ногами за постромки и бегут буквально на трех ногах. Но на Юцо это производит мало впечатления. Только тогда, когда образуется настоящая каша в постромках он останавливается и дает себе труд распутать их.

Километр за километром передо мной мотаются крупы оленей. Высоко торчащие рога раскачиваются из стороны в сторону точно широкие ветви фантастического дерева, колеблемые порывами ветра. Бока животных начинают ходить все сильнее и сильнее от быстрого бега. А над головой у меня нависают морды задней упряжки. Широко открытые, до бессмысленности грустные глаза, разинутые рты и свесившиеся из них на четверть аршина языки. Морда оленя — глупо некрасива на бегу.

Тяжелое, точно из кузнечных мехов вырывающееся дыхание дает понять, насколько тяжела дорога.

Под санками совершенно бесшумно бежит шероховатый серый ковер мхов. Временами его сменяет короткая, плотно приглаживаемая полозьями зеленая трава болота или жидкая коричневая, как загустевшая ко-

фейная гуща, грязь. По траве полозя идут легче и олени прибавляют ходу. На спину мне и за воротник ма-лицы летят брызги мутной желтой воды и холодные комья коричневой грязи.

Олени бегут, и ветром несет мне в лицо вместе с брызгами из-под их копыт целый дождь шерсти с линяющих боков.

В этом году олени поздно линяют, и их шкура по ровному блестящему меху испещрена несуразными пучками длинной прошлогодней шерсти. Эти пучки сильно уродуют вид оленей. Шерсть лезет целыми клочьями, пучками, и скоро мое мокрое лицо напоминает ковер из оленьей шерсти. Шерсть неприятно пахнет и щекочет лицо, но стирать ее нет смысла, так как немедленно на-липает новая, и только загоняешь в рот щетинки, от которых потом немисливо отплеваться.

Постепенно за долгие часы пути я привык к этой шерсти, как привык уже к налипшей на затылке густой грязи, как привык автоматически, помимо собственной воли, сохранять на толчках равновесие. Кочки больше не беспокоят, и клонит ко сну от непрерывного мота-ния хана и однообразной картины коричнево-зеленова-гой тундры.

Мы мчимся по девственным мхам без всяких призна-ков дороги или следа, но время от времени Юцо тро-гает единственную вожжу, идущую к незаминдесян быка-вожака. Упряжка послушно сворачивает то впра-во, то влево.

Так же, как я не могу понять, какими признаками ру-ководится Юцо, выбирая нужное направление в одно-образной тундре, я не знаю и того, как он определяет пройденное расстояние. В тундре нет верстовых стол-

бов, и у Иоцо нет часов. Но время от времени Иоцо резко дергает вожжу, вся упряжка бросается влево, Иоцо перегораживает ей путь своим тюром, и олени встают как вкопанные. Иоцо соскакивает с хана и безапелляционно заявляет:

— Верста едлым.

Самоеды называют здесь «оленьей верстой» расстояние в пять километров. Это та дистанция, которую олень пробегает без отдыха летом. Зимой «верста» становится длиннее.

Фраза Иоцо «верста едлым» означает, что мы будем стоять, пока не подтянутся остальные нарты.

На одной из них сидит Черепанов; у него в рюкзаке упакованы бутылки с разведенным спиртом.

Было бы совершенно бесполезно пытаться уговорить Иоцо ехать дальше, не ожидая остальных. Его олени не отдохнут до тех пор, пока ему не будет поднесена чудодейственная кумка. За отсутствием посуды отмеряют водку кюветкой, прямо из нее все по очереди и пьют.

Ради получашки водки самоеды не ленятся на каждой версте распаковывать рюкзак Черепанова, опутанный целой паутиной веревок, хотя мне так и не удалось уговорить Иоцо перепаковать едва держащийся на утюжок с продовольствием.

По мере удаления вглубь острова, характер местности меняется. Навстречу идут холмы, а затем и настоящие ущелья и сопки. Может быть, эти сопки не так велики, я даже наверняка знаю, что это небольшие холмы, но после унылой плоскости тундры они кажутся очень внушительными. Глаз отдыхает на них.

Мы стрелой спускаемся с крутого откоса прямо в русло потока, и полозья хана скребут по каменистому



*Рис. Василия Беляева. Мальчик-самоед Адриан, 8 лет.
Становище Бугрино, о. Колгуев 1929 г.*

ложу. Трение полозьев о камни велико; видно, как напрягаются мускулы на ногах оленей, вытягивающих нарты. От скрежетания дерева по камням зудит в зубах.

Дальше едем вдоль реки прямо по руслу. Речка то растекается в плоскую лужу, едва покрывающую ко-



Самоедские чумы

пыта оленой, то доходит им до брюха. Животные часто и напряженно дышат, с трудом протаскивая ханы по острым камням.

Вокруг в береговых складках лежит пожелтевший летний снег.

Мы с гиком выбираемся на высокий берег реки, и под полозьями слышится шуршание мелкого желтого песка.

Вот так вот ездили несколько тысяч лет тому назад в Египте — на санях по песку.

Я перестал себя чувствовать действительным статским времен николаевских, мчащимся на двенадцати положенных ему конях. Кони мои тяжело дышат, за душу хватает скрипение полозьев по песку. Если и можно вообразить себя статским советником, то, во всяком случае, не на службе какого-нибудь Николая I, а по крайней мере фараона Тутанхамона.

С холма на холм, из ущелья в ущелье, через речки, болота и озера бегут олени. Изредка Иоцо прерывает их бег на «версте», да один раз мы остановились из-за лошнувшей пеле-и-ня-сян. Не долго думая, Иоцо взял в рот покрытый грязью скользкий ремешок и крепкими белыми зубами развязал узлы у пясика и пябтя. Через две минуты на место порванной пеле-и-ня-сян была поставлена новая, и мы помчались с удвоенной скоростью.

Тусклое солнце уже коснулось горизонта, когда с высокого холма я увидел в котловине темный конус чума. За чумом на горизонте проектировался длинный силуэт Анорга-Седэ.

Через четверть часа, встреченные злобным лаем своры грязных, лохматых собак, мы подкатили к чуму.

Около чума, спрятав руки внутрь малицы, стоит высокий угрюмый самоедин, хозяин этого чумовья — Зосима, пастух госторговского стада (как, впрочем, и все привезшие нас ямщики).

4. БОГАТЫРИ В ПЛЕНУ

С непривычки мы изрядно устали от целого дня езды на оленях. Поэтому нашим первым стремлением было устроить себе ночлег.

Прежде всего нужно было найти клочок чистого места, не загаженного людьми и собаками. Видя наши поиски, один из самоедов, сомнительно покачав головой, философски заявил:

— Зря искать станешь, кругом гóвна. Ты на гóвна постель клади. Ничего.

Может быть, оно и ничего. Но все же мы на первый раз решили отыскать место почище. С трудом, но нашли.

Мы с Черепановым быстро расставили свою палатку, так как еще накануне в Бугрине прорепетировали ее постановку.

Кстати сказать, эта репетиция оказалась весьма кстати, так как палатка была до смешного плохо и небрежно сделана. В палатке оказалось столько дефектов, что ее вообще нельзя было расставить как «полудатскую» (под этой маркой я ее получил). Можно было только использовать полотнище для постановки немудрящей двухскатной крыши, без каких бы то ни было претензий на простор и удобство.

Когда мы накануне проделывали репетицию постановки палатки и подгоняли никуда негодные части, Черепанов с удивительным терпением и знанием дела занимался каждой мелочью: надвязывал веревки, пригонял колышки. В результате мы, расставив палатку, даже попробовали, удобно ли в ней лежать. Появившемуся на крыльце больницы Блувштейну мы неосмотрительно предложили принять участие в нашем занятии, но получили в ответ:

— Вы отлично знаете, что я не люблю валять дурака.

Отпустив этот комплимент, он запел «Рамону» и отправился в Бугрино, в гости к агенту.

Зато теперь я не без злорадства поглядывал на Блувштейна, делавшего неловкие попытки поставить рядом с нами свою палатку, в которой он любезно предложил кров увязавшейся за экспедицией бугринской фельдшернице. Думаю, что Блувштейн так и не смог бы осуществить своего гостеприимства, если бы на помощь к нему не пришел Черепанов.

Через полчаса наш маленький лагерь был установлен, и все забрались в свои палатки.

Так как в добавление ко всем блестящим качествам палатки «Турист» у нее еще не сходятся с нужным запахом полотнища входа, то промозглый ночной туман загоняется холодным ветерком до ее самого дальнего угла.

Я пытаюсь спать в малице, но это совершенно невозможно. Узкий воротник душит. Ветер дует под широкий подол, стынут ноги. Приходится перевернуть малицу воротом вниз и натянуть ее на себя, засунув ноги в рукава. Так много лучше, только переворачиваться с боку на бок неудобно и очень уж холодно верхней части туловища.

Проспав немного больше часа, я вылез из палатки.

Всю долину заполняет сизая муть тумана. Промозглый холод пробирает до костей.

Рядом на бугорке возвышается темный силуэт чума. Из вершины его конуса выбивается блеклое облачко дыма. Значит, не спят.

Вокруг чума в неопишемом беспорядке разбросаны нарты привезших нас самоедов. Около нарт брошена неприбранной сбруя.

Используя нарты, как крышу, набились под них тесными клубками собаки.



Завтрак в чуме

Царит мертвая тишина. Серая, глухая. Такой тишины не бывает нигде—ни в городе, ни в лесу, ни в поле, ни в море. Только в тундре.

Абсолютное молчание. Ухо не улавливает ни одного звука, кроме стука собственного сердца.

Оттого, что царит умылая мгла, в которой неуверенные силуэты чума и нарт расплываются серыми призраками, делается еще холодней.

Подхожу к чуму. Едва слышны голоса. Поднимаю засаленный край черного от копоти и грязи трехугольного полога из оленьей шкуры. Глаз упирается в тень, окружающую красное пятно костра. В нос шибануло дымом. Через минуту дым начинает немилосердно есть глаза.

Я торопливо озираюсь. По стенке, едва освещенные отблеском костра, сидят самоеды. Здесь все наши ямщики. Сидящие у входа подвигаются и очищают мне место. Сажусь по-турецки на хоба, мысленно подсчитывая количество вшей, которых мне придется вылавливать по возвращении домой.

В чуме дымно и смрадно. Из-за спин сидящих самоедов выглядывают рожицы детей. Нет-нет из-под локтя кого-нибудь из сидящих высунется собачья морда. Безжалостным пинком ее возвращают назад.

В дальнем конце, в темноте, которую с непривычки едва одолевает глаз, видны две хабинэ. Они вынимают из котла, только-что снятого с тагана, вареное мясо. Руками, редко пуская в ход нож, они делят мясо на небольшие куски и раскладывают в несколько плошек.

Самоеды едят мясо после чая. Пока они еще cedят чай, звучно потягивая его губами из чашек,

Хабинэ вышла на свет и берет первую свободную чашку. Пальцем она выбрасывает приставшиѣ чаинки, вытирает их о полу малицы. Проворно действующий палец хабинэ ярко освещен. Он до такой степени грязен и покрыт салом, что у меня появляется во рту ощущение, как перед морской болезнью.

Чтобы придать чашке окончательный блеск, хабинэ сочно плюет в нее и растирает плевков засаленным рукавом малицы. Вдруг меня осеняет мысль: да ведь эта чашка очищается для меня!

Я не ошибся. Хозяин наливает в чашку горячего чая и с куском сахара протягивает ее мне.

— Наса самоетьки цай кусай.

Мурашки бегут по спине, но приходится брать. Хозяйка протягивает скользкую, почти сырую лепешку реска.

Чтобы отвлечь внимание хозяев от злополучной чашки, я стараюсь затеять разговор. Но дело идет плохо, так как вся компания успела уже заняться мясом. Они наперебой тащат из плошек серые куски оленины. Чавканье и сочный хруст хрящиков слышатся со всех сторон.

Едят молча, сосредоточенно, изредка перебрасываясь фразами. Едят жадно и помногу.

Отдуваются, икают и снова едят.

Хозяин выловил из плошки кусок пожирнее, любезно протягивает его мне.

— Нада амдигам.

Я отговариваюсь тем, что хочу сначала напиться чаю. Хозяин кладет кусок передо мной.

Наевшись, самоеды откидываются от миски и, обсосав пальцы, вытирают руки о малицы или о пимы.

Тщательно, до блеска обскобленные, обсосанные и вылизанные кости, оставленные гостям, хозяйка собирает и опускает в тот же котел. Это будет суп на завтра.

У гостей из-за пазухи появляются кисеты, трубки — харнико и папиросы.

Наиболее удобный момент для беседы.

— Расскажи, хозяин, как дела, как живешь?

— Чево рассказать. Как дела? Плоха дела. Я не умею рассказать, вон Тэко могу рассказать, — кивнул он в сторону маленького старичка.

Горбатый, с непомерно большой головой, покрытой редкими прядями седых волос, сидит Тэко у костра, принимая мало участия в общей беседе. Лицо Тэко худое и длинное. С широких скул свисает изрезанная глубокими складками морщинистая коричневая кожа. Над скулами из глубоких впадин поблескивают маленькие, хитрые глазки.

— Ну, Тэко, ты расскажи мне что-нибудь.

Он пожевал губами, поросшими редкой серой щетиной, и нехотя прошамкал:

— Што сказывать? Ничего ты, парень, понимать не станешь, что я сказывать могу. Наса шись самоетька, а ты русак. Как можешь понимать!

— А ты все-таки расскажи. Ну, хоть бы про то, как вы на Колгуев пришли, как пастухами стали, как живете между собой.

— Эх, плоха рассказывать... Ну, ладно, ты слушай, я сказывать стану.

Старик закрыл глаза и задумался. Все самоеды притихли. Хрипло зашелестел его голос в тишине.

— Много годов назад я в тундре на большой земле жывал. Много оленей у меня не бывало. Но жил по

малу. Промысел делал. Убой делал. Емдал со стадом на ягель, как нада.

Женка в чуму была молодая. Сынов два было. И ладно бы. Да пришел плохой год... Да, говорю, крепко дурной год пришел. Никогда раньше такого гололёда зимой не бывало. Все копыта олени себе разбили, а ягеля из-под снега добыть не могут. Исхудали, ослабли олени. В два раза меньше сделалось стадо мое.

Ну, думал, ничего, поправлюсь. Пойдет приплод, летом откормятся олени, все хорошо будет.

Нет, не принесло мне добра и лето. Плохие были корма. А овода прежде столько и не видывали. Бились олени, страдали от свища, похудали, а поправиться и сил набрать негде. Тундру точно кто огнем выжег, нечего есть.

И пропало все стадо. В один год остался я без оленей. Не стало мяса. Не стало постелей для чума. Не стало даже из чего малицу сшить. Снова зима пришла, а у меня в чуме женка и сыны голодные. К промыслу емдать не на чем. Осталось три упряжки, только-только под чум ханбу́й запречь. А зачем запречь, куда емдать? Какой промысел, когда не на что пороху и свинца купить? Капканы чинить нечем. Не стало у меня и промысла.

А купец какой человек? Есть промысел, и купец тебе первый друг — пороху дает, хлеба дает, водки дает сколько хочешь. А нет промысла—и водки нет, и пороху нет, хлеба сынам куска не дает. Стал я совсем пропадать.

А в ту пору в нашем роду один богатый хозяин повелся. Ему и гололёд нипочем. У него двенадцать тысяч оленей в стадах, и скоро все родичи у него пастухами

стали. Крепкая у него была голова. А мы молодые тогда были и понять не могли, почему в те годы, когда у нас последний олень подыхал, он только брюхо себе почесывал.

И вышел тут для этого хозяина удачный год. У него приплод, почитай, пять тысяч телят. Долго я думал, да и пошел к нему.

— Дай, — говорю, — мне полста оленей. Я тебе верну после третьего приплода столько, а потом от каждого приплода буду десять годов долю давать.

Долго ломался хозяин. Дал мне оленей. Только не дал полста, а дал два десятка. И те два десятка не пошли мне в прок.

К весне осталось у меня два оленя...

Тэко умолк. Только слабое позвякивание крышки чайника, приподнимаемой паром, нарушало тишину. Все самоеды сидели скрестивши пальцы и уставивши взоры в костер.

Тэко не спеша набил себе маленькую, совсем чернук трубку.

Только когда из захрипевшей трубчонки поплыли клубы серого удушливого дыма. Тэко стал продолжать.

— Да, два оленя остались у меня. На чем теперь ем-дать, что кушать, как долг богатому родичу отдать?

Подумал я и пошел к тому самому родичу.

— Бери, — говорю, — меня себе, вместо оленей.

— Ладно, — говорит, — возьму тебя я в пастухи. А только пасти мое стадо ты будешь не здесь, а на острове в океане.

Знал я про остров, худо говорили про него самоеды. И как уйти от своей тундры, где отец мой пас свое

стадо, где отец отца моего ставил свой чум? Скажи, как можно оттуда уйти?

Подумал я, да и говорю своему хозяину:

— Нет, не пойду я на остров.

Пришел к себе, а дома женка совсем больная лежит. Молоко у нее пропало, нечем дочку, которая только родилась, кормить. А сыны, те тоже всегда голодные стали ходить; что раньше собаки едали, то стал теперь сынам своим давать. И в сей же день пошел опять к богатому родичу:

— Ладно, пойду на остров твоим пастухом.

А на острове этом у родича четверо тысячи голов хедило в четырех стадах, и у каждого стада свои пастухи были...

Много, много годов прошло. Из черной гагары я белой чайкой стал... Сыны мои пастухами стали... А стадо на острове уже десять тысяч голов. И каждый год хозяин к нам езжает. Оленей клеймит своими руками. Для убоя выбирает. Лучших хоров себе на быки холостит. Сам тоже с купцом-русаком водку пьет и менку делает. Постелей по тысяче каждый год продает.

И нам, пастухам, притеснения не делал. Убивай сколько хочешь, но только для айбарданья. А постель ни-ни — хозяину надо сдавать. И вовсе плохо стало у нас с постелями: чумы все подырявились, малицы не из чего пошить.

Только и было поддержки от песцового промысла. Был тогда еще песец на Холголе. Да цену плохую русак давал.

Бывало, за десять целковых норовит первый сорт отобрать. И все больше на водку. А бутылка те же десять рублей...

Но только однажды не приехал купец. И хозяин наш не приезжал в свое время. Стали бедовать самоеды. А только потом приехал хозяин и говорит, что стадо все, все десять тысяч голов, как только станет море, он льдом на большую землю погонит.

Сам понимаешь, как такое можно делать — сколько оленей на льду-то останется. А хозяин крепко уперся на своем: погоню и погоню. Стали мы, пастухи, к такому емданью все готовить, а тут на кошки в Бугрянке пароход русский пришел. Но только не купец на нем, а какой-то начальник новый приехал. Красный ситец на зимовье купца вывесил и всех самоедов сзывать стал.

Много тот начальник сказывал про то, что новый хозяин у русаков встал — большевик называется — и будет новый порядок. Будто у богатеев оленей станут брать и малооленных наделять...

Правду скажу: думали, пьяный начальник-то этот. А только нет. Призвал к себе хозяина нашего, велел на пароход собираться. А нам перепись сделал и дал всем пастухам так, чтобы у каждого было по сту оленей. А что осталось, — «будут, — сказал, — олени казенные. А вы, пастухи, за казенными оленями глядеть должны».

Приехал этот начальник на другой год, агента привез, Госторг на острову сделал. И стали мы пастухами Госторга. Я — пастух и сыны мои пастухи. В четыре сотни стадо теперь у меня.

Жить стало легче. Есть олени — мясо есть, постели есть, одежда есть, емдать можно. Много оленей нужно самоеду. Чем больше, тем лучше.

А только понять ничего невозможно теперь. Пришел на Холгол большевик и дал оленей. На ноги, можно сказать, поставил самоеда. Ну, а нынче, как стадо приба-

вилось, опять неладно. Много у вас, говорит, оленей стало, богатеями стали. «Кулак» называет нас большевик.

А скажи мне, парень, разве не лучше самоеду, если много оленей? А начальник от большевика хочет оленей назад отбирать и беднякам, у которых мало оленей, мой приплод отдавать. Скажи-ка, парень, разве так можно?

Старик умолк. Вопросительно обвел своими маленькими глазками круг слушателей и бросил что-то по-самоедски.

Сразу весь чум загудел. Хабинэ подбросила охапку свежего хвороста под чайник, и яркие языки пламени потянулись к верхнему отверстию чума.

Я собирался ответить на вопрос старика. У меня не укладывалось в мозгу его сомнение в правоте людей, поставивших его на ноги за счет хозяина-богача и собиравшихся ограничить его теперь, чтобы помочь бедующему соседу.

Но мне не удалось заговорить. Ко мне повернулся хозяин чума.

— Ты, парень, гость моя. Желаеть ли, нет ли самоетка варко слыхать?

— Очень желаю.

— Винукан будет сказывать. Он знает старая варко.

При этих словах хозяина в середину круга выдвинулась массивная фигура черного как смоль самоеда с суровым, точно вырубленным из камня лицом. Большой горбатый нос и узкое лицо делали его мало похожим на самоеда; передо мной невольно воскресли образы куперовских индейцев. Это был Винукан.

Я не сразу узнал в нем шамана, который давеча приезжал к нам в Бугрино за кумккой.

Ко мне подсел маленький, пожилой самоед, с торчащими как у моржа русыми усами — Николай Летков. Он сравнительно чисто говорил по-русски. С конфиденциальным видом он мне шепнул:

— Я тебе по-русски сказывать стану, что Винукан будет напевать.

Я вынул блокнот и карандаш. Летков заправил в нос основательную щепотку нюхательного табаку. Через минуту он с наслаждением выжал из носа пальцами слизь и вытер пальцы о малицу.

Винукан уставился в костер широко открытыми глазами и, набрав полную грудь воздуха, загнусил нараспев непонятные мне слова.

Летков шепотком на ухо переводил мне их.

Вот что пел Винукан¹.

«За длинным хребтом высоких холмов, где в долгую зимнюю ночь голубой волк со сверкающей черными искрами спиной, уставившись на полный диск луны, поет свою жуткую песнь, есть долина. В этой долине растет ягель, он высок и мягок, как шерсть полярного медведя, царя всех медведей и господина белых пустынь.

Среди этого ягеля, точно на ковре, сшитом из постелей зимних хоров, стоят чумы.

¹ Записав сказку, спетую Винуканом, я обратил внимание на то, что содержание ее мне почему-то знакомо. Позже, вернувшись из экспедиции, я проверил себя. Действительно, сказка Винукана была почти точным пересказом той записи, что давал мне читать Л. Н. Гейденрейх в Архангельске. Л. Н. сделал ее много раньше в Канинской тундре на материке. По записи Гейденрейха я и исправил свой текст, так как в переводе Леткова многое из спетого Винуканом было для меня непонятно.

Это чумы самоедских богатырей. Их род никогда не знал счета своим стадам и богатствам.

Легкие санки, покрытые андером, незапятнанным как зимняя льдинка, с белой как снег четверкой в упряжке, точно куропатка с гнезда, сорвались от одного из чумов и понеслись в снежную даль. Скорее, чем веко успевает подняться и опуститься над глазом, санки были уже так далеко, что виден был только столб снежной пыли, поднятый их неудержимым бегом.

Это богатырь Кырыкытэа поехал к своему стаду.

Уже третье солнце кончало свой путь через небо, когда Кырыкытэа въехал в лес рогов своих оленей, такой густой, как чаща тайги самой южной, какую когда-либо видели люди. Это была только середина его стада.

Шум дыхания оленей был громче рева морских волн, когда их гонит северный ветер на кромку берегового припая. Пар из ноздрей оленей, заволакивая густым туманом все стадо, простирался так далеко вширь и ввысь, что нельзя было видеть его края.

С тынзеем, сплетенным из тонких ремней длинными ночами белого лета, Кырыкытэа выехал поймать себе упряжку для дальнего пути. Кырыкытэа собрался в большое становище, к большому русскому начальнику. Много лет не плачена ему подать. Может осердиться начальник.

И стал себе выбирать Кырыкытэа упряжку для дальней дороги.

Есть у него пять наличных выездных хапторок, добрые в держке, да на дальнюю-то дорогу не держанные, не выстоят. Есть черные, как жуки, что весной по тундре летают, пять быков, в езде сильно ретивых, да

к дальней дороге тоже непривычны. Загорят с горячкой-то своей, живо утомятся. Есть еще пять белых, их шерсть белее, чем шерсть песца в ту пору, когда снег покроется настом и глаза болят от одного взгляда на тундру, сверкающую на солнце белизной своей. Те на дальнюю дорогу много лет держаны. Отец еще в большое становище с податью ездил. После того в упряжке не бывали. Эти хоть и стары, да выстоят.

Пронзительно свистнул тынзей, брошенный быстрее, чем летит из лука стрела. Раз, другой, третий, четвертый и пятый взвивался тынзей. И ни разу не было так, чтобы его петля не падала на высокий рог быка. В упряжке было пять белых, да не чисто белых, а каждый с отметиной; у передового под ухом черное пятнышко; с передовым рядом — на шее пятнышко; у среднего — на лопатке пятнышко; что рядом с крайним — у того на холке пятнышко; у крайнего — на задней ноге пятнышко.

Осмотрел Кырыкытэа упряжь, дернул всей своей богатырской силой: крепко все. Взял хорей и ветром к чуму понесся. Точно снежная метелица по тундре пролетела. А у чума его уже батюшка ожидает, закрывшись от света рукой, тундру оглядывает. Ласково спросил:

— Дитяtko мое, куда собрался?

— К русскому начальнику ехать надо. Десять лет не были, подать не возили. Сердиться станёт. Достань-ка песцов да лисиц что ни есть лучших по полному мешку. Начальнику свезу.

А отец был мудрый, старинный человек. Запечалился отец. Ночь всю просидел с пензером, но что ему тадебции открыли, того никому не сказал.

Только ласково сыну обмолвился.

— Не ездй, дитятко. Уедешь в становище, да там начальник станет тебе кумки подносить, запьешь ты и месяц и другой будешь пить. а враги тасынэа да тунгусы набегут на наши чумы и всех нас зарежут.

Призадумался Кырыкытэа. Долго думал, да и говорит:

— Нет, батюшка, я поеду. Если бы враги хотели притти, то пришли бы раньше, а захотят, так и позже придут и при мне придут.

Только заплакал старик. Мудрый был и много знал, но ничего не сказал.

Взял Кырыкытэа два полных мешка песцов и лисиц. Ударил вожжой по крутому боку передового, качнулся в богатырской руке хорей, и понеслась лихая упряжка.

Как пять белых чаек, как пять снежинок, подхваченных ветром, несутся олени. Олени добрые, сами бегут, хореем шевелить не надо.

Три солнца прошло по небу. как ехал Кырыкытэа, и только тогда до целого, невыбитого оленями снега доехал. Велико было стадо богатырей самоедских.

Половину луны неудержимым вихрем неслась упряжка. Много холмов пересек санный след, много озер объехал, выкружил Кырыкытэа, только тогда показалось становище русского начальника.

Знал он за солнце до этого, что становище близко: следа росомахи уже целое солнце не видал.

Как избы увидел, словно опьянел. Лицо покраснелось, в жар бросило, шапку с головы сбросил и под себя сунул.

Ветер ласково расчесал холодной пятерней черные как вороново крыло пряди прямых волос. В становище въехал. Олени боятся, шарахаются. Десять лет здесь не

бывали, русского жилья не видали давно, духу не могут терпеть чужого. Передового все на тугой вожже держать надо, а то свернут куда-нибудь в сторону.

К большому дому в самой середине становища подъехал Кырыкытэа. Упряжку вожжой привязал, хорей к ногам оленей бросил. Потянулся, размял затекшие от долгой езды руки и ноги. Развел богатырскими плечами. Глядит, начальник уж с крыльца спускается.

— Здравствуй, — говорит, — друг! Не знаю я твоего лица, а по оленям признать могу. Старика Кырыкэ сын будешь.

— Правильно, друг, — ответил Кырыкытэа и пошел за хозяином на высокое крыльцо.

Привел его начальник в просторную горницу. Обедать посадил с собой. Никогда еще Кырыкытэа так не едал. После чая хозяин кумку вынес.

— Ну,—говорит,—для первого знакомства давай чокнемся, чтобы у нас с тобой все так же ладно шло, как раньше с отцом твоим ладилось.

Не помнит Кырыкытэа—много, мало ли пил он у начальника. День ли пил, два ли пил, а может, и целую неделю.

Только проснулся, а голова-то как отмороженная. Ничего не чувствует.

Не может Кырыкытэа вспомнить, что с ним и где он. А начальник снова ласково так:

— Что, поправиться хочешь?

Опять обожгло вино глотку и пошло по нутру веселыми огоньками, как-будто уголек из чумового костра в нутро спустили. Опять все на свете позабыл Кырыкытэа. Долго ли он пил, долго ли он спал, ничего не знает Кырыкытэа.

Только он проснулся, а хозяин опять над ним стоит. Как добрый Нум, с широкой улыбкой говорит хозяин:

— Кумка тарá?

— Тарá, — ответил Кырыкытэа.

Опять выпил он, еще прибавил да снова попросил.

И много раз повторял Кырыкытэа «кумка тарá». Как пил, долго ли спал, не помнит. А только видит, что голова его в озеро опущена сквозь прорубь, схватился руками за край проруби, чтобы не упасть, а за руку волк зубами хватил и дергает.

Проснулся тут Кырыкытэа.

Хозяин его за руку трясет шибко. А на голову ему холодную воду из ковшика льет. Стоит русак над ним, сурово так глядит.

— Кумка тарá, — снова просит Кырыкытэа.

А хозяин только головой покачал, потянул за руку и говорит:

— А ну, потряси головой, добрый молодец, встань-ка на ноги свои богатырские.

А у Кырыкытэа точно кто ноги из пимов вынул; одни пимы мягкие остались, и не держится на них могучее тело. Хозяин усмехнулся, чашку налил в четверть ведра.

— Нá тебе, самую последнюю на опохмелку.

Одним духом хлебнул ее Кырыкытэа, еще просит. Хозяин и говорит:

— Не дам больше. Луна целая прошла и еще четверть луны прошло, как ты все пьешь, сын друга моего Кырыкэ. Старый приятель мой невесть что о нас с тобой подумает. Знает порядок отец твой. Крепкая голова у твоего мудрого старика, а у тебя вот не такая. Поезжай в чум, больше не дам.

— Ну, коли так, хозяин, с собой-то ведра три в сани положи, без вина дорогой не весело ехать. Дорога ведь дальняя.

— Позжай, все сделано, положено тебе вино в сани. Вышел Кырыкытэа во двор. Ветер свистит как богатырский тынзей. Снег в глаза так и хлещет. Даже в голове загудело, точно в колокол там русский шаман зазвонил. Олени понуро стоят и совсем отощали. Да ничего, на то крепкие и выбраны — на кости дотянут.

Отвязал Кырыкытэа вожжу, хорей взял и упал в сани с криком...

Осталось становище далеко, за снежной пургой и не видно.

В голове у Кырыкытэа русские колокола гудят, а среди этого гула редкие мысли, как заблудившиеся путники в густом тумане бродят.

Вспомнил тут Кырыкытэа про песцов и лисиц два полных мешка. Ведь хозяин-то про них даже не помянул и квитанции на них не выписал. Верно, будет снова по́дать на их роде числиться, будто вовсе она не плаченная.

Только подумал это Кырыкытэа, хотел оленей воротить назад к становищу, а в голове опять колокола загудели, и забыл про все Кырыкытэа.

Едет он солнце, едет второе, едет третье. Видит, олени совсем приутомились. Остановиться надо.

И думает тут Кырыкытэа: «Ведь у меня хорошее что то с тобой есть. Ах, да, водка есть в санях».

Боченок отвязал, припал к нему губами. Оторвался дух захватило. Сколько выпил, не видно, а с четверть ведра выпил. Опять завязал все и поехал дальше.

Долго ехал, быстро бегут олени, отдохнуть надо.

Опять отвязал боченок, припал, столько же выпил.

Дальше поехал, олени не сдают, все скоком идут, на хорей не оглядываются. С третьей остановки чум бы видеть должно. Но не видно чума, а в голове мысль опять: «Эк ведь у меня голова болит, поправить надо».

Вязки развязал, боченок достал, опять с четверть выпил. Дальше поехал не останавливаясь. До высокой сопки доехал. Стал с сопки во все стороны глядеть. Глаз у него как у орла тугокрылого, что живет на самых высоких сопках большого хребта. Отсель чум бы видать должно, а чума нет.

«Съемдали, верно, — думает. — копище стало велико, мох олени, видно, весь объели. На другое место отец ушел. Не видать чума».

Тряхнул вожжой, дальше поехал. К месту стал подъезжать. Вот и бугры, а чума-то нет нигде. Глядит, а чумовище все разворочено по-худому. Чисто все вымято, а дальше-то на снегу кровавые пятна.

«Наверно, убой делали, — думает, — яловых на праздник добывали».

Подъехал ближе, видит: отец весь изрезан. Сестры да братья тоже все убиты, глазами в снег, затылками в небо лежат. Сердце как сорвалось, в голове дума пробежала, черная, как волчья осенняя ночь.

«Тасынэ были, все разорили».

Опомнился немного, глядит, а среди убитых самого старшего после него брата и не видно. Оленей погнал, чумовище семь раз окружил, только на восьмом след нашел. По следу видит, брат от тасынэ убежал, да и убежал-то босиком. Врасплох застали.

По следу поехал Кырыкытэа. Едет солнце, два едет, а как на снег взглянет, все кровь ему мерещится, и дума

одна у него в голове про то, что кроме брата он женки своей не видел, да двух сынишек маленьких, за один раз женка которых принесла. Пропадут теперь во вражеской неволе.

Слезы сквозь снег до ягеля доходят. Жаркие они, как уголья из костра.

Четыре дня след чередил, то пропадал, то снова появлялся. На пятый день глядит Кырыкытэа, а на бугре ворон не ворон, а что-то чернеет.

Подъехал ближе.

Человек как-будто... Брат!.. А тот как увидел, что кто-то на оленях едет, вскочил, да бежать что есть силы. Думал, тасынэ опять гонятся.

Видит Кырыкытэа, что брат со страха так бежит, что не догнать его на утомленных, голодных оленях.

С бугров в лощину он тут съехал и лощиной оленей что есть духу погнал, прямо на торчащие впереди кусты. К кустам прежде брата подъехал и караулит. Когда брат прямо на него выбежал, выскочил Кырыкытэа из своей засады и схватил брата за руку. А тот словно ума лишился, ничего не видит, не понимает. Весь потемнел.

Шопотом еле слышно взмолился.

— Если убивать будешь, так прямо сюда.—а сам на грудь показывает, на левую, повыше живота.

— Опомнись, — говорит Кырыкытэа, — я ведь брат твой, посмотри на меня. Или не узнаешь?

Только тогда младший опомнился. Обнял его и заплакал. И в слезах поведал свое горе. Рассказывает дрожащими губами, а самого от холода сводит. Раздетый он. Вынул Кырыкытэа из саней запасную малицу, пимы достал. Брат оделся и говорит:

— Ну, теперь нас двое, надо тасынэ догонять, твою женку с ребятами, добро да оленей обратно отнимать.

Вынул тут Кырыкытэа из саней богатырский свой меч и подал брату.

Тот мечом себе грудь накрест неглубоко разрезал и кровью весь меч вымазал.

Что было у Кырыкытэа с собой поесть, с братом все съели, водки по четверти выпили и в путь...

Олени, как двужилые, идут все по-старому. Богатырские олени, не нынешние.

Кырыкытэа хореем помахивает, а сам крепкую думу думает, как им вдвоем с братом тасынэ одолеть и женку с сынами от них отнять.

Сколько ехали богатыри, все думал думу Кырыкытэа. И говорит он брату:

— Ты с саней сойдешь и сзади останешься. Я вперед заеду и навстречу тасынэ выеду. Будто я ненароком встретился. А потом, как ты на задние чумы нападешь, я к тебе на помощь приду.

Так и порешили.

Погнал Кырыкытэа оленей из последних сил, пошибче. Через три солнца увидели братья тасынэ. Догнал их Кырыкытэа, кругом объехал, большого крюка в обход дал.

Как ни в чем не бывало едут навстречу тасынэ, песню под нос себе напевают.

Впереди едут семь тасынэ и среди них старший в роде. Увидели тасынэ Кырыкытэа. А тот едет будто и не видит их.

Окликнули они его.

— Здравствуй, друг, куда путь держишь? — спрашивают.

— Здравствуйте, друзья, я издалека, из Малой Земли правлю, за богатырской добычей.

— За какой такой добычей? — спрашивают.

— Да сказывают у вас в тундре старики, что где-то есть богач Кырыкытэа, богач и богатырь, так еду его убить, оленей, добро да женку его себе забрать.

Рассмеялся старший тасынэ да и говорит:

— Поздно взялся ты, друг, за это дело, видишь, вон там на санях, что идут длинной вереницей, это и есть Кырыкытэа добро.

— Вижу, — говорит Кырыкытэа.

— А видишь темной тучей лес рогов поднимается, это богатырские олени Кырыкытэа.

— Вижу, — говорит Кырыкытэа.

— А видишь последний хан в том конце, где чумы сложены и собаки бегут? На нем женка Кырыкытэа сидит. Она пещу теперь в моем чуме моей женке готовить помогать будет.

Вскипело сердце у Кырыкытэа, вот-вот выскочит. Но схватился Кырыкытэа рукой за грудь и сдержался.

— Эх, — говорит, — видно, не судьба была мне поживиться его добром. Ну, уж если вы становить чумы будете, я хоть у вас погощу да про ваши подвиги послушаю.

Велел ту: старший тасынэ остановиться и чумы ставить.

Чумы поставили, старший тасынэ Кырыкытэа к себе в чум позвал.

Зашел Кырыкытэа в чум. а жинка-то его мясо подает да прислуживает. Увидала его и обмерла, но моргнул ей глазом Кырыкытэа, чтобы виду она не показала. Хитра была женка, сразу поняла. Сама скорей к ре-

бяткам, а те не на шкурах сидят, а на снегу у самого входа, дома-то так не сиживали. Только глаза у обоих чернеют. Ребяткам женка что-то шепнула, а сама опять к столу.

Старший тасынэ своими подвигами похваляется, добром награбленным хвастает. Пока айбардали да похлебку ели, да чай пили, в других-то чумах спать легли.

Только вдруг рев какой-то поднялся и шум, точно ветер прошел над чумовищем. Вскочил на ноги Кырыкытэа.

«Наверное, — думает, — брат задние чумы режет. Надо и мне начинать».

Да тот же нож, которым мясо ел, в живот старшему тасынэ и воткнул. У того только голова на грудь склонилась, да так на пол и оплыл, как сидел.

— Женка, — крикнул Кырыкытэа, — бери ребят, да к оленям на мои сани в сторону поди.

А сам меч выхватил, да к другим чумам, а там брат почти всех переколол. А тасынэ во все стороны разбегаются, к оленям своим ладят добежать. Меч тогда бросил Кырыкытэа и стал из лука в бегущих стрелять, а брат мечом их докалывать.

Сколько было врагов, всех перебили. У живых уши и языки отрезали, а брату старшего тасынэ хоте (детородный член) отрезали и заставили его самого свой хоте съесть.

Так отцы за свою кровь мстить учили, так и сыновья делают. Со всеми покончили.

На свои сани с женкой да с ребятами сели и над кровавым следом, под лунным светом, о своем горе, о покойниках дорогих и подвиге своем песни спели.

Печальна, как зимняя вьюга, эта песня о покойнике и крепка, как морской ураган, песня о подвигах богатырей самоедских»..

Гнусавый голос Винукана затих.

Несколько минут длилось молчание. Затем хозяин достал из-под шкуры бутылку и налил водки во все чашки.

Один из гостей, вчерашний ямщик Иоцо, поднялся и тихонько вышел из чума. Я решил воспользоваться тем, что общее внимание сосредоточено теперь на водке, и вышел за ним.

Тумана как не бывало.

На вершине холма, освещенный пылающей полоской восхода, стоит рослый красавец Иоцо. Шапка в руках, ветер греплет черные как смоль прямые пряди блестящих волос.

— Иоцо, а как ты думаешь, правда то, что пел Винукан? Были самоедские богатыри?

Иоцо посмотрел на меня со своего холма.

— Бывали, парень... И снова будут, когда русак от нас уйдет.

Иоцо круто повернулся и издал резкий гортанный крик. Целая свора собак бросилась на этот крик.

Широкими шагами пошел Иоцо по гребню холма от чума.

Его могучая фигура пламенела в лучах багрового востока.

У левого бедра на толстой медной цепочке позвякивал широкий хар в разделанной медными бляхами харнзэ.

Все, что досталось ему в наследство от богатыря Кырыкытэа.

5. ТУНДРА В КРОВИ

Тумана нет. Но солнца тоже не видно. Небо нельзя назвать ни серым ни белым. Оно делает горизонт таким расплывчатым, что трудно отличить, где кончаются облака и где начинаются пологие холмы, которые самоеды называют здесь горами.

Почти в каждой долине, в каждой складке, образованной холмами, поблескивает темное зеркало воды. Иногда это просто небольшая мутная лужица, иногда широкое, отороченное пушистым воротником шипящих камышей, прозрачное озеро.

Лежа на мшистом кочковатом берегу такого озера, я терпеливо жду, когда стайка уток подойдет ко мне на расстояние выстрела. Утки плавают темной кучкой, с видимым наслаждением разбрызгивая широкими клювами воду.

Выстрелил. Вся стайка моментально исчезла с поверхности воды. Осталась только одна подбитая уточка.

Пока Джек, чистокровная ждановская лайка, похожая на большую лисицу, повизгивая не то от восторга, не то от пронизывающего холода ледяной воды, тащит в зубах еще дергающую лапкой добычу, утки успевают под водой уйти до противоположного берега озера. Там они выныривают, но ни одна не поднимается с воды.

Долго жду, пока стайка снова подойдет к моему берегу, но она осторожно держится на том берегу.

Иду туда. С моим приближением утки ныряют, и головы их появляются в разных концах озера. Они показываются на поверхности лишь на короткие мгновения, едва достаточные, чтобы прицелиться. И после каждого

выстрела вся стая снова исчезает под водой на такие долгие промежутки времени, что начинаешь думать, не ушли ли они какой-нибудь протокой в другое озеро.

Мне начало уже надоедать переходить с одного берега на другой в погоне за делающимися все более и более осторожными, но не улетающими утками, когда я заметил, что высокий скат одного из дальних холмов покрывается какой-то серой массой, плавно текущей от его гребня.

Серое пятно быстро подвигалось, растекаясь все шире по холмам. Скоро за ближайшей грядой послышалось хрюканье, точно там двигалось стадо в несколько тысяч кабанов.

Это олени.

Десятки, сотни серых тел просвечивают сквозь волнующееся кружево рогов. Рога сцепляются, переплетаются, перекрывают друг друга. За паутиной рогов пушистый мех оленьих шкур кажется только фоном. Тонкое плетение филигранной решетки лежит на пушистом бархате. Фон течет, колышется, точно живые разводы муара проходят по бархату. Плетение филигранной решетки так тонко, так необычайно. В непрерывном изменении она остается все той же, с хитрым неуловимым узором.

Головные олени выходят на самый гребень, и широкие ветви их мощных рогов ярко проектируются на светлом небе.

Серая лавина стада устремляется мимо меня, гонимая несколькими пастухами, едущими на легких нартах, запряженных резвыми быками.

Растекаясь по долине, стадо стремится использовать каждую лощину, как лазейку для бегства. Но тут на

пути оленей встают собаки. Проворно и как-будто вполне отдавая себе отчет в своей задаче, собаки несутся эцеплением вокруг стада. Их немного, но они очень искусно ведут оленей, точно разумные пастухи.

Вот на бугре несколько собак сгоняют в кучу отбившуюся массу оленей и оттесняют к общему стаду.

Все стадо в две тысячи голов влилось на ровную площадку недалеко от чума, и началась «гоньба».

Как это ни странно, но отношение самоедов к оленьему стаду ни в коей мере нельзя назвать бережным, несмотря на то, что именно стадо составляет единственную основу их хозяйственного благополучия. Скорее наоборот, по отношению к своему кормильцу самоеда можно назвать неразумно безжалостным. Быть может, происходит это и просто из-за полного непонимания самоедом элементарнейших истин скотоводства. К вопросам «планирования» своего хозяйства они относятся совершенно по-детски — с точки зрения интересов сегодняшнего дня, чрезвычайно мало задумываясь о будущем. Кроме того, и представление их о животном дикарски грубо, им ничего не стоит без всякого смысла вымотать до последних сил стадо. Гоньба в этом отношении чрезвычайно характерна. Трудно представить себе более нелепый способ выбора животных из стада, чем непрерывная гонка его. Из-за глупости и трусости оленя эта гонка принимает совершенно панический характер и чрезвычайно вредно отзывается на физическом состоянии животного. Для самок, носящих плод, это занятие в большинстве случаев кончается падежом.

Под гиканье самоедов, под остервенелый лай собак стадо образует несколько бурливых водоворотов, цен-

трами которых служат группы пастухов, стоящих с тынзеями в руках.

Слышится только храп оленей и дробное пощелкивание копыт.

В этом непрерывно крутящемся потоке перед пастухами проходит все стадо, и они намечают нужных им оленей, в первую голову — ездовых быков.

Увидев нужного оленя, самоед устремляется к нему. Трудно понять, как может самоед в неуклюжей, широкой малице совершать такие быстрые движения. Напуганный бегущим человеком, поток оленей устремляется в сторону. Но уже поздно. Тонкие витки тынзея неуловимым для глаз броском расплелись в воздухе. Схватенный за рог олень совершает дикие скачки, пытаясь освободиться. Пастух быстро выбирает тынзей, и через минуту плененный олень уже послушно идет к хану хозяина. Очередь за другим.

Большой серый бык мчится по краю площадки, закинув за спину огромные ветвистые рога. Один миг, шелестящий свист брошенного тынзея, и попавшая в петлю задняя нога быка нелепо вытягивается в сторону. Олень всем корпусом описывает дугу и с размаху ударяется головой в землю. Маленький клубок взброшенной коричневой грязи, и животное бьется в бесплодной попытке подняться. Около его головы почва покрывается сочным темным пятном — одного рога нет; он беспомощно ветвится с земли, прикрепленный к голове только тонкой полоской кожи. А на черепе оленя в зияющей ране кипит яркая кровь и пульсирует беловатая масса. Кровь широкой струей вытекает из раны. Кровь заливает оленю всю голову, от просвечивающей сквозь ее темно-красную пленку белой звезды на лбу

до бархатных нежных ноздрей. Сквозь кровь широко глядят бессмысленные карие глаза.

Подбежавший самоедин коротким ударом ножа пересек лоскут кожи, на котором болтался рог, и пинком ноги заставил оленя подняться. Взяв оленя за сиротливые ветви оставшегося рога, самоед бегом отвел его к своей нарте. В ней не хватало быка-вожака.

Через минуту нарта мчалась уже по холмам наперерез утекающему ручьем отростку стада. Слева, опустив единственный рог, скачет вожак. С его наклоненной головы кровь струей стекает на копыта. Ноги спотыкаются о каждую кочку. Глаза вожака застланы пленкой непрерывно текущей крови. На ходу капли крови относит ветром на лицо машущего тюром пастуха. Капли коростой застывают на его правой щеке, обращенной к упряжке.

А на центральной площадке тынзеи один за другим взвиваются в воздух. Вон самоедин зацепил за ногу важенку, предназначенную для убоя. Петля вот-вот сорвется. На помощь самоедину спешат два мальчугана. Старшему не больше восьми лет. С сознанием важности своей миссии они взмахивают тынзеями, и важенка валится на землю.

Через минуту ребяташки уже сидят на судорожно поднимающемся и опускающемся боку поваленной важени и с интересом смотрят на блеснувший в руке пастуха клинок.

Коротким движением самоедин проводит ножом вдоль шеи важени, вскрывая бархатную кожу. Пальцем он выдергивает из разреза горло и перерезает его. Важенка судорожно бьется. Ее широко открытые глаза подернулись влагой.

Ребятишки продолжают сидеть на олени, пока самоедин, перерезав горло, не втыкает нож под лопатку дрожащего в агонии животного.

Еще с минуту судорога сводит ноги важенки. Затем веки медленно опускаются на огромные влажные глаза. Самоедин, свернув тынзей, бежит «имать» следующего оленя. Ребятишки тоже торопливо сворачивают свои тынзеи, и младший карапуз вперевалку спешит за старшим братом. Около убитой важенки остается только ее теленок. Он недоумевающе бегает вокруг матери, тычась мордой в ее окровавленное брюхо.

Убой производится самоедами с таким расчетом, чтобы животное теряло как можно меньше крови. И действительно, только-что убитая важенка потеряла меньше крови, чем тот бык, что сломал себе рог. Там потеря крови не имеет никакого значения. Олень ее нагуляет опять. А здесь каждая капля, которую можно сохранить, будет использована в пищу. Кровь — это тепло и сила — это здоровье.

Меня поразила беззвучность оленей при всех, несомненно болевых ощущениях. Если даже допустить, что во время убоя олень не успевает реагировать на боль, когда самоед уже перерезает ему горло, то не может же не причинять боли клеймение тем примитивным способом, каким делают его самоеды.

Выловленного тынзеем молодого оленя валят на землю и ножом вырезают у него кусок уха. Вырез делается треугольный, круглый, двойной, квадратный и т. д., в зависимости от клейма того или иного хозяина. Можно видеть оленей и вовсе без левого или правого уха. Тут почти безошибочно можно сказать, что олень имел прежде клеймо Госторга, и ухо у него от-



Рис. Василия Беляева. Мальчик-самоед Артемий Ледков, 12 лет, охотник на нерп и тюленей. Становище Малые Кармакулы, Новая Земля 1929 г.

сечено впоследствии пастухом, чтобы уничтожить это клеймо и выдать оленя за своего.

Теперь, впрочем, пастухам не придется с этой целью даже отрезать оленям ушей, так как Госторг придумал новый способ клеймить своих оленей: щипцами вроде пломбира в крае уха оленя простригается небольшая дырочка ромбической, овальной или иной формы, по желанию агента. Дырочка эта быстро зарастает шерстью и перестает быть видимой. Чтобы опознать оленя, такое клеймо нужно прощупать пальцами.

Самоеды от души смеются над этим клеймом, так как, по их словам, достаточно отрезать какой-нибудь дюйм от уха такого оленя, чтобы уничтожить следы госторговского клейма и придать разрезу любую форму.

Надо думать, что пастухи на практике не замедлят доказать свою правоту.

Кроме того, клеймение большим вырезом имеет еще и то преимущество, что по такому клейму самоед опознает оленя на бегу во время иманья, а с новым «усовершенствованным» клеймом оленя надо выловить, а потом уже можно сказать, кому он принадлежит. Впрочем, все это имеет чисто формальное значение, так как всех оленей своего стада хозяин в большинстве случаев знает «в лицо» и редко ошибается.

Но наиболее мучительной операцией, проделываемой над безответным оленем, является, вероятно, кастрация.

Гоняя стадо, самоеды намечают наиболее крупных и сильных хоров. Их рога, особенно высокие и разветвленные, сразу выдаются над мчащимся лесом стада.

Свистит тынзей, и схваченный за рога, ошеломленный хор останавливается, как вкопанный, на всем скаку. Самоедин выбирает на себя тынзей. Но с хором спра-

виться не так просто. Он мотает головой, делает дикие прыжки. Самоедин, забросивший на него свой тынзей, уже лежит на земле и на животе волочитя за мчащимся оленем.

Второй, третий, четвертый тынзей разворачиваются над пляшущим хором. Одна из петель попадает на ногу. К оленю подбегают несколько самоедов. Олень мечется среди них, но не пускает в ход своего единственного действительного средства защиты — рогов. Здоровый самоедин хватает хора за рога и, скрутив ему шею, заставляет его лечь. Ноги оленя скручивают тынзеями. На бок животному опять усаживаются все наличные ребяташки. У одного из самоединов сверкает нож.

Ножом самоедин вскрывает сзади пах. Засунув в рану руку, он нащупывает там пальцами яичко и, сильно дернув его к себе, вырывает. Вырванное яичко летит на несколько шагов назад. Олень дрожит как в ознобе, судорожно бьется в опутывающих его веревках. Детишки со смехом скатываются с его бока. Вместо них наваливаются взрослые.

Между тем самоедин, нащупав второе яичко, вырывает и его. Яички сейчас же подхватываются присутствующими. Даже не смахнув налипшей на яички грязи, лакомки тянут в рот любимое блюдо. Отрезаемые у самых губ ловким ударом ножа куски яичек медленно со вкусом поглощаются.

Мой знакомец, Летков, вчерашний переводчик, даже облизал свои торчащие усы и, сощурившись от удовольствия, чмокнул языком.

— Ття, ття, ах, кусна!

Олень, освобожденный от пут, вскакивает, как ошпаренный. Его ноги дрожат, бессмысленные глаза ши-

роко раскрыты, почти выпучены. Постояв минуту точно в раздумье, олень забрасывает голову и, широко раскидывая задние ноги, стрелой мчится к стаду.

В результате — или из него выйдет прекрасный ездовой бык, или у него в паху в месте варварского разрыва образуются гнойники, которые через месяц окончательно свалят оленя.

К сожалению, второе происходит гораздо чаще в результате принятого здесь самоедами способа кастрации.

Говорят, что у тех самоедов, которые зубами раздавливают яичко или вовсе выкусывают его, олени переносят операцию гораздо лучше.

В то время как взрослые наслаждаются свежими яичками и стоящие около них дети только чмокают губами от зависти, группа мальчуганов не теряет времени и угощается по-своему. Они поймали оленя и строгают ему ножами рога. Срезанную полосками бархатистую кожу ребята с аппетитом суют в рот. По рогам оленя струями течет кровь. Ножи, руки и лица лакомок измазаны кровью. Олень только дико вращает глазами, не пытаясь даже бежать от этого завтрака «а-ля-фуршет», на котором он служит живой закуской.

Время подошло уже к обеду, когда карьера производителей для всех обреченных на сегодня самцов была закончена и с десятков трупов важенок серел на истоптанной и заваленной кучами кала площадке.

Уставшее от нескольких часов гоньбы стадо медленно утекает по лощинам в сторону озера. Собаки пытаются удержать оленей, но короткие крики хозяев заставляют их поджать хвосты и вернуться к чуму. Теперь они бродят около убитых важенок и облизываются, глядя на

их свежие раны. Но ни один пес не решается тронуть трупы.

Эти трупы один за другим подбираются самоедами. Мужчины взваливают тушу на спину и тащат ее к чуму. Из вскрытого горла, висящей вниз головой туши сочится кровь. Кровь заливает малицу несущего. Кровь покрывает ему всю спину темными скользкими пятнами и струйкой стекает с подола. Но самоеды не обращают на это никакого внимания.

Принесенные к чуму туши оленей поступают во власть хабинэ. Здесь среди взрослых женщин снуют девочки, деятельно помогая матерям.

Женщины первым делом снимают с туш шкуры. Делается это необычайно быстро и ловко. Через несколько минут синие с кровавыми разводами шкуры широкими дымящимися щитами покрывают всю землю вокруг чума.

Затем отделяются конечности и положенная на землю ободранная туша вскрывается. Из нее извлекаются внутренности.

Хабинэ вытаскивает из живота груды внутренностей и тут же выжимает из длинной кишки ее содержимое в жидкую желтую кучу. Девочка лет десяти кольцами нанизывает опустошенную кишку себе на руку и уносит ее. Другая, крошечная, едва ходящая вразвалку как утка, спотыкаясь на каждом шагу, бредет с прижатым к животу концом оленьей ноги. Девочке тяжело, окровавленная нога выскользывает у нее из рук, но пузырь, отдуваясь, упорно тащит свою ношу, помогая взрослым.

А взрослые хабинэ тем временем разделяют тушу до конца. Разрубленные ноги, часть ребер, полоски мяса, все это опускается внутрь туши, как в корыто.

Кровь плещется в этом корыте темной густой жижей, в котором тонут отпускаемые в нее куски.

Олени разделаны. Вынимая на ходу ножи, подходят самоеды. Становятся тесными кружками вокруг кровавых корыт, и начинается высшее наслаждение — «ай-барданье».

Погружая руку в кровавую ванну, самоеды извлекают оттуда нарезанные хабинэ куски и, поднося их ко рту, быстро чиркают ножами у самых губ. Оставшийся кусок они, как спаржу в соус, снова погружают в кровь и спешат донести до рта, пока кровь льется сочной струйкой.

Кому досталась кость, отделяет от нее кончик мяса и, ухватив его зубами, отрезает длинную полоску. Кость снова макает в кровь и только после этого опять тянет в рот.

Мясо исчезает во рту длинными полосками. Эти полоски почти не жуются. По кадыку, под закинутой назад головой видно, как куски этой кровавой спаржи проходят непрожеванными.

Едят много и долго, вылавливая из крови все новые и новые куски. Тонкие полоски одну за другой отсекают у самых губ.

Постепенно движения делаются все более медленными. Начинаются разговоры. Уже не так поспешно подносятся ко рту новые куски. Отрезанные полоски мяса более старательно вымачиваются в крови после каждого укуса.

Наконец обсасывается кровь с пальцев. С каждого в отдельности.

Пальцы тщательно обтираются о подол малицы, а ножи об штаны.

Некоторые, правда, немногие, идут в своей чистоплотности так далеко, что даже ополаскивают руки несколькими каплями воды, тщательно обтирая пальцы все о ту же малицу.

На щеках, на губах, на подбородке остаются пятна и струйки крови. Их даже не пытаются смыть.

Как истые гурманы, самоеды после обеда полулежат в кружок, лениво перебрасываясь словами; у каждого в зубах папироса или трубка. На белых мундштуках папирос губы и пальцы оставляют розовые, быстро буреющие следы.

После мужчин к кровавым тушам-корытам подходят хабинэ с детьми. Они едят не так жадно. Более размеренно, перемежая еду оживленной трескотней, хабинэ срезают длинные лепестки мяса. При этом хабинэ почти исключительно используют кости, оставляя мякоть детям.

Ребятишки до рукавов погружают ручонки в тушу и, плескаясь в крови, отыскивают кусочки получше. У каждого из детей тоже по острому ножу в руках и, подражая взрослым, они ловко отрезают полоски мяса у самых губ.

Лепестки кровавой спаржи один за другим исчезают в их маленьких ртах.

Через полчаса руки, подбородки, щеки, носы и даже лбы ребят покрыты густыми, темными пятнами запекшейся крови. Дети и не думают ее смывать или стирать. Меньше всего озабочены этим и родители.

Скоро отдельно от мужчин садятся в кружок насытившиеся хабинэ. Около них, уткнувшись окрозовленными личиками в темные, пропитанные салом и кровью подолы, сладко сопят девочки. Мальчишки сосут мунд-

штуки. Кто мал для настоящей папиросы (если ему нет еще десяти лет), сосет пустой мундштук или окурок.

Около людей, свернувшись клубками и положив испачканные до глаз в крови морды на розовые лапы, блаженно спят псы.

В порыве младенческой собачьей нежности маленький пушистый щенок взобрался в люльку спящего ребенка и с азартом лижет ему лицо. На нежной кожице языка щенка оставляет слизистые розовые следы.

Ребенок сладко улыбается во сне и чмокает губами.

6. ПОГАНА МЕСТА

Я проснулся от тонкой струйки влаги, ни с того ни с сего полившей меня на лицо. Прислушался — дождя как-будто нет. Торопливое, мелкое понюхивание над полотном и мелькнувшая тень разъяснили, в чем дело. Я вчера еще заметил, что самоедским собакам очень нравится поднимать лапу над углами нашей палатки.

Тяжелый, сизый туман лезет под распахнутую полу палатки; совершенно так же, как зимой клубы морозного воздуха лезут в дверь жарко натопленной кухни. И так же оседает на вещах холодным матовым потом, по которому можно выводить пальцем блестящие буквы.

Все сыро в палатке: цепляющееся за голову холодное полотнище; замша малиц, сделавшаяся совсем темной и скользкой; свитр, от которого пахнет мокрой псиной, и не лезущие на ноги скоробившиеся сапоги. От долгой возни с сапогом я совсем заоченел и, махнув на него рукой, снова полез ногами в малицу.

Мой сосед Черепанов оказался много остроумней — он спал в пимах. Теперь его борода самым неприну-

жденным образом глядит в потолок палатки, пока он грязной пятерней протирает большие роговые очки. В этих очках и черной бороде никто не признал бы теперь комсомольца Толю. За бородой он ухаживает любовно и неустанно. Черепанов убежден, что возвратиться из полярной экспедиции бритым просто неприлично.

Он осторожно щупает пальцами мохнатые щеки и соображает, насколько выросла борода со вчерашнего вечера.

— Слушайте, Тото, бросьте бороду. Хороша как у Кира. Не лучше ли зажечь спиртовку, а?

— Фактически лучше.

Черепанов зажигает две баночки сгущенного спирта и разводит примус. Через четверть часа у нас почти тепло. Я блаженно задремал. Без дрожи можно одеться. даже с вождением думаешь о студеной воде соседнего озера, служащего нам умывальником. В тазу сверхкоролевских размеров видно на дне каждый камешек, вода прозрачна как хрусталь, а температура ее такова, что до посинения стынут руки.

И сегодня для начала дня мы решили немного пострелять и попытаться заменить парную оленину свежими утками. Впрочем, хотелось этого, пожалуй, мне одному, так как после постоянного созерцания царящей на чумовище живодерни и айбарданья оленина в меня просто не лезет. А есть хочется.

Однако охота сегодня оказалась еще менее удачной, чем вчера. Особенно плохи, по обыкновению, дела у Блувштейна. У него каждая утка, в которую он стреляет, «определенно убита. но почему-то не всплывает». В конце-концов его даже делается жалко, глядя на его мучения с автоматической магазинкой Вальтера, всу-

ченной ему перед отъездом в Москве в оружейном магазине военно-охотничьего общества. Так называемый автомат не только не подает патронов, но регулярно после каждого выстрела гильза встает боком в окне и весь механизм перестает действовать. Обычно после каждого выстрела в продолжение нескольких минут слышится злобное чертыхание Блувштейна, пока ему не удастся заправить свежий патрон. Однако отказаться от магазина и использовать свой автомат как простую берданку он упорно не хочет.

Видя наше возвращение со скудными трофеями, самоеды ехидно посмеиваются над усовершенствованными «дробовками», и какой-то старик предлагает сменять автомат на его развалившуюся, безобразно заржавленную тульскую двухстволку. Надо заметить, что самоеды—прекрасные стрелки и рьяные охотники. Об их пристрастии к ружейной охоте говорит огромное количество потребляемых ими охотничьих припасов. Так, на хозяина в год приходится: пороху 5 кило, дробы 20 кило, свинца 30 кило. Это — средние цифры. Но остается совершенно непонятным, как могут самоеды охотиться с тем оружием, каким они располагают. Госторг постоянно завозит на свои фабрики вполне доброкачественные и соответствующие вкусам и потребностям туземцев ружья: дробовики и винтовки. Но завоз этот нисколько не поднимает запасов действующего огнестрельного оружия в руках туземцев, так как в необычайно короткие сроки самоеды умудряются приводить свои ружья в полную негодность. Они совершенно не чистят ружей, не смазывают их и не заботятся даже о том, чтобы хранить их в сколько-нибудь сухом месте. Летом запросто можно найти ружье лежащим

в луже на открытом воздухе, зимой в снегу. В таких условиях, понятно, ружья со скользящими затворами делаются совершенно неприменимыми для самоедов, и они считают лучшим, что можно придумать — Ремингтон. Мотивируется это тем, что Ремингтон не отказывает в работе даже тогда, когда казенная часть покрыта ледяной коркой. Вообще, кажется, единственное требование, которое самоедин предъявляет к своему ружью, это чтобы сквозь ствол был виден свет. Остальное неважно и меньше всего значения имеет для него внешний вид оружия — пусть оно будет как угодно покрыто ржавчиной и грязью.

Жданов рассказывал мне, что он выдал старому самоедину, прекрасному охотнику, отлично промысляющему песца, новую винтовку. Через месяц, приехав к старику в чум и поинтересовавшись, хорошо ли работает ружье, он должен был помогать хозяину отыскать его в куче всякого хлама под лодкой на берегу озера. Казенная часть была уже настолько покрыта ржавчиной, что затвор не действовал — это и послужило причиной того, что самоед выбросил ружье. Жданов привел ружье в порядок и сказал, что если хозяин не станет смотреть за ним, то он отберет у него ружье. Однако вскоре выяснилось, что этот самоед хранит теперь ружье в снегу.

Скоро, разбуженный нашей возней, поднялся весь лагерь, и стали готовиться к киносъемке. Блувштейн решил сегодня заснять жизни внутри чума, невзирая на серый день.

Хотя еще накануне вечером с хозяином чума были обусловлены все мелочи съемки, сегодня он делает вид, что это для него совершенная новость. Битый час уходит снова на переговоры. Наконец он нехотя разобрал

половину чума, но сниматься так и не стал. На помощь пришел усатый Летков, охотно изображавший перед объективом всю процедуру вставания, еды и укладывания ко сну. Только хабинэ никак не хотела раздеться, укладываясь спать. Пришлось удовлетвориться тем, что она в малице полезла под шкуру. А в действительности самоеды спят голыми. Вся семья на одной куче шкур. Дети между родителями. Постелью служит утяр, накрытая вау.

Ничего не вышло и со съемкой богов. Судя по всему, шаман запретил их нам показывать. Вообще, появившись на сцене, шаман испортил все дело. Самоеды стали отворачиваться от объектива; хабинэ стали прятать детей и закрываться рукавами.

Но все-таки считалось, что нам оказана большая услуга, и пришлось отблагодарить не только хозяина, а и всех зрителей, преподнеся им для айбарданья двух оленей из стада Госторга за наш счет.

На этот раз никого не пришлось уговаривать ехать за оленями. Через полчаса стадо было уже на месте и пошла дикая гоньба.

Через час туши двух важенок уже дымились плескающейся в кровавом корыте жижей. Тут же их сайбардали. Вокруг чума выросло несколько кучек свежих отбросов.

Какое счастье, что здесь нет мух. Трудно себе даже представить, что делалось бы здесь, если бы были мухи. Вокруг чумовища буквально нет места, куда можно было бы ступить без риска по щиколотку увязнуть в каких-нибудь нечистотах. Человеческие и собачьи экскременты чередуются с выброшенными внутренностями оленей, громоздятся желто-зеленые кучи выдавленной из кишек убитых животных жижи. Там и сям

разбросаны кости, черепа, рога. Все это никак не используется. Даже оленья шерсть, ценнейший продукт, не собирается, так как самоеды считают, что можно использовать только ту шерсть, которая сама спадает во время линьки. Но не хотят собирать и ее. В сущности все использование оленя сводится к утилизации мяса и шкуры.

Все остальные продукты оленеводства, могущие служить не только предметами внутреннего потребления, но и экспорта, безвозвратно пропадают.

Когда айбарданье подаренных нами оленей кончилось, один из самоедов явился в палатку.

— Кумка давай.

— За что кумку?

— Все самоеды айбардал.

— Так ведь вы для себя айбардали, а не для нас. Мы же угощение поднесли, с нас же еще и кумка?

— Тот большой с машинка карточка снимал, как мы айбардал.

Блувштейн, действительно, накручивал киноаппарат во время айбарданья. Но требование все же показалось нам чрезмерным.

— Не будет кумки.

— Ай, непоросá, парень. Самоеды работал, кумка нет.

Делегат еще посидел с обиженным видом, угостился папиросой, сунул несколько штук за пазуху и ушел. Долго слышались возмущенные голоса всей отдыхающей после еды компании.

Через час в палатку снова вполз тот же делегат.

— Кумку дашь?

— За что?

— Наса гонять будя. Хоросá оленя прыгать будя.

Гонка на санях — заманчивое зрелище, но и тут мы отказались выставить кумку.

Скоро переговоры возобновились, и было решено, что чашку водки получит тот, кто выиграет состязание.

К берегу озера подъехали 12 ханов, запряженных лучшими быками. Все мои попытки установить их на старте так, чтобы уровнять шансы состязующихся, ни к чему не привели. Хань сбились в кучу. Олени перепутались в построюках. Когда, отчаявшись наладить старт, я махнул рукой, клубок из оленей, людей и ханов завертелся бешеным водоворотом. Из водоворота только тонкими иглами торчат поднятые тюры.

Но вот из бестолковой свалки вырвалась одна упряжка. Пастух на бегу бросился на хан, и хорей загулял по крупам распластавшихся в неудержимом беге оленей. Второй и третий ханы взметнулись одновременно, и за ними по берегу озерка покати́лась серыми мятущимися клубками гонка. Тесно сжавшись в упряжке, олени скачут одним скоком, взметаясь над высокими кочками. Широкими фонтанами разлетается грязь мелкой протоки, преграждающей путь гонщикам. Олени несутся прямо на препятствия, точно у них завязаны глаза. Хань выделывают по кочкам дикие скачки. Вот один хан почти лег на бок. Самоедин кубарем вылетел из него и покати́лся в озеро, а олени, точно опьяненные собственным бегом, заложив на спины кусты рогов, понеслись в тундру, радостно увлекая непривычно легкие санки.

Обогнув озеро, к финишу бешено несутся хан, запряженный пятеркой серых быков, а на спине у него висят белые как снег олени местного фаворита, потерявшего слишком много времени на распутывание своей за-

пряжки на старте. Его дело явно проиграно. Мальчик, едущий на первом хане, на полном ходу яростно дергает вожжу, и вся упряжка очумело бросается влево, прямо на толпу зрителей. Но победитель уже стоит на земле, и олени, упершись головами в протянутый тюр, встают как вкопанные. Мохнатые бока ходят как кузнечные меха.

Хотя победитель и его единственный серьезный конкурент-фаворит уже давно на финише, остальные участники гонки продолжают неистово погонять своих оленей, стараясь привлечь к себе внимание зрителей.

Как и следовало ожидать, кумку потребовали, кроме победителя, и отставший фаворит и все участники.

Самоеды сами большие любители оленьих бегов. На свадьбах у них всегда устраиваются большие гонки. Кроме того, один раз в году, обычно летом, устраивается большая, так сказать, годовая гонка, посвященная духу, покровителю оленей. Звание чемпиона, выигранное в этой гонке, сохраняется за победителем до следующей гонки.

Присваивается оно не гонщику-самоеду, а оленю, вожжаку победившей упряжки.

Кроме состязания на скорость, самоеды практикуют еще и состязание на искусство фигурной езды. В этом соревновании любители искусной езды должны проехать извилистыми, узкими проходами, оставленными между расставленными нартами или специально вбитыми колышками. В этих состязаниях принимают иногда участие и женщины, отличающиеся умением править оленями не хуже своих мужей.

Наиболее интересны и показательны гонки, конечно, зимой, когда накатанный санный путь позволяет раз-

вивать значительно большие скорости, чем на летнем покрове тундры.

Чтобы отвлечь внимание самоедов от надоевшей нам кумки, Черепанов нарочно на виду у самоедов стал собирать микифон.

Через пять минут тесный круг сгрудился вокруг микифона, бессильно пытающегося захватить воздух тундры слабыми звуками Данкеровских пародий. То ли потому, что звуки совершенно терялись в безбрежной равнине, то ли потому, что напевы серебряных струн, рожденные под расплавленным золотом гавайского неба, уж очень чужды сынам мшистых равнин, но гавайские гитары не произвели никакого впечатления. Даже какое-то разочарование было написано на лицах: такой, мол, интересный, блестящий, многообещающий аппарат ради каких-то слабых непонятных звуков. Не больший эффект вызвал марш оркестра. Только когда послышался голос человека и свист, самоеды стали смеяться и заинтересовались граммофоном.

Музыка самоедам совершенно чужда, у них нет ни одного музыкального инструмента, ни одного мотива, ни одной сложившейся песни. Вместо песни или сказки самоед выпевает на любой лад впечатления об окружающем мире, воспринимаемые в момент пения: «я еду на санках, олени бегут хорошо. Над головой пролетела куропатка, собаки побежали за ней. Левый олень хромотает».

Распеваемое без всякого мотива, вполголоса — это и составляет единственную самоедскую песню.

И граммофон, как аппарат, тоже не производит на самоедов должного впечатления. Быть может, самоеды, как большинство народов севера, отличаются огромным

самообладанием и способностью не удивляться самому удивительному.

Пока, занимаемые добросовестными усилиями Черепанова, самоеды слушали граммофон, хозяин чума, занятого сегодня Блувштейном, занялся разборкой своего жилища (он снял уже ейя и приступил к складыванию у). Я думал, что он собирается емдать на новое пастбище, но, к моему удивлению, хабинэ и детишки, вместо укладки шестов на ханы, стали их снова составлять конусом в нескольких саженях от того места, где только что был чум. Меня это заинтересовало, но хабинэ в ответ на мои расспросы просто кокетливо закрылась рукавом грязной малицы, а с хозяином мы не могли сговориться, так как он знал только три русских слова: теньга, сярка, вотка — деньги, чарка, водка. Я же со своей стороны не мог найти в составленном мною самоедско-русском словаре нужных слов, так как этот словарь не был еще разбит по алфавиту. Да, повидимому, хозяин и не был особенно расположен давать мне какие бы то ни было объяснения. Я прибегнул к моему присяжному толмачу — усатому Леткову.

— Послушай-ка, Николай Алексеевич, спроси хозяина, с чего он чум с места на место таскает.

— Цего спросить, не нада спросить. Я сама знаю. Твоя товариша его чум на картинку вертел?

— Ну, вертел, так что ж с того?

— Как сто зе? Как такой чум зить? Тебе говна месал, а нам злой дух месал. Твоя парни всяка недобра на-вертел.

Летков сделал сердитое лицо. Даже его щеткообразные усы встопорщились. Но я знал, что этот Летков не так глуп, как хочет казаться. У него весь остров в родне

и свойстве, и он умненько заставляет всех самоедов плясать под свою дудку. Я знаю, что, не снискав тем или иным путем согласия Леткова, даже сам местный губернатор-агент не предпримет ничего в отношении туземцев.

— Брось-ка ты, Николай Алексеевич, какие там злые духи, ведь сам ты утром говорил, что вы только в одного Нума верите, который создал все и теперь сверху за порядком смотрит.

Летков сделал хитрое лицо и оглянулся кругом.

— Ты, парень, друг мне, я скажу. Мне духи нипоцем..: тьфу... а только шаман хозяину сказывал, сие места погана стал, вон ходить нада. Васа машинка дурной напустил, чум убирать нада... Ты с товариши уезать будя, хозяин и сам эта места уходить будя.

— Неужто и мы поганые?

— Зацем ты погана... не вся погана... вон длинный с бабой на чуму спит, а баба ему не зонка... наса колгуйская баба... так рази мозна цузой баба чуму спать. Такая места погана.

Речь шла о Блувштейне и фельдшерице. Самоедская мораль, повидимому, не хотела признавать даже таких гарантий целомудренности этого случайного сожительства, как две малицы и совик.

Позже мы узнали, что хозяин, действительно, перекочевал на совершенно новое место. Фельдшерице это тоже доставило массу неприятностей: разнесшийся по острову с молниеносной быстротой слух о том, что она спала в палатке чужого мужчины, грозил совершенно лишить ее уважения пациентов. Слухи по тундре передаются с совершенно непостижимой быстротой, точно разносятся порывами колгуевского ветра. Слух о чу-

мовище, запоганенном русаком, далеко опередил нас и, когда мы вернулись в Бугрино, там уже знали все подробности про «поганое место».

7. МЕДНАЯ ПУГОВИЦА И ПОЛИТИКА

При всей примитивности самоедов, чувство деликатности, связанное с обязанностью гостеприимства, у них настолько велико, что, несмотря на уже состоявшееся решение хозяина немедля после нашего отъезда покинуть поганое место, все общество, включая хабинэ, непринужденно веселилось, развлекаемое Черепановым, около самой злополучной палатки.

Постепенно мужчины разошлись по своим делам, остался чисто женский кружок. Стоило исчезнуть мужьям, как степенные матроны сразу утратили всю свою важность и превратились в самых обыкновенных кумушек, судачащих между собой и не чуждых кокетства по отношению к мужчинам, которых они больше никогда не увидят.

Понятие кокетства применимо здесь, конечно, условно. Это не больше, чем свободный разговор с посторонним русаком, право без стеснения пощупать ткань его одежды, право показать ему свои украшения и одежду, не больше. Но все это делается со смехом, ужимками, так как по существу это запрещено, в присутствии своих мужей самоедки на это не пойдут, да и мы не стали бы рисковать возбуждать недовольство туземцев, очень ревниво оберегающих своих женщин от излишнего общения с пришельцами.

Из всего этого не следует делать вывода о том, что женщина здесь в какой бы то ни было мере утеснена.

забита. Хабинэ — рабыня чума не больше, чем традиционная сказка. В действительности хабинэ полноправный член семьи даже в значительно большем объеме, нежели это бывает у многих белых народов. Впечатление какого-то рабства может создаться лишь у того, кто склонен оценивать положение женщины по «виду» производимых ею работ. К примеру, хогя бы то, что мужчина утром не снимает сам с сушильного шеста своих пимов, а делает это женщина, не стесняющаяся зубами размять скоробившуюся или замерзшую обувь мужа, происходит исключительно в силу того, что вообще всем платьем, обувью, постельными принадлежностями, вообще всей домашней утварью и одеждой заведует женщина. Мужчина не то что не хочет в это дело путаться, а просто не имеет права. Попробуйте повести с самоедом, главой семьи, разговор о пошивке для вас малицы, пимов, шапки.

— Не знай, — один ответ.

— А кто же знает, ведь ты же хозяин?

— Не, нет, моя хозяин на пимы. Зонка хозяин.

То же самое и с куплей-продажей.

— Николай, больно хороша паница у твоей Варвары, сколько хочешь за нее?

— Не знай.

— А кто знает?

— Зонка знает.

— Да ведь деньги-то твои будут, а не женкины?

— Не, зонкин.

Это, конечно, в значительной мере формальное разделение, но есть и чисто правовые моменты, определяющие имущественную независимость женщины.

Я разговорился как-то с усатым Летковым о его делах.

— Говорят, Николай Алексеевич, что ты самый богатый хозяин на острове.

— Какой богатой, нет богатой... пастух я, своя олень мала имею.

— Хорошее мало, у тебя, небось, голов сот пять есть?

— Не, ягу.

— Как ягу, мне агент сказывал?

— Цево он понимай, агент, не мой олень сей, пастух я.

— Чьи же олени-то?

— Зонкин олень сей... четыре сот ейный, одна сот мой. На четыре сот ейна клейма резан.

Самый оборотистый и хитрый хозяин острова оказывается только пастухом своей хабинэ.

По каким-то причинам стадо, полученное хабинэ Летковой в приданое, росло, тогда как стадо ее мужа вымерло.

И клейма на приплоде ставятся женины. Это значит, что хабинэ Леткова будет по-своему распоряжаться оленями, выделяя приданое за дочерью или выкупая калымом невесту для сына.

И правда, достаточно взглянуть на председательствующую на грамфонном собрании Варвару Большакову, чтобы рассеялось всякое представление о рабыне. В этой рабыне пять пудов с изрядным хвостиком. Любой нашей женщине понадобится фунт свеклы, чтобы создать себе такой цвет лица, каким блещет эта рабыня. Все ее слова и жесты исполнены сознания своего достоинства и независимости.

Что касается цвета лица хабинэ Большаковой, то он отнюдь не является исключением, у всех ее собеседниц окраска щек выходит за пределы того, что можно просто назвать «румянец», — это ярко сияющие пятна. Так

и кажется, что из пор туго натянутой на широкие скулы блестящей кожи брызнет алая кровь.

Неужели это результат кровавой диеты самоедского стола?

Стремление наряжаться не чуждо хабинэ. Даже мода — временное увлечение той или иной принадлежностью туалета — имеет место в колгуевской тундре. Как-то какому-то самоедскому оленеводу-купцу удалось забросить с материка на остров партию подвязок, самых обыкновенных дамских подвязок. Говорят, ни одна уважающая себя хабинэ не считала возможным появиться в свете, не одев поверх меховых пимов яркой цветной подвязки.

Впрочем, слабостью к подвязкам страдали не только хабинэ, — их мужья тоже щеголяли с розовыми, зелеными и лиловыми лентами на ногах. Мода!

Украшения в платье, применяемые самоедками, незамысловаты по своей сути, но весьма сложны в выполнении. Они состоят из кусков мехов, резко отличных по цвету от основного меха одежды. Если нарядная паница шьется из белого оленя, то все поле разделяется на прямоугольники величиною в папиросную коробку, ограниченные узкой как шпагат полоской черного или темно-коричневого меха. Это адская работа: всю паницу нужно сшить из этих отдельных кусочков, каждую полоску нужно вшить; шитье производится нитками из тончайше разделанных оленьих жил.

Для украшения мужской одежды меха красного зверя у колгуевских самоедов совершенно не употребляются. Необходимость сбывать продукты пушного промысла в обмен на жизненные припасы не позволяет и женщинам слишком роскошествовать в отношении отделки

своего платья дорогими мехами, но все же отделка паниц производится зачастую красной лисицей. Праздничные же наряды паницы отделяются иногда даже песцом, хотя чаще для опушки подола, обшлагов и воротников употребляется либо бракованный песец, либо только куски песцовых шкур. Надо сказать, что художественностью эти отделки не отличаются, так как самоедки не умеют подбирать мех и, кроме того, из-за грязи даже песец теряет свой вид.

Гейденрейх со слов Журавского рассказывает о том, что в некоторых случаях отделка женских паниц по подолу производится мехом простой собаки. Такая отделка имеет будто бы ритуальную основу.

По преданию, собака во время оно не имела шерсти. В таком виде она и была дана Нумом — творцом света и духом добра — самоеду для охраны его от злого духа. Злой дух пришел к самоеду и хотел пробраться в чум, но на пороге чума лежала собака и не пускала злого духа к самоеду. Тогда злой дух напустил на тундру мороз. Собака стала зябнуть, но не уходила от дверей чума. Она дрожала всем телом, но не сдавалась на уговоры дьявола, звавшего ее внутрь чума в тепло. Тогда злой дух сзади подкрался к собаке и погладил ее по спине. Спина собаки обросла от этого прикосновения длинной и теплой шерстью. Собаке стало тепло. Из благодарности она стала ласкаться к злому духу и пропустила его к самоеду в чум. Вошедши в чум, злой дух плюнул самоеду в лицо. И самоед, не знавший до того зла и никогда не грешивший, сделался от этого склонным ко злу и греху. По изменившимся делам самоеда жена узнала о его соприкосновении со злым духом и проведала про измену собаки. В наказание само-

едка задушила собаку и ее шкурой отделала подол своей паницы.

В бóльшем ходу, чем меховая отделка, окантовка из ярких цветных сукон — зеленого, красного, желтого. Иногда из такого сукна делаются узкие вставки. Цветных сукон к самоедам попадает мало, и они их очень ценят.

Не меньше, чем сукно, хабинэ любят медные украшения. Всю ту медь, какую их тропические сестры, какие-нибудь зулуски, распределяют в виде бесчисленных браслетов и колец по ногам, рукам, ноздрям и ушам, хабинэ вынуждены отделить от непосредственного соприкосновения с телом; климат этого не позволяет. Здесь вся медь сосредоточивается на поясе. И так как единственным видом медного украшения, попадающего на Колгуев, являются пуговицы, то для помещения их в надлежащем количестве приходится делать пояс значительной ширины.

Вот, например, у той же Варвары на поясе — шириною, примерно, двадцать—двадцать пять сантиметров — я насчитал 126 пуговиц. Какие только ведомства различных эпох ни нашли успокоения на широких чреслах этой самоедской матроны. Ярко начищенные сверкают двуглавые орлы попеременно с красноармейской звездой, якоря рядом со старорежимным правоведским «законом».

В зависимости от достатка и способностей матери к рукоделию мода оказывает свое влияние и на костюмы детей. Их меховое платье и шапки несколько более пестро расшиваются, чем у взрослых. Пояса украшаются тонкими медными цепочками. Но, кроме того, в костюме детей находят место колокольчики, которых мне

не довелось видеть на платье взрослых. Количество колокольцев на платье ребенка зависит от наличия их у родителей. Рядом с ребенком, у которого было пришито на рукавах по одному маленькому бубенчику, бегал какой-то карапуз — баловень, у которого малица расшита колокольцами по всем швам. Колокольцы приделаны даже к углам шапки и коленям штанов. При малейшем движении этого франта он издает звон, как лихая масленичная тройка.

Не знаю, верно это или нет, но обычай пришивания колокольцев к платью детей один самоед объяснил мне тем, что в случае, если мать не доглядит и ребенок уйдет далеко от чума, мать все-таки никогда его не потеряет, если не из вида, то из «слуха».

Недостаток в медных украшениях — предмет неподдельных сетований хабинэ. При всем желании не показаться настроенной оппозиционно к представляемому нами режиму, резвая молодуха, довольно бойко говорящая по-русски, все-таки не выдерживает:

— Дурная ты большевик, и Госторг дурная, как можно без золота (меди) зить. Вона гляди, — показывает она на Варвару, — вона царский купец какие прязка возил... а сей год где прязка такая? Не стала прязка, бубенца не стала и пуговица не стала.

На животе у Варвары унизанный пуговицами пояс застегнут резной медной пряжкой. Это целое круглое блюдо двадцати сантиметров в диаметре. По глазам молодухи видно, что такая пряжка действительно способна служить предметом невинной зависти. А Госторг таких пряжек не имеет. Даже медных пуговиц, которые рядами были нашиты на кителе любого урядника, Госторг не привозит. Отсюда: Госторг хуже куп-

ца. Госторг от большевика, купец был от царя, а значит, и большевик хуже царя.

Вот вам политическое значение медной пуговицы, не говоря уже о набрюшном блюде хабинэ Варвары.

8. ВОЗВРАЩЕНИЕ В БУГРИНО

Тундрой, которая то намокает, то снова делается «сухой» на каждой оленьей версте, мы пробираемся к Бугрину. Едем кружным путем, так как Жданов хочет показать нам гордость Госторга — песцовое хозяйство. Вернее, бывшую гордость.. Теперь хозяйство это уже ликвидировано.

Снова под ханом, как шпалы, мелькают кочки. Тундра кажется еще более неприветливой, чем прежде. Сквозь частую сетку мелкого как туман дождя далекие волны низких холмов кажутся еще более придавленными, точно расплывшийся от сырости студень. Мох еще более безотраднo-однообразным ковром устилает равнину. И только жалкая пюнг — трехвершковая карликовая ива — нарядно зеленеет своими отполированными дождем жесткими листочками, такими жесткими, точно они из жести сделаны.

На первом часе пути от оставленного нами чумовища, из-за серого угора, поросшего зеленой пюнг, навстречу нашей упряжке лихо вылетела пятерка серых рослых быков. Они легко мчали легкие санки с изящной резной спинкой. Торчащий над головами оленей длинный, тонкий хорей оказался в руках немолодой румяной хабинэ. Летков резко остановил свой хан и вступил в разговор. Через две минуты мы быстро двинулись дальше, и хабинэ повернула своих оленей за нами. Оказывается,

она приехала с дальнего берега Колгуева, прослышав, что чужие русаки приехали в гости к пастуху Романычу и приглашают самоедов на угощение. Она опоздала из-за дальнего пути, но, повидимому, это ее ни мало не смутило, так как она заявила, что готова ехать к нам в гости в Бугрино. Перспектива попить чайку в гостях оказалась достаточно привлекательной даже при необходимости ехать за этим чаем за тридевять земель. При этом путешествие хабинэ осложнялось тем, что на ее тесном хане, кроме нее, находилось еще двое детей. Мальчик лет шести сидел за спиной хабинэ, закутанный в грудку мехов. Рядом с ним стояла люлька с грудным ребенком, которого предохраняла от падения толстая медная цепочка на манер тех, что служат у нас для подвески больших люстр. Дети, повидимому, обращали на неудобства езды не больше внимания, чем их мать. Старший сидя спал; курносая розовая пуговица носа и черные изюмины глаз — все, что виднелось от младшего над краем люльки — весело ворочались из стороны в сторону, нисколько не смущаясь ни качкой нарты ни туманом, переходящим временами в настоящий дождь.

На остановках хабинэ так же лихо, как любой из наших ямщиков, осаживает свою запряжку длинным тюром, а трогаясь с места, несмотря на свою солидную комплекцию, трусит рядом с ханом до тех пор, пока быки не разбегутся и не возьмут настоящий ход.

Когда мы встречаемся с оврагами, хабинэ соскакивает с хана и бежит рядом, чтобы облегчить оленям подъем на крутой берег.

При всем том она не перестает быть дамой, и когда у нее заиграл вожак и перепутал все построения, мой Летков немедленно остановился и побежал к ее хану,



Ездовой бык

чтобы помочь ей справиться с быками. Хан хабинэ при этом опрокинулся, но никто не обратил на это ни малейшего внимания — старший ребенок продолжал спать, свешиваясь из-под веревки всею грудой мехов, а младший так же весело ворочал глазами, вися вниз головой на животе, перетянутом толстой медной цепью.

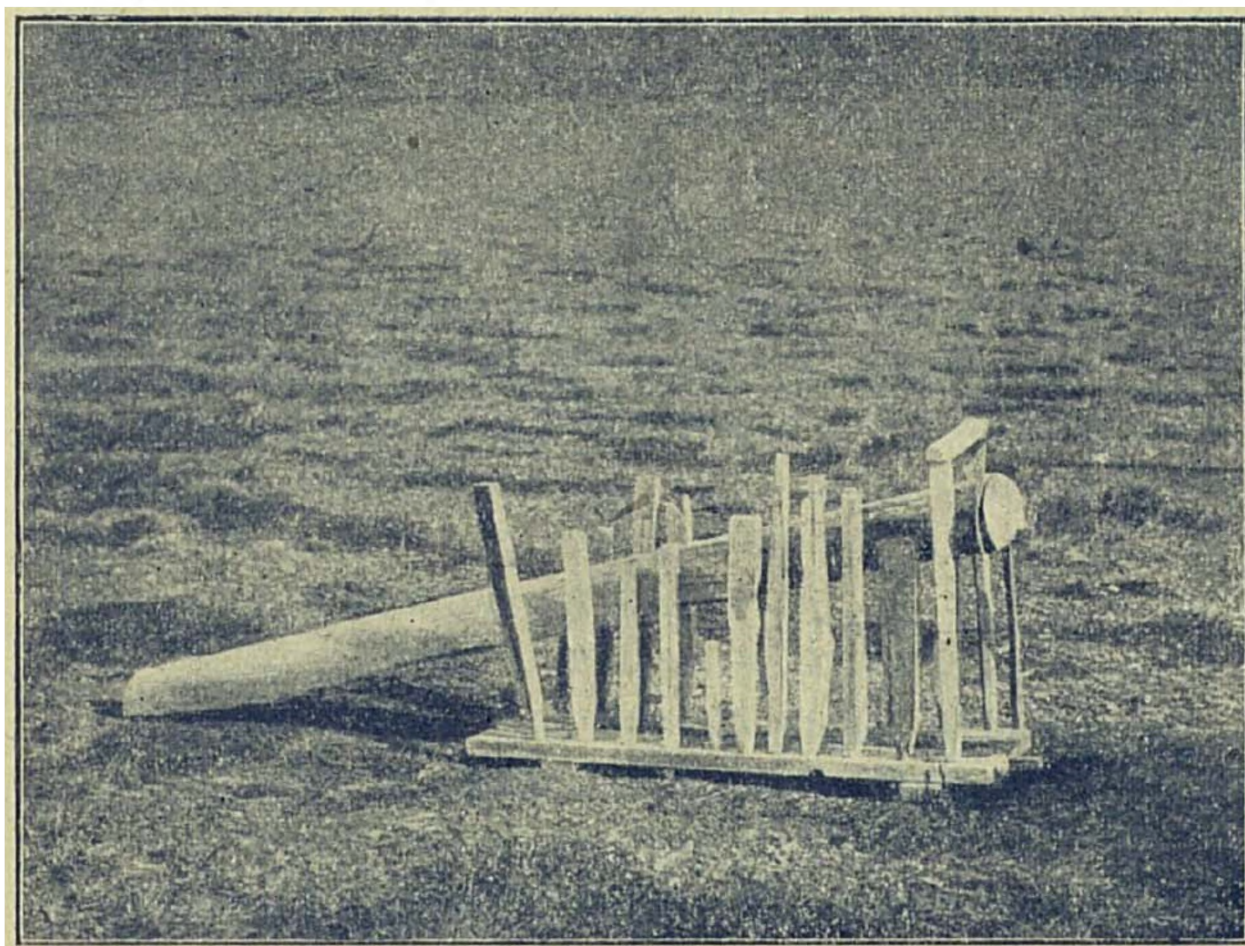
Час за часом, верста за верстой, тряские кочки, прыгающие крупы оленей, монотонно из стороны в сторону покачивающиеся кусты рогов.

От нудно морозящего дождя, от ржавых брызгов, обильными фонтанами летящих из-под копыт оленей, малица намокла. Сырой мех узкого воротника прилипчиво щекочет шею. Обшлага рукавов сделались холодными. Я втянул руки внутрь малицы и грею их на животе. Все так противно мокро и скользко кругом, что нет никакого желания вытаскивать из чехла автомат, даже ради вырывающихся из-под самого хана куропаток. Только собаки, на которых шерсть обвисла длинными мокрыми клочьями, неумоимо несутся за курочками, искусно отводящими их от гнезда.

Начинаю клевать носом. Николай Летков то-и-дело с беспокойством оглядывается на меня со своего хана, видимо боясь, что, заснув, я вылечу на какой-нибудь кочке. Мы едем быстро. Как-будто и версты стали длиннее. Даже самоеды не с таким азартом хватаются за каждую остановку; уж больно противно слезать с хана. В движении как-то меньше замечаешь слякоть.

Но вот мы выбрались на широкое плато, поросшее пюнгом, с большими плешинами какого-то серого, точно выгоревшего мха. Здесь была расположена часть песцового хозяйства. Там и сям разбросаны игрушечные, в метр вышиной, избушки. В эти избушки песе

должен был приходить плодиться. Игрушечные домики тянутся далеко в тундру. Слева стеной вышиною в человеческий рост сложены деревянные ящики-клетки, в которых 218 песцов были привезены на остров с материка для завода.



Самоедская песцовая ловушка

До приезда этих двухсот восемнадцати песцов самоеды на острове свободно охотились на местного песца. Этот промысел в достаточной степени развит и пользуется большой популярностью среди туземцев, так как является единственной возможностью восполнения экономических прорех, порождаемых недостаточным развитием оленеводства и неправильной постановкой использования его продуктов.

С появлением же «казенных» песцов всякий песцовый промысел на острове был воспрещен, и Госторг стал выплачивать туземцам денежную компенсацию в возмещение убытка, причиняемого их хозяйству этим вынужденным бездельем. Но самоедам это очень не нравилось.

Для пропитания прибывших на остров песцов было завезено и переброшено на оленях вглубь тундры 1 200 бочек рыбы и 300 бочек шквары. Были построены большие избы-кормушки — ценою, кажется в 500 — 600 рублей каждая.

После нескольких часов езды по берегу тихого, опоясанного камышами озерка мы увидели такую кормушку. Она меньше всего похожа на дом для песцов — это высокий просторный амбар, сложенный срубом из толстых бревен. Во всяком случае, этот амбар куда просторнее и лучше построен, чем жилища бугринских колонистов. На сто шагов от амбара слышен тошнотворный, удушающий запах гниющего мяса — оленины, заготовленной в свое время для песцов. В этой избушке песцы должны были получать питание в виде местной оленины и привезенной с материка рыбы и шквары — вполне достойное их высокого положения пушистой валюты.

Но как-то так случилось, что в один далеко не прекрасный день песцы оказались на воле в тот самый момент, когда к песцовому хозяйству съехались самоеды. Самоедские псы, не приученные к братскому сожительству с такой лакомой дичью, а, напротив, в большинстве своем натасканные в песцовой охоте, принялись с завидным рвением ловить госторговских песцов, и я не очень верю тому, что самоеды старались удержать псов от

расправы с привозными песцами — причиной лишения их доходного замнего промысла.

Короче сказать, часть песцов была изорвана собаками, остальные разбежались по тундре, забыв про заботы Госторга, уютные домики и грандиозные кормушки, построенные по последнему слову звероводческой техники. Самоеды же снова принялись за охоту и во славу Госторга промышляют умножившегося в числе песца.

9. КАЧЕСТВА СОВЕТСКОЙ БОГОРОДИЦЫ

Снова фельдшерица Анна Александровна заполняет собой гулкую пустоту больничных хором. Снова кровавые следы моих ночных битв с больничными клопами покрывают густыми мазками мою и без того не слишком опрятную простыню. От подложенных под простыню оленьих постелей она пропиталась каким-то совершенно особенным желтым жиром. Жир этот издает своеобразный терпкий запах. Ночью к запаху жира присоединяется острый дух десятков клопиных трюпов...

Пользуясь нашим вынужденным гостеприимством, к нам продолжают приезжать самоеды.

Вчера они приехали целой гурьбой. После двух часов сидения, когда за волнами сизого тумана «Пушки» их лица стали казаться неверными призраками и в ушах начало стучать как при подъеме на большую высоту, от имени всех гостей выступил один из самоедов:

— На карточку сниматься мозна?

— Отчего не можно, можно.

Мы решили, что они хотят получить на память группу. Черепанов старательно наладил на крыльце фо-

тографический аппарат, долго рассаживал самоедов в группу и сделал два снимка. Через час гостям была продемонстрирована готовая фотография. Эффект получился совершенно неожиданный. Фотография быстро обошла весь круг гостей, причем некоторые самоеды едва удостоили ее своим вниманием.

Через несколько минут она вернулась к оторопевшему Черепанову.

— Что, разве карточка не хороша?

— Зацем не хороса? Хороса.. хороса. Хороса карточка. Ты, парень, карточку с собой забирай, покажи больсому нацальнику, какой самоетька народ.

— А вам не надо карточку? Я и для вас сделать могу.

— Наса карточка не нада... наса...

Не дослушав, я ушел к себе в комнату. Через десять минут к нам пришел бедняга Черепанов.

— Слушайте, граждане, до чего ж это дойдет, если дальше так пойдет. Ведь они вместо карточки...

Блувштейн не дал ему договорить.

— Едрихен штрихен, Толя, я сказал, пошлите их ко всем чертям — кумки не будет, — он повернулся к стене на куче оденных постелей, оставив Черепанова в положении железа между молотом и наковальней.

Сквозь дрему я слышу: «Ramona, du bist...»

Глубокая ночь; почти утро. Мы не спим, потому что спать не на чем. Скоро сутки, как все вещи сложены в ожидании отъезда на судно. Фансбот с судна давно пришел, но лежит обсохший на песке. Вода отошла от него по крайней мере на 10 метров.

Самоеды ушли. За столом один только седой, согбенный Прокопий. Я делаю запись в дневник, Прокопий молча колупает ногтем этикетку круглой жестянки из-



Рис. Василия Беляева. В самоедском чуме. Становище Бургрино, о. Колгуев.

под кофе. За работой я совершенно забыл о Прокопии. Только когда глаза устали от неверного серого, рассветного освещения, я оторвался от тетради и увидел сидящего против меня старика. Часы показывают четыре часа утра — почти два часа, как я сел за дневник.

— Прокопий, ты все еще здесь?

— Тесь.

— Чего ж ты не едешь? Небось, твоих никого уже давно нет?

— Нет.

— Так чего-ж ты сидишь-то?

— Мне эта нада, — протянул он мне пустую жестянку, — твоя подари.

— Бери, сделай милость.

Прокопий нерешительно повертел жестянку в руках.

— А закрыська нет?

На банке не было крышки. Кажется, ее пустили вместо блюдечка для воды привезенному нами с материка котенку, первому котенку на Колгуеве.

— Не знаю, Прокопий, у меня крышки нет.

— Мозна поискать?

— Ищи, если хочешь.

Глотнув холодного чая, я снова уселся за дневник. Поднимая глаза от тетради, я каждый раз видел фигуру ползающего на корточках старого самоедина. Он облазил все углы в наших комнатах, перетряхнул горы нашего багажа, разгреб кучи мусора, в изобилии накопленного во всех углах. Два часа Прокопий мозолил мне глаза из-за дрянной жестянки, а теперь еще не даст покоя с крышкой. Это начинало меня раздражать.

— Слушай, Прокопий, брось, пожалуйста, шарить, ты мне мешаешь.

— Какой месай... закрыська нада.

— Да на что тебе крышка-то?

— Я сюда банка камень класть стану, ребятка играть даю.

Чтобы привезти ребятам в чум погремүшку, старик, не жалея колен, лазит по всем углам! Я снял крышку с другой банки, наполненной кофе, и отдал крышку Прокопию.

— Пасиба, парень, ребятка много смеяться будут. У мой анцы ебцана мьяла ачки есь, играца нада.

Заскорузлые пальцы Прокопия с исковерканными ревматизмом суставами с трудом справляются с крышкой. Ногти на пальцах темно-синие, почти черные, выпучены как большие круглые пуговицы.

По неприветливому, всегда насупленному скуластому лицу пробегает усмешка и застревает где-то в глубоких морщинах, бесчисленными рубцами избородивших щеки и лоб. Мне хочется воспользоваться хорошим настроением старика и выяснить у него то, чего мне не хотели сказать в тундре.

— Слышь, Прокопий, скажи-ка мне правду, есть у вас боги?

— Есь, парень.

— Какие?

— Мыкола есь, Егорь есь, Спаса есь, Богородыся Мария есь.

— Нет, а ваши, самоедские? Вашей работы изображающие духов: Нума, Аа там?

— Есь, парень, и наса тозе есь. Многа есь. Не знай, парень, как тебе обсказывать, наса духа свята... Я буду обсказывать, парень, а ты, мотри, никому не обсказывай, сто старая Прокопий тебе на духа свята говорил.

От старого Прокопия я узнал, что и у колгуевских самоедов так же, как у материковых, главный дух, создатель всего видимого и высшее существо, вдыхающее жизнь, покровитель всего доброго — Нум. Нум управляет миром, Нум в награду за хорошую жизнь посылает ягель стадам самоеда, Нум ограждает его оленей от копытки и головной болезни, Нум посылает песцов в капканы тех самоедов, которые ведут хорошую жизнь и приносят мелким духам, подчиненным Нуму, обильные жертвы. И тот же самый Нум посылает на стада болезни и осыпает оленей оводами, Нум покрывает гололédом тундру, чтобы лишить оленей ягеля и наказать плохого самоеда; Нум отводит дуло ружья плохого самоеда от головы нерпы и Нум делает руку самоеда трясущейся и неверной, когда тот стреляет по куропатке или утке. Нум распоряжается самым страшным, что только может случиться — громом и молнией. Но, распределяя награды и наказания, Нум никогда не смотрит на землю. Его светлое лицо слишком ясно и божественно, чтобы Нум мог запятнать его, повернув в сторону порочной и грязной земли с населяющими ее самоедами. Но Нум светел и справедлив, он покровительствует самоедам во всех их добрых делах и наказывает только за злые. А чтобы знать, не глядя на землю, что делают самоеды, Нум слушает их жизнь. Поэтому у Нума есть большое ухо, такое большое, что слышит каждый шорох во всей тундре.

В противоположность расположенному к самоедам светлomu Нуму, где-то—где именно, Прокопий мне сказать не мог—живет злой, строящий людям козни Аа. Аа только и думает о том, как бы подстроить самоеду какую-нибудь гадость. Он заманивает его на лодке в от-

крытое море и только тогда заставляет улечься волны, когда самоед дает ему обет принести обильную жертву. Аа толкает самоедов на всякие нехорошие дела: он приводит самоеда к чужому капкану с попавшимся в этот капкан прекрасным песцом и подзадоривает самоеда взять песка из чужого капкана. Аа знает при этом, что за такое злое дело не только хозяин песка будет в вечной вражде с вором и его будет презирать весь род, но сам Нум—великий, светлый, справедливый Нум—будет преследовать несчастного своим гневом и накажет, напустив болезнь и мор на его стадо, сгноив его муку и лишив молока жену, когда она будет кормить новорожденного ребенка. Аа только этого и нужно. Аа показал на остров дорогу русакам с водкой, губящей самоедов и ведущей их к нищете. Нум хочет, чтобы самоеды не пили водки, Аа подговаривает самоедов пить водку. Раньше Нум имел себе на земле верных помощниц в самоедских женках, не дававших мужьям пить водку и заставлявших их выменивать меха оленей и пушных зверей на свинец для пуль и муку для хлеба. А теперь и женки отвернулись от Нума,—их обольстил своими хитрыми речами Аа. Женки сами стали пить водку вместе с самоедами. От этого пришло на самоедскую тундру много горя.

Сильно печалится светлый Нум, и сильно радуется темный Аа.

Но Нум и Аа оба так велики и страшны, живут так далеко от самоедов, что самоеды не могут с ними говорить и не могут слышать их. Даже самый сильный шаман никогда не смеет обратиться к Нуму или Аа и принести ему даже самую роскошную жертву. Шаманы могут говорить только с малыми духами, живущими неви-

димó в пространстве вокруг земли, — где именно, Прокopies опять-таки не знает, это знает только шаман, а спрашивать шамана об этом нельзя. Шаман может призывать духов и просить у них за самоедов, но для этого нужно приносить жертвы духам и сделать так, чтобы шаман тоже был доволен самоедом, за которого просит.

Эти духи злые, они редко отступают от человека и почти всегда стараются принести ему вред. Как ни странно, но, будучи злыми гениями человека, эти духи оказываются посланцами Нума. Так как духи эти злы и хитры, в сношениях с ними нужно большое искусство и особые знания. Этими знаниями никто из самоедов не обладает, кроме шаманов. А шаманы своих знаний никому не передают, кроме своих старших сыновей. Таким образом прерогатива одурачивания самоедов оказывается наследственной.

Но, кроме этих духов среднего ранга, имеются еще и совсем незначительные духи, домашние, живущие постоянно с самоедом в чуме. Это щепочки с простыми зарубками на том месте, где должна быть божественная голова духа. Щепочки эти хранятся в божнице, вместе с казенными духами русаков, но только так, чтобы никто из русаков не знал, где эти щепочки, потому что батюшка всегда говорил, что начальник будет любить тех самоедов, у которых в божницах будет стоять Микола, и будет строго наказывать тех, у кого найдет самоедских деревянных духов. Только теперь начальник стал говорить, что ему все равно, каких духов держит самоед. Но все-таки спокойнее держать советских: Миколу, Марью, Спаса. Своих самоеды на всякий случай все же прячут, и шаман строго велит ничего русакам про них не сказывать.

Свои духи, живущие в чуме с самоедом, самые удобные духи, так как сношение с ними не требует вмешательства даже шамана, и хозяин сам может просить их о милости. И, кроме того, духи эти самые выгодные: не только шаману за сношения с ними ничего не надо платить, но они даже не требуют себе никаких жертв. Единственно, что необходимо делать, чтобы снискать расположение духа, это мазать ему губы маслом. А если дух не исполнит просьбы самоеда и обидит его приплодом, или не убережет от гололедицы, или не поможет сделать выгодную менку с агентом, тогда этого духа самоед может наказать. Духа можно побить. А если дух уж очень недобрый, если он причиняет самоеду большое горе, тогда можно поручить женке побить духа. Это для духа так обидно, что он постарается исполнить просьбу самоеда, не доводя до прикосновения женщины к своему божественному телу. Ведь женщина—нечистая тварь, она не может прикасаться к духу, если он хороший дух и не причинил вреда хозяину. Самое же хорошее качество этих домашних духов то, что им можно обещать какие угодно жертвы, не принося их, эти бессильные духи довольствуются только обетами, не настаивая на самих жертвоприношениях.

Длинная речь Прокопия на коверканном самоедско-русском аргю показала ему, вероятно, неуместным откровением, и он внезапно замолчал, уставившись своими выцветшими глазами на огонь лампы. Подумав, он категорически заявил:

— Только наси негодные с советькими равняцца. Васа советька богородыся куды как ладно сработана, а наси плохи. Мы сам и делал... ну какой мы мастер икона делать. Наса икона худой есь. Васа икона куда как хоро-

са. Наса обчества, парень агента и Сидельника просить будя самоетька икона нам у центру уделать, чтобы такой же хоросой был, как васа советька богородыся.

Я не смог дослушать Прокопия. На крыльце послышался стук тяжелых морских сапог, и дверь с треском и грохотом распахнулась, ударив со всего маха об стенку.

— А ну, мать вашу бог любил, кто на судно, собирайтесь! В два счета, а не то вода снова, мать ее боком в горло, столбом через сердце мать, к чертям спадет. Живо!

Пришел фансбот, чтобы снять нас с острова Колгуева.

Я в последний раз вышел на заднее крыльцо, глядящее в коричневые просторы колгуевской тундры. С крыльца, направляясь вглубь тундры, удаляется хан.

Там далеко, за прикрытыми серой мутью постоянных туманов синими холмами, укрылись темные конусы чумов.

Передо мной, пропитанные дымным смрадом и запахом дымящейся крови, проходят образы этого осколка тундры, заброшенного в холодные волны Ледовитого моря: спящие с собаками дети, истекающие кровью олени, старые гурманы, едящие яички бьющихся перед ними в путях животных, и юные лакомки, скоблящие ножами истекающие кровью бархатные рога, медное блюдо на животе хабинэ Варвары, и надо всем этим одно несносное слово «кумка».

Хан Прокопия исчез в овраге. За пазухой у старика побрякивает кофейная банка, а в голове копошится мысль о том, что если большевику поручить делать богов, он сделает их так же красиво, как делает деву Марию. А с богами не так уж плохо жить. Боги сделают так, что Сидельник и агент поссорятся еще больше.

Тогда можно будет еще поднять поденную плату и, набравши побольше товару в долг, попросить, чтобы долг списали. И, может быть, придет на остров еще один начальник, самый большой из самого что ни на есть большого исполкома, больше агента и больше Сидельника, а может быть, сам большевик и тогда... Прокопий не знает, что будет тогда. Надо спросить у шамана.

Никто на Колгуеве не знает, что будет тогда, когда придет большевик. Большевик еще не был на острове. Ни Прокопий, ни шаман, ни агент, ни даже сам большой начальник из самого большого ^{и аг} исполкома Сидельник не может сказать ни того, что ^{бшого} с островом, ни того, что будет с ними самими, ^{то буде} ^{дет} большевик. ^{когда пр}

ПО ГУБАМ НОВОЙ ЗЕМЛИ

1. ТОБИК

Мы сильно надеялись, что, вопреки условию, за нами на Колгуев вернется бот Михеева, ушедший к берегам Новой Земли. Но на горизонте чернел неуклюжий корпус парохода вместо стройной белой «Новой Земли». Это была «Революция», зафрахтованная Госторгом для доставки товаров в южные становища острова Новая Земля. На «Революции» мы и должны дойти до Белушьей губы, где нас будет ждать капитан Михеев.

Хотя мы ждали отправления на судно томительно долго, самый момент отправления оказался все-таки несвоевременным. Давным-давно гора наших бесконечных ящиков, мешков и чемоданов громоздится на прибрежном песке. Давно успел заснуть в гроте, устроенном из чемоданов, Черепанов. Давно уже приехавшие за нами люди из команды «Революции» истратили весь запас своих трудно передаваемых и неостроумных острот, а мы все сидим и сидим на песке.

Катер, который должен нас буксировать, ушел к Бугрину за собаками Наркиза. Наркиз понемногу промышляет тем, что отправляет ежегодно на Новую Землю приплод своих собак, которых он каким-то способом умудряется раздобывать с материка. На этот раз его отправка состоит из одиннадцати лягавых щенят и одной лягавой же суки, их матери. Совершенно непонятно,

кому на Новой Земле могут понадобиться неприспособленные для жизни в таком климате лягавые, к тому же вовсе негодные в качестве ездовых собак.

Визгливое достояние Наркиза погружено в маленький дырявый карбас. Собаки немилосердно промокли и жалобно скулят. Щенки трясутся всем телом под пронзительным морским ветром. Наркиз выбивается из сил, чтобы удержать собак от прыжков в воду.

Нам издалека слышно приближение катера, ведущего на буксире карбас Наркиза. Однако у всех получается такое впечатление, что катер к нам нисколько не приближается, а стоит на месте. Оказалось, что он сел на кошку.

Во время попыток Жданова сдернуть катер с кошки соскочил винт с гребного вала, и катер стал беспомощно с борта на борт под сердитыми ударами приливной волны. Жданов и его спутники вылезли из катера и по пояс в воде отправились на берег чинить винт.

Видя затяжной характер нашего ожидания, мы удобнее расставили наши ящики для защиты от гонимого косыми струями дождя и последовали разумному примеру Черепанова, вознаграждавшего себя за томительное недосыпание последних двух дней.

Сквозь сон я услышал, как затарахтел поблизости мотор Ждановского катера. Одновременно сквозь дрему я почувствовал, что место пониже спины у меня совершенно мокрое, так как за время сна под меня успела натечь целая лужа воды. Прямо против того места на берегу, где были сложены наши пожитки, окруженный kloкочущей пеной, ныряет моторный катер. Поближе к берегу, стоя по пояс в воде, Наркиз сует обратно

в утлый карбасишко своих собак, вылезавших через борт как опара из горшка.

Команда спихнула на воду свою шлюпку и в четверть часа нагрузила ее до самых краев нашими ящиками. Утопая по пояс в воде, мы добрались до катера, и началась отчаянная борьба с приливом. Сидящая до самых бортов шлюпка с вещами и виляющая из стороны в сторону дырявая посуда Наркиза затрудняют ход катера. Белые гребни валов закидываются высоко над нашей головой и обдают каскадами холодной воды. Солёные брызги щекочут в носу и шиплют глаза. Когда катер, взлетев на вершину зеленой, дрожащей всей массой, как желе, волны стремительно сползает вниз по ее скользкому скату, изнутри катера, из носовой рубочки, то-и-дело обдаваемой волнами, слышится звон и стук, перемежаемые сдержанной руганью нескольких голосов. Вероятно, там образовалась каша из части наших пожиток и нескольких пассажиров. В числе их и Черепанов. Его бледный нос появился в темной дыре, ярко выделяясь своей восковой прозрачностью на фоне включенной бороды. Через минуту Черепанов в изнеможении исчез.

Не без труда мы добираемся, наконец, до покачивающейся на волнах «Революции». Начинается трудная работа по подъему на борт нашего имущества и собак. Раскачивание мелких посудин, в которых пришел с берега груз, не совпадает с качанием более тяжелого судна. Трудно уловить момент для того, чтобы, без риска полететь в воду, перескочить с катера на свисающий с борта шторм-трап. Но если туго приходится нам, людям, то в еще худшем положении оказываются четвероногие пассажиры Наркиза. Их передают на борт

пачками. Собаки как гроздья винограда нанизаны на цепочку или на веревку по четыре-пять штук. Раскачиваясь над волнами, они свисают над бортом, подвешенные прямо за шею, пока сверху их втягивают на палубу. Животные извиваются, стараясь высвободиться из стягивающей их глотки веревки. Попав на палубу, они хрипят и жадно ловят воздух оскаленными ртами. И не знаю, от пережитого ли страха или от охватывающего собак чувства блаженства, они, попадая на твердую палубу, моментально покрывают палубные доски вонючими кучами. В буквальном смысле слова негде ступить, чтобы уберечь от этой грязи сапоги. Поднимаемые из-за борта на концах, наши пожитки, попав на палубу, оказываются моментально облепленными той же грязью. Без особого удовольствия я предвкушаю, как нам с Черепановым придется разбирать всю эту кучу запачканных ящиков в темном трюме.

Как только все люди, собаки и ящики оказались на борту, капитан немедленно отдал приказ готовить машину, и вскоре тарахтенье мотора ждановского катера потонуло в громыханьи якорного брашпиля. От борта парохода, отброшенные огромной волной, отскочили катер и карбас. Они неистово заныряли в набегающих на них зеленых студенистых холмах и исчезли в направлении к берегу. В последний раз из темной дырки машинной рубки катера показалась морковно-красная голова Жданова в растрепанном меховом малахае. Жданов махнул нам рукой и полез обратно в машину. Тепер уже не долго осталось ему капитанствовать на этом катере, — гордости его кораблестроительного искусства. Он отстукал свои три года на Колгуеве и должен этим летом возвратиться в Архангельск.

Отправившись в первый ознакомительный обход «Революции», я еще раз вспомнил Жданова. Повидимому, он не был далек от истины, предсказывая нам не особенно приятное плавание на этом старом корыте. Вообще говоря, я даже не представлял себе никогда, что морской пароход может иметь в такой степени неопрятный вид. Везде царит потрясающая грязь.

Как правило, пассажиры на «Революции» помещаются в трюме вместе с грузом — досками, разборными ново-земельскими избушками, сухарями, сахаром, тюками оленьих постелей и прочими мешками, ящиками и бочками. Ввиду исключения капитан разрешил нам поместиться в «салоне».

Хотя салон здесь и больше, чем на «Новой Земле», но не приходится и помышлять о том, чтобы троим улечься на его узком и коротком угловом диванчике. Впрочем, хорошо уже и то, что нам будет, по крайней мере, тепло. Мы должны быть тем более довольны, что командный состав «Революции» встретил наше появление в кают-компании без особого восторга. Старший помощник, разбитной молодой штурман, попробовал даже доказать капитану, что наше нахождение в салоне послужит плохим прецедентом для прочих пассажиров, коим место, конечно, только в грузовом трюме. Однако капитан, хотя и не очень решительно, настоял на своем, и помощник буркнул: «орлайт». Это самое «орлайт» было любимым словом первого помощника «Революции», оно так же непрестанно вертелось у него на языке, как у капитана слово «Тобик».

Тобик—кривоногий рыжий ублюдок. Он живет в кают-компании. В изъятие всех судовых правил Тобику разрешается гулять по всему судну, не исключая и священ-

ного места — капитанского мостика. Поэтому Тобик не-престанно бродит по пароходу, обнюхивая все углы и сапоги попадающихся ему по пути матросов и пассажи-ров. Как-то так случается, что именно в тот мо-мент, когда Тобик гуляет по спардеку, капитану прихо-дит в голову угостить его тарелкой супу, раздобытой контрабандным путем в буфете. Капитан стоит в две-рях своей каюты, выходящих в салон, и жалобным го-лосом выкрикивает: «Тобик, Тобик, То-о-о-би-к!» Это продолжается до тех пор, пока на трапе не послышится сопенье и недостающий короткими кривыми лапами от ступеньки до ступеньки щенок не скатится кубарем в са-лон. Тогда капитан произносит слово Тобик на другой лад: «У-у, Тобик... у-у-у, То-о-обик». Но Тобик отвора-чивается от тарелки с супом, и из-за неплотно прикрытой двери капитанской каюты слышится грустное: «Ну, То-бик... ну же, Тобик... Как же это ты так, Тобик?» Нако-нец, потеряв надежду на то, что ему удастся видеть, как его любимец будет завтракать, капитан нахлобучивает мятую фуражку с потемневшим, почти черным золотом шитья и, обмотав шею широким шерстяным шарфом, уходит наверх.

Скоро с палубы доносится: «Тобик, Тобик, Тобик... поди сюда, Тобик!» Ублюдок спокойно спит на ка-питанской койке. Капитан терпеливо спускается к себе и, взяв подмышку ублюдка, несет его наверх. Там капи-тан сосредоточенно шагает по мостику. Первые четверть часа ублюдок терпеливо ходит за капитаном, тыкаясь неуклюжей мохнатой головой в его сапог. Потом это ему, повидимому, надоедает, и он преспокойно совер-шает прогулку независимо от капитана. При этом он со-средоточенно обнюхивает все углы. В конце-концов

щенок задумчиво останавливается у одного из углов штурманской рубки и, подобрав под себя задние лапы, приседает. Морда Тобика хмурится, клочья рыжей шерсти собираются комками. Капитан продолжает ходить, ничего не замечая. На глазах у нескольких десятков привязанных на нижней палубе лаек совершается величайшее святотатство. Лайки сидят на корточках и скулят в сторону Тобика. Тот тоже начинает урчать, не прекращая своего занятия. Капитан оборачивается на урчание. Однако, вместо громов и молний, которые, по моим представлениям о морских порядках, должны были бы посыпаться на голову ублюдка, лицо капитана расплывается в довольной улыбке. Он приседает около ублюдка и, сделав рукою жест, означающий: «не мешайте», с необычайной ласковостью начинает приговаривать, почти напевать: «То-о-о-бик... То-о-о-бик...» Заметив мою заинтересованность, капитан, не отрываясь от созерцания ублюдка, произнес почти шопотом:

— Не спугните, у Тобика три дня был запор...

Когда щенок встал и отряхнулся, невероятно хлопая длинными мохнатыми ушами, капитан притащил щепочку и стал старательно соскабливать следы святотатства, совершенного под его капитанским покровительством.

2. НЕУЮТНЫЙ ПЕРЕХОД

К концу дня голод начал давать себя чувствовать во всю. Посоветовавшись с Блуштейном и Черепановым, я отправился на переговоры с капитаном по вопросу о принятии нас на довольствие в кают-компанию. Оказалось, что отпуск для нас продуктов зависит от выбор-

ного артельщика команды, кочегара. Вскоре мне удалось отыскать кочегара-артельщика. Изложив ему наше ходатайство, я получил самый категорический отказ.

Я сделал попытку апеллировать к разбитному первому штурману, но он беспомощно развел руками.

— В этот момент предпринять никаких мероприятий невозможно.

— Мне придется в таком случае вступить в частное соглашение с поваром. Голодными в течение всего рейса мы оставаться во всяком случае не можем.

— Орлайт, вступайте.

Через полчаса я достиг «частного соглашения» с поваром, согласившимся разогревать наши мясные консервы. Благодаря этому соглашению в дальнейшем наше питание на «Революции» сделалось несколько разнообразнее: к чаю с черным хлебом один раз в сутки прибавилось разогретое консервированное мясо.

Со сном дело у нас обстоит не лучше, чем со столом. В салоне места было ровно столько, чтобы один человек мог растянуться на палубе (во всю длину) и один на диванчике (не во всю длину). При этом лечь было можно не раньше, нежели последняя вахта отопьет последний чай. Иначе желающие пить чай не могли бы подойти к столу.

К ночи Блувштейн раздобыл себе где-то огромный постовой тулуп и довольно уютно устроился, подстлав его под себя. Я скрючился на своем диване, сунув под голову снятые ботинки и «Вздор» Вудворда. Однако заснуть не было никакой возможности. В салоне было очень холодно, так как забыли пустить сюда пар. Наконец, повидимому, капитан не выдержал, и через тонкую переборку я услышал, как он кричит в переговор-

ную трубу, идущую от него прямо на мостик к вахтенному начальнику:

— Ало!.. На мостике!.. • Ало!.. Эй, кто там есть, скажите в машину, чтобы пустили к нам пар. Тут холодно, как в могиле.

Вскоре в паропроводах забулькал и защелкал пар. Каюта наполнилась приятным теплом. Затем это тепло перешло в удушающую жару.

За переборкой послышалось царапанье когтей. Дверь капитанской каюты приотворилась и показалась мохнатая морда Тобика. Он протиснулся в дверь и стремглав помчался к трапу на палубу. Разбуженный возней, капитан выскочил в одних кальсонах.

— Тобик! Тобик!

Но Тобик был уже далеко. Капитан вернулся в каюту, натянул поверх широких полосатых кальсон валенки и, надевая на ходу фуражку, побежал наверх.

Я стал дремать, но заснуть все-таки не было никакой возможности. Рубашка прилипала к телу от пота. Открыл иллюминатор, выходящий прямо на нижнюю палубу. Стало легче дышать. В каюту ворвался столб густого, холодного тумана. Наконец я заснул. Однако и тут мой сон оказался непродолжительным. Я давно уже привык к собачьему концерту на палубе. Ухо совершенно не реагировало на все виды воя, скулежа, визга, тьяканья и рычанья, доносившиеся с палубы. Однако во сне мне показалось, что жалобный скулеж раздается у самой моей головы и что-то холодное льется мне на лицо. Я открыл глаза. Прямо надо мной в иллюминатор наполовину протиснулся один из щенков Наркиза. Передние лапы его висели уже в каюте, но веревка, на которой он был привязан, повидимому, не позволяла ему

протиснуться дальше и грозила его задушить. Дрожа от холода, щенок жалобно скулил и щелкал зубами. С мокрой, обвисшей жалкими прядями шерсти капала грязная вода мне на голову.

Соң пропал, и я вышел на палубу. Все судно блестит, как лакированное, от обильно оседающего тумана. С мостика не видно носовой рубки. Внизу, стараясь как можно ближе прижаться друг к другу, трясутся в мокром ознобе собаки. В узкую щель, оставленную для доступа воздуха, из трюма пробивается полоска электрического света, тусклого в белесой мути туманной ночи. На мостике скучно и неудобно. Поминутно вахтенный штурман берется за рукоятку гудка, и над трубой «Революции» свирепо клубится пар. Гудка нет. Из-под медного колпачка вырывается только сердитое шипенье с жалобным присвистом. Повидимому, за долгие годы своей северной службы «Революция» надорвала себе голос или безнадежно простудила его на весенних промыслах, богатых пронзительными, холодными норд-остами.

Подергав за рукоятку, штурман безнадежно бросал ее, чтобы через минуту снова сделать попытку извлечь голос из осипшего гудка. От этого настроение штурмана тоже делалось хмурым, и он мрачно ругал совторгфлотские порядки, пароход, туман и вообще все, о чем заходила речь.

— Вечно здесь этакая пакость! Разве это погода? Умора одна! То ли дело у нас на юге...

— А вы разве с юга?

— Да, с Ростова я. Плавал до сего в Черном море.. Вот кончу рейс, опять на юг поеду, на военную службу призывают. Я вот...

Но штурман не договорил. Забыв обо мне, он установился в направлении курса и протянул руку к рукоятке гудка.

— Фу ты, леший... вроде как померещилось что-то. Будто раздьяргивать туман-то стало. Как вам кажется?

Но, по-моему, оптимизм штурмана насчет того, что туман «раздьяргивает», оказался напрасным. Не только в эту ночь, но и на следующий день и следующую ночь и вообще все время до конца рейса мы ни на минуту не выходили из густого молока. Час за часом, вахту за вахтой надрывно сипел гудок.

14 августа мы по счислению должны были находиться не более чем в 40—50 милях от Гусиной Земли. Но обсервации не было никакой, а ошибка в счислении всегда может быть, особенно при полном отсутствии возможности астрономического определения. Поэтому капитан не решался итти дальше к земле и решил лечь на обратный курс.

Так взад и вперед мы ходили целый день. К вечеру туман немного прокинуло и удалось взять пеленги. Оказалось, что в счислении произошла довольно существенная ошибка. Курсовая черта, нанесенная на карту, была старательно стерта и нанесена вместо нее новая. Скоро весь горизонт снова затянуло и прокинуло только к вечеру. Взяли новые пеленги и снова вышло так, что мы вовсе не там, где должны были бы находиться по счислению. Снова резинка загуляла по карте, и штурман бережно прочертил третий курс.

Берега Новой Земли очень приглубы, но глубины на картах нанесены редкой сеткой. Кроме того, все говорит за то, что берега должны изобиловать рифами и каменными кошками, что при крайне слабой освещен-

ности карт представляет существенную опасность для плавания. Если бы мы шли на «Новой Земле» милейшего Андрея Васильевича, то, вероятно, он не слишком бы смущался близостью берегов, но для такого старого корыта, как «Революция», действительно спокойнее было держаться мористей. Капитан не решался подходить к земле ближе чем на 15 миль, и мы еще одну ночь проходили вдоль берегов полуострова Гусиная Земля, не имея точного представления, где именно мы находимся.

Только к утру 15 августа туман прокинуло настолько, что в промежутки стал виден берег, и капитан еще раз, самолично счистив плоды штурманских трудов с протертой почти до дыр карты, уверенно нанес жирную курсовую черту, упершуюся прямо в устье Белушьей губы.

Вскоре мы, действительно, увидели у себя на траверсе по левому борту небольшой скалистый остров Подрезов. Когда он скрылся в перемежающихся волнах тумана, слева от курса показался мыс Лилье. К 10 часам туман стал быстро редеть, и в 12 часов мы вошли в бухту Самоед в Белушьей губе. Здесь уже чернеет своим тяжелым корпусом воскрешенный из подводного небытия «Эклипс», ныне «Ломоносов». Неуклюжие тяжелые мачты, опутанные сложным парусным такелажем, делают «Ломоносова» легко отличным от других судов. Немного поодаль, поближе к берегу, белеет на фоне серых гор плоский червяк «Новой Земли» с торчащей на самом юге хорошо знакомой нам желтой трубой.

По берегу около избушек бегают люди. Воздух глухо разрывают хлопки винтовочных выстрелов. Стреляют долго и часто. Это традиционный местный способ приветствовать приход судна.

Остервенелым диким лаем приветствуют наши четвероногие пассажиры приближающийся берег, откуда навстречу нам уже несется неуклюжий катер, как две капли воды похожий на гордость Жданова.

В клюзах «Революции» раздалось оглушительное скрежетание, загромыхал брашпиль, и якорный канат, разбрасывая вокруг себя осколки ржавого железа, устремился в холодную, неприветливую глубину бухты.

Наш неуютный голодный переход окончен. У борта уже покачивается карбас, куда под гиканье и остроты кочегаров спускаются наши пожитки. Через полчаса я с радостью хватаюсь за шторм-трап «Новой Земли». несколько дружеских рук протягиваются сверху и тащат наперебой мое ружье, рюкзак и меня самого. С мостика широкой луной улыбается багровый лик Андрея Васильевича.

3. КОШКА КАПИТАНА МИХЕЕВА

Итак, мы на острове Новая Земля. По существу это вовсе не остров, а обширный архипелаг, состоящий из двух больших основных островов, Южного и Северного, носящих общее название Новая Земля и окруженных множеством мелких островов и островков, разбросанных вдоль всей их береговой линии. По своей природе Новая Земля резко отличается от Колгуева. Это уже не низменная плоская тундра, а сплошной гористый хребет, являющийся естественным продолжением материкового Уральского хребта.

Новая Земля расположена между $70^{\circ} 31'$ и $77^{\circ} 6'$ северной широты и между $51^{\circ} 35'$ и $69^{\circ} 2'$ восточной долготы. Длина острова с юга на север составляет прибли-

тельно 1 000 километров. Площадь Северного острова составляет приблизительно 50 000 кв. километров, а Южного 41 000 кв. километров.

Новая Земля как бы соединяется с материком мостом — островом Вайгач. Пролив Югорский Шар, отделяющий Вайгач от материка, и пролив Карские Ворота, отделяющий Вайгач от южного острова Новой Земли, издавна служили проезжими путями для мореплавателей, державших путь из европейских вод Северного Ледовитого океана в его азиатские воды, к устьям великих сибирских рек Оби и Енисея. Поэтому южная часть южного острова Новой Земли и остров Вайгач в известной степени уже освоены промышленниками как туземными, так и пришлыми русскими. По мере удаления к северу освоение Новой Земли все уменьшается. Этому способствует не только большая оторванность от проторенного морского пути, но и быстро увеличивающаяся суровость природы. На юге Новой Земли можно еще видеть целые склоны холмов, покрытые травой, иногда попадает ползучая карликовая ива. Но уже на высоте пролива Маточкин Шар, отделяющего Южный остров Новой Земли от Северного острова, встречаются только жесткие редкие мхи и лишайники. Всего на Новой Земле насчитывается только 19 видов представителей флоры.

Часть Северного острова покрыта шапкой вечного материкового льда, спускающегося глетчерами к морю сквозь многочисленные расщелины гор. По мере удаления к северу горы делаются все более и более суровыми не только вследствие своей оголенности, но и благодаря все увеличивающимся размерам и возрастающей крутизне и неприступности склонов.

На Южном острове расположены 5 становищ, населенных промышленниками, самоедами и русскими. Население распределяется таким образом:

С т а н о в и щ е	Н а с е л е н и е	
	Самоедов	Русских
Губа Белушья	62	4
Малые Кармакулы	22	28
Губа Поморская	24	9
Русаново	1	14
Красино	—	12

На Северном острове имеется только одно промысловое становище в губе Крестовой, где живут 18 самоедов и 4 русских. Кроме того, на Северном же острове расположена постоянная полярная геофизическая обсерватория Маточкин Шар, бывшая до основания метеорологической радиостанции на Земле Франца Иосифа нашей самой северной полярной радиостанцией. Теперь за Маточкиным Шаром остается только звание самой северной постоянной обсерватории (не только в СССР, но и во всей Европе). На обсерватории живет смена в 12 человек, ежегодно доставляемая сюда специальным экспедиционным судном Убеко Севера.

Хозяином на Новой Земле является островной туземный совет, работающий под председательством самоедина Тыко Вылки. Экономика острова находится целиком в руках Госторга, имеющего на острове своего уполномоченного и агентов по основным становищам. Столица острова — становище в Белушьей губе. В Белушьей губе находится и островная школа, размещенная в переделанной деревянной часовенке.

Трудно приходилось этой школе вначале, пока ей не удалось завоевать некоторого доверия самоедов. Зато

теперь она никогда не страдает отсутствием комплекта учеников. При этом учитель отмечает одно замечательное свойство в своих питомцах. Будучи мало способны к восприятию премудростей грамоты и счета, они быстро овладевают искусством графической передачи окружающего. По мнению учителя, рисование должно быть основным предметом начального обучения, так как именно таким способом можно ввести туземного ребенка в круг совершенно невоспринимаемых им в объяснении понятий.

Следует заметить, что новоземельские самоеды сильно отличаются от тундровых колгуевских самоедов. Прежде всего на них наложил сильнейший отпечаток длинный период общения с русскими. Повидимому, к самоедской крови на Новой Земле примешалась русская кровь. Цвет лица у многих туземцев (молодых и среднего возраста) светлый; детишки в большинстве случаев отличаются необычайной белизной лица. Тип лица у некоторых туземцев также имеет мало общего с коренными тундровыми жителями. Лицо более продолговатое, скулы выдаются меньше, у глаз более правильный разрез. Я бы сказал, что у многих лица скорее напоминают типы Дорошевича — слишком ясна на них печать вырождения. Вероятно, немалую роль в этом сыграла и продолжает играть водка. Хотя официально ввоз водки на Новую Землю воспрещен, но она проникает сюда и служит здесь предметом того же вожделения и основой хороших отношений, как и на Колгуеве.

Весьма возможно, что в значительной степени светлую кожу, особенно у детей, доходящую до прозрачности, следует приписать истощенности организма и нездоровым условиям жизни. Не говоря уже о том, что

жилищные условия оставляют желать много лучшего, питание также далеко не на высоте. Новоземельские самоеды лишены основного вида пищи, поддерживающей силы и здоровье материковых и колгуевских самоедов — свежей оленины и крови. На Новой Земле нет оленеводства. Горная местность и отсутствие достаточных ягельных пастбищ затрудняют это занятие. Попадающие на Новую Землю туземцы, принадлежащие к числу промышленников, занимающихся охотой на пушного и морского зверя, не чувствуют склонности к оленеводству. Новоземельский самоед уже не кочевник. Он привык жить в доме, построенном прочно и непригодном к образу жизни пастуха-оленевода. Сейчас Госторг делает попытки насадить на Новой Земле культурное оленеводство, но, насколько мне удалось уловить, дело это сопряжено с большими трудностями и на быстрый его успех рассчитывать трудно. Правда, на Северном острове и до сего времени встречается дикий олень, но его мало и охота на него крайне трудна, а следовательно, и невыгодна.

Единственный вид свежатины, доступной местным жителям, это — рыба и морской зверь: нерпа, тюлень, морж. В периоды промысла они широко используют эту пищу.

Отсутствие на острове оленеводства налагает еще один отпечаток на местного самоедина — он страдает от недостатка меховой одежды. Из-за этого он или зашивает меховое платье до последней мыслимой степени, или пользуется дешевым европейским платьем и тканями, привозимыми сюда Госторгом. Оленьи меха для изготовления одежды завозятся на Новую Землю Госторгом же с Колгуева. Иногда привозится даже уже

пошитое меховое платье: малицы и совики. Пимов сюда не привозят, так как в подавляющем большинстве жители — и самоеды и русаки — пользуются пимами, сшитыми из нерпичьих шкур. Для промышленников они имеют то преимущество перед оленьими пимами, что почти совершенно не промокают. Зато зимой они меньше предохраняют от холода. Поэтому новоземельские самоедки шьют и оленьи пимы, пользуясь привозным колгуевским камысом.

Вероятно, длительный период общения с русскими сделал самоедов более восприимчивыми к культурным начинаниям. Возможно, что этому способствует и то обстоятельство, что самый способ добывания средств существования заставляет новоземельцев скорее брать пример с русаков, пользующихся теми или иными усовершенствованиями в промысловой работе. В противоположность Колгуеву, здесь нельзя не обратить внимания на то, что моторный катер Белушьей базы то и дело шныряет по бухте под управлением самих самоедов. Несколько нелепое впечатление производят люди в малицах с капюшонами, сидящие на руле или ковыряющиеся около мотора, но от этого управление катером не делается хуже. Правда, протекает работа на катере довольно шумно.

К концу дня, а может быть и ночью катер лихо подошел к нашему борту, и началась погрузка на него самого Тыко Вылки, которого здесь называют не иначе, как «новоземельский Калинин». Говорят, что Вылка не протестует против такого наименования и даже приобрел себе на каком-то заезжем судне портрет Михаила Ивановича и пытается переработать его теперь в автопортрет, оставив прежнюю подпись. Надо сказать, что

Вылка является местной знаменитостью не только потому, что он «Калинин»; в такой же степени способствует его популярности то обстоятельство, что он—единственный туземец Новой Земли, побывавший в Москве, где он учился живописи. Способности у Вылки, действительно, есть, но если, как говорят, он совершенствовал их во Вхутемасе, то нынешние рисунки Вылки чести Вхутемасу не делают. Однако, в отличие от полусотни своих однофамильцев, Вылка твердо закрепил за собою звание художника.

Сборы Вылки сводились, главным образом, к погрузке многочисленных собак и каких-то заветных тючков и мешечков, за которыми очень внимательно наблюдала старая самоедка, провожавшая Вылку и его спутника.

Собаки Вылки грузились по обычному здесь способу. Они, как гроздь, были привязаны к одной веревке за шею и за конец этой веревки просто втягивались на борт судна с катера. Снизу старая самоедка подталкивала



Тыко Вылка

некоторых, особенно извивающихся в петле собак под зад.

Через полчаса из желтой трубы нашей шхуны раздались хлопки.

На мостике появился штурман. Вскоре выполз и Андрей Васильевич, поеживаясь от вечернего холодка, несмотря на свою мохнатую меховую куртку.

Легкий ветерок поднимал дробную, беспорядочную рябь на поверхности бухты. Какая-то серая муть, нечто среднее между дождем и туманом, стала заволакивать силуэты строений на берегу. Уже не так уверенно чернели на фоне окружающих гор «Революция» и «Ломоносов», а пришедшее сегодня сюда гидрографическое судно «Мурман», окрашенное в серый военный цвет, едва выделялось в сумерках.

Андрей Васильевич наставил на «Мурман» свой кургузый бинокль.

— Нехорошее впечатление на профессора Николая Николаевича может произвести, что мы уйдем, не попрощавшись с ним.

Речь шла о Николае Николаевиче Матусевиче — гидрографе, уже много лет работающем на гидрографических работах в северных водах и пользующемся большим уважением у моряков. Но сейчас не до визитов. Капитан подошел к телеграфу и повернул рукоятку. На мостике было слышно, как в машине повторился звонок. Тотчас же из трубы стали вылетать черные клубки нефтяной копоти, и корпус «Новой Земли» задрожал как в лихорадке.

Стоя на мостике, капитан сам давал указания рулевому, так как нужно быть очень внимательным, выходя из бухты, изобилующей банками.

Михеев отдавал приказания уверенно и спокойно, не справляясь с картой, испещренной цифрами глубин. Недаром он считается в Архангельске одним из лучших северных капитанов.

Поглядев в последний раз на тяжелые каменные гурни выходных створов, я спустился вниз, вняв гласу юнги Андрюшки, тщетно старавшегося созвать к ужину собравшийся на мостике командный состав. Однако не успел я доестъ тарелку супа, как где-то под килем бота послышалось подозрительное шуршание, точно судно тащилось по грунту. Через минуту шуршание повторилось, и от толчка тарелки поехали по столу. Весь корпус судна болезненно закрипел.

Я бросился наверх. Андрей Васильевич стоял на мостике, вцепившись в машинный телеграф, и всеми доступными ему непечатными выражениями поносил картографов, не позаботившихся обозначить кошку в том месте бухты, где мы теперь крепко-накрепко сидели на грунте доброй половиной корпуса. Андрей Васильевич методически поворачивал рукоятку машинного телеграфа то на передний, то на задний ход. Вся шхуна тряслась. Из машинного доносилось неистовое громыхание Болиндера. За кормой кружились пенистые водовороты, вздымаемые бешено бьющим по воде винтом. Скоро «Новая Земля» стояла среди вспененной и взбаломученной воды, стояла твердо, как на якорю. Однако этого было недостаточно, чтобы капитан Михеев утратил свое благодушное настроение, раз он был вполне убежден в том, что его подвели гидрографы, «прохлопавшие» мель в самой середине бухты. Присшествие скорее даже обрадовало его, чем огорчило. Андрей Васильевич довольно потер руки.

— А ну-ка, скажите радисту, пусть перекликнется с «Мурманом». Нужно сообщить профессору Николаю Николаевичу о том, что мы сидим на мели... Впрочем, погодите, вон от «Мурмана» отвалил уж катер к берегу. Они, вероятно, хотят засечь наше место, чтобы точно нанести его на карту. Я сейчас составлю Николаю Николаевичу официальную радию, чтобы он имел впечатление нашей осадки.

Было ясно, что нам самим с мели не слезть. Пришлось прибегать к помощи «Ломоносова», прося его стащить нас на буксире.

Андрей Васильевич тем временем составил Матусевичу подробное радио, сообщив, что сидит на мели, не нанесенной на карту, и просит засечь его местоположение, чтобы отметить кошку.

Через минуту депеша была уже принята антенной «Мурмана». Кто-то у нас даже поздравил Андрея Васильевича с открытием кошки в столь важном месте, как Белушья губа.

— Ну, Андрей Васильевич, теперь, чего доброго, ваше имя будет увековечено на карте. В издании следующего года, небось, уже появится в Белушьей губе «кошка Михеева».

Польщенный Андрей Васильевич окончательно просял и рассказал нам по этому случаю историю о том, как он составил когда-то где-то какую-то очень нужную карту и описал воды, в которых гидрографы наделали уйму ошибок.

В самый разгар капитанского рассказа, с почтением выслушанного штурманами, на мостике появился радист.

— Андрей Васильевич, ответ от Матусевича.

Михеев взял было радио, но руки у него по обыкновению так дрожали, что он передал бланк вахтенному помощнику.

— Вот это эффект! А ну-ка, Модест Арсеньевич, прочтите, что профессор Николай Николаевич пишет!

Внимательно вглядываясь в бледный карандаш, штурман отдельно прочел:

«Капитану Михееву точка благодарю за сообщение запятая но в том месте на котором вы сидите на карте показана глубина всего шесть футов точка понятно запятая это при осадке в двенадцать футов ваше судно не смогло пройти точка матусевич».

4. ОСТРОВ БАЗАРНЫЙ

Ночные сумерки уже почти совершенно скрыли с нас становище в Белушьей губе, куда мы выбрались, наконец, к выходу в море. Холодный крепкий ветер бил прямо в лоб. Пришлось натянуть на себя поверх свитра малицу.

Однако наше суденышко так мало и на нем столько нагружено всякого снаряжения, карбасов, строительных материалов, собак, что повернуться в малице буквально негде. Эта одежда явно не приспособлена для ношения на корабле. Даже сам Вылка, тоже облачившийся было в малицу, скоро сбросил ее и щеголял теперь в кожаной безрукавке, в каких в свое время к нам приходили пленные колчаковские офицеры. Безрукавка эта английской работы и шита, видимо, на людей совершенно иного сложения, нежели новоземельский Калинин, поэтому она у него спускается много ниже колен, как какой-то капот.

Вылка производит впечатление очень добродушного и неглупого человека. Его можно обо многом расспросить. В свою очередь, и он тоже не перестает интересоваться всем новым, что видит и слышит.

Когда я, окончательно продрогнув, спустился в темный грохочущий колодец машины, то застал там Вылку. Старший механик с упоением тыкал в различные части машины и объяснял Вылке устройство Болиндера. Голоса Григория Никитыча не было слышно, и я мог с уверенностью сказать, что Вылка не мог понять ни одного слова из его объяснений. Тем не менее Вылка время от времени кивал головой с видом полного понимания. Его внимание главным образом привлекали запальные шары в головках цилиндров. Вероятно, это была единственная деталь в устройстве двигателя, назначение которой для самоеда было ясно по работе с промысловым моторным катером в Белушьей губе.

Госторг завез сюда катера, снабженные нефтяными двигателями, и, надо отдать справедливость, сделал это очень удачно. Маленькие семисильные Болиндеры безотказно работают в самых тяжелых условиях и чрезвычайно нетребовательны к уходу и обслуживанию. Строго говоря, Госторг не привозил сюда катеров, как таковых, привезены были только двигатели, а устанавливались они уже на месте на обыкновенные большие карбасы. На карбасах для этой цели делались только дополнительные надстройки, чрезвычайно нелепого вида и сомнительного назначения. В общем сооружение как две капли воды походило на то, что построил себе на Колгуеве Жданов.

На одном из таких катеров Вылка и был капитаном. Таким образом он не был чужд и машинной технике.



Рис. Василия Беляева. Тип промышленника с о. Колгуева—
Алексей Апичин; 37 лет. Бугрино 1929 г.

Вообще мне кажется, что то несколько ироническое отношение, которое сквозит в различной мере во всех разговорах русаков о Вылке, не вполне справедливо и скорее является пережитком плохой традиции в отношении к «дикарю».

Большинство соглашалось признать в Вылке художника, и почти никто не хотел относиться к нему всерьез, как к председателю островного совета, носителю высшей власти на Новой Земле. Впрочем, это несколько не мешало самому Вылке отлично знать себе цену и даже, пожалуй, несколько переоценивать себя. С его представлением о полноте председательской власти мы имели случай прекрасно познакомиться на следующий день, подойдя к Кармакульским островам.

Почти все время от Белушьей губы до Кармакул мы шли в виду новоземельского берега. При условии отсутствия тумана здесь совершенно спокойно можно идти в расстоянии десяти—пятнадцати миль от берега, так как глубины очень велики.

Группа Кармакульских островов расположена около входа в укрытую губу, где стоит старейшее новоземельское поселение Малые Кармакулы, основанное в 1877 году. Но мы не собирались в этот раз заходить в Кармакулы — цель нашего прихода сюда составляли острова, где можно было получить интересную «натуру» для засъемки на фильм птичьих базаров. Для этой цели мы избрали небольшой скалистый остров Базарный, уединенно стоявший в море, в некотором отдалении от остальных островов.

Волнение было настолько сильно, что наш бот трепало как пробку, и капитан решил подойти к островам с подветра, для того чтобы спокойно бросить якорь.

Встав в четырех милях от острова Базарного, он предоставил нам добираться до него любыми способами.

Единственным способом передвижения, имевшимся в нашем распоряжении, была шлюпка, и мы решили воспользоваться ею. Впрочем, недостатка в спутниках не было. Наоборот, огорченными оказались те матросы, которым не удалось вместе с нами итти на остров.

Неожиданное осложнение возникло со стрельбой: Дело в том, что для того, чтобы снять тучу птиц с проекцией на небо, необходимо было заставить их взлететь. Сделать это можно было только выстрелами. Поэтому я совершенно спокойно перекинул через плечо свой автомат и набил карманы патронами. Но Вылка весьма решительно заявил, что, по постановлению островного совета, стрельба на птичьих базарах воспрещена для того, чтобы не распугивать птиц.

Блувштейн обозлился и не менее решительно заявил:

— Ну, мне на это наплевать. Ничего не делается базару от нескольких выстрелов.

Усы у Вылки ошетинились.

— Я говорю, стрелять нельзя.

Чтобы избежать столкновения с местной властью, я решил итти обходным порядком.

— Товарищ Вылка, стрелять птицу на базарах нельзя?

— Нельзя.

— А снимать на базарах кинокартины для ценгра можно?

— Можно.

— И охотников снимать можно?

— Я так думаю, что можно.

— А среди нас нет никого, кто был бы похож на промышленника. Вы, пожалуй, единственный.

— Не знаю.

— Вы согласитесь сниматься вместо охотника на фильм?

— А почему нет?

— Ну, и отлично, едем... Только, товарищ Вылка, не забудьте взять ружье и патроны. Я думаю, что ведь можно будет разок-другой выстрелить для фильма?

Вылка колебался.

— Ладно, можно, я так думаю, что один раз выстрелить можно.

— Может быть, и два раза можно?

— Я так думаю, што и два раза можно.

— Ну, вот и отлично, поехали.

Но тут снова возникло недоразумение. Вылка, повидимому, решил, что вина его в нарушении запрещения будет меньше, если он станет стрелять из чужого ружья.

— Я свой винтовка брать не стану.

— Ну, стреляйте из дробовки.

— Ты свою возьми.

— Из своей дробовки я и сам стрелять могу.

— Нет, тебе стрелять не можно. Запрещено.

— А вам можно?

— Мне можно.

— Ну, так берите и свою винтовку.

Вылка поколебался еще немного, но все же взял винтовку и один патрон.

— Товарищ Вылка, возьмите хоть обойму, что вы с одним патроном сделаете? Нам всегда может понадобится повторить сцену. Ведь нужно же, чтобы вы хорошо вышли на фильме.

Вылка полез в старую наволочку, где у него хранились патроны, и достал еще один.

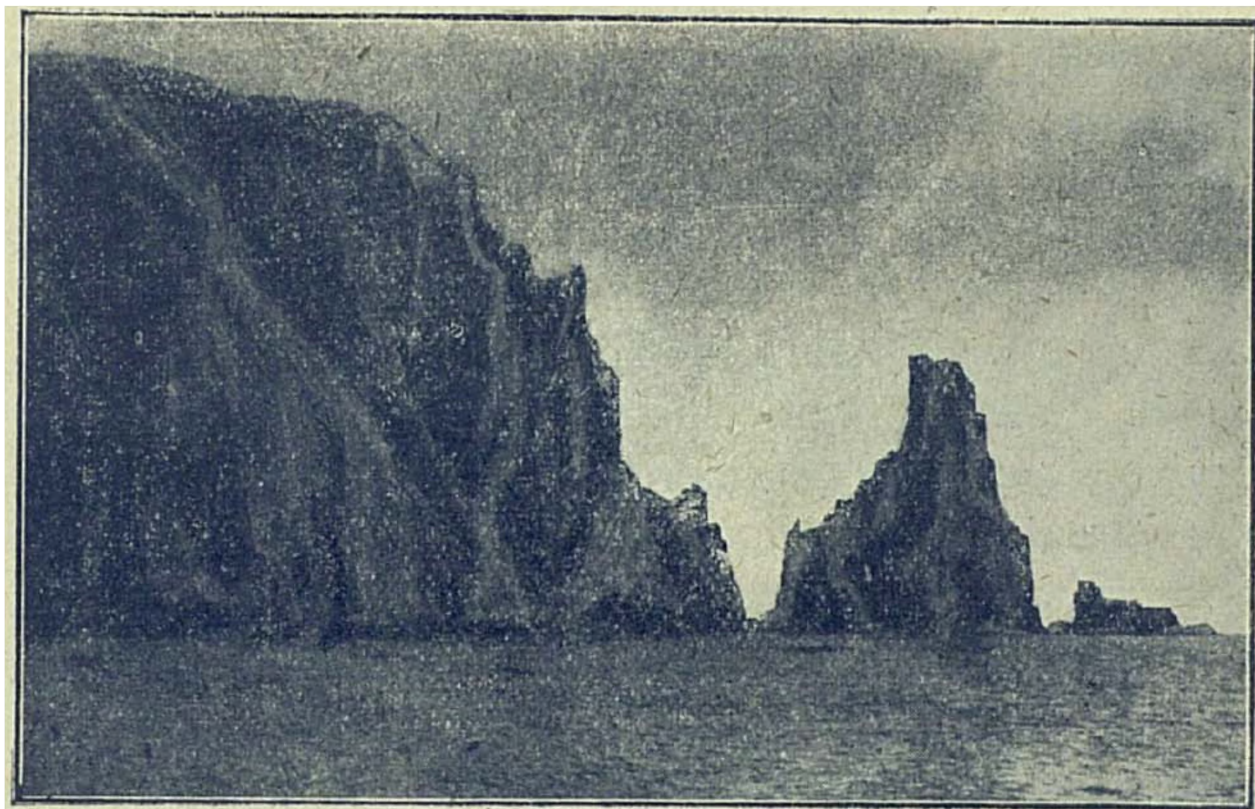
Понадобилось еще четверть часа торговли, чтобы убедить его взять третий патрон. До обоймы так и не до торговались.

Почти час нашу шлюпку кидало и швыряло с волны на волну, несмотря на то, что мы шли вдоль подветренной стороны острова. Весла гребцов то уходили в воду до самых уключин, то едва доставали самым кончиком лопатки до ушедшей далеко вниз пенистой воды. Фонтаны лились нам на спины. Черепанов сидел скрючившись на своих аппаратах, как курица на яйцах, стараясь защитить их от брызгов.

Долго идем вдоль нависших над яростными бурунами прибой отвесных скал. Высокие серые стены совершенно вертикально поднимаются из бурлящей воды. Вершины их, такие же голые и серые, как облизанное волнами подножие, упираются в тяжелое свинцовое небо. Пристать к острову решительно негде. Одна скала отделилась от острова широкой расселиной, доходящей до самого моря. Узкий пролив перерезал весь остров. Вода в проливе почти совершенно спокойна, и невольно является желание пристать именно здесь. Но пролив сжат такими же отвесными стенами, гладкими, без малейших выступов, какие ограничивают остров со всех сторон.

С наветренной стороны острова как будто выдаются в море узкие длинные гряды, к ним можно было бы пристать. Но стоило нам только выйти из-за защиты острова, как мы увидели всю безнадежность попытки высадиться на наветренной стороне. Прибой тут так необычайно силен, что от нашей шлюпки могли бы остаться мелкие щепки. Едва ли удалось бы кому-нибудь выскочить на остров.

Наконец на северо-восточной стороне Базарного мы увидели скалистый уступ, мощными ступенями спускающийся к воде. Благодаря образованной этим уступом косе, прибой здесь не так силен, и можно сделать попытку высадиться.



Скалы о. Базарного

Выбрав момент, когда шлюпку подбросило к самой скале, быстро один за другим мы перескакиваем на скользкий отрог скалы. Нужно успеть вытащить за собой и шлюпку, прежде чем следующей набежавшей волной ее ударит о камни. Под ногами скользкий, покрытый мокрой зеленью камень. Ноги разъезжаются, руки скользят по мокрому фаллиню. Но сознание, что, если через минуту шлюпка не будет рядом с нами, ее разобьет в дребезги, удесетеряет силы. Через мгновение фансбот уже лежит у наших ног в полной безопасности.

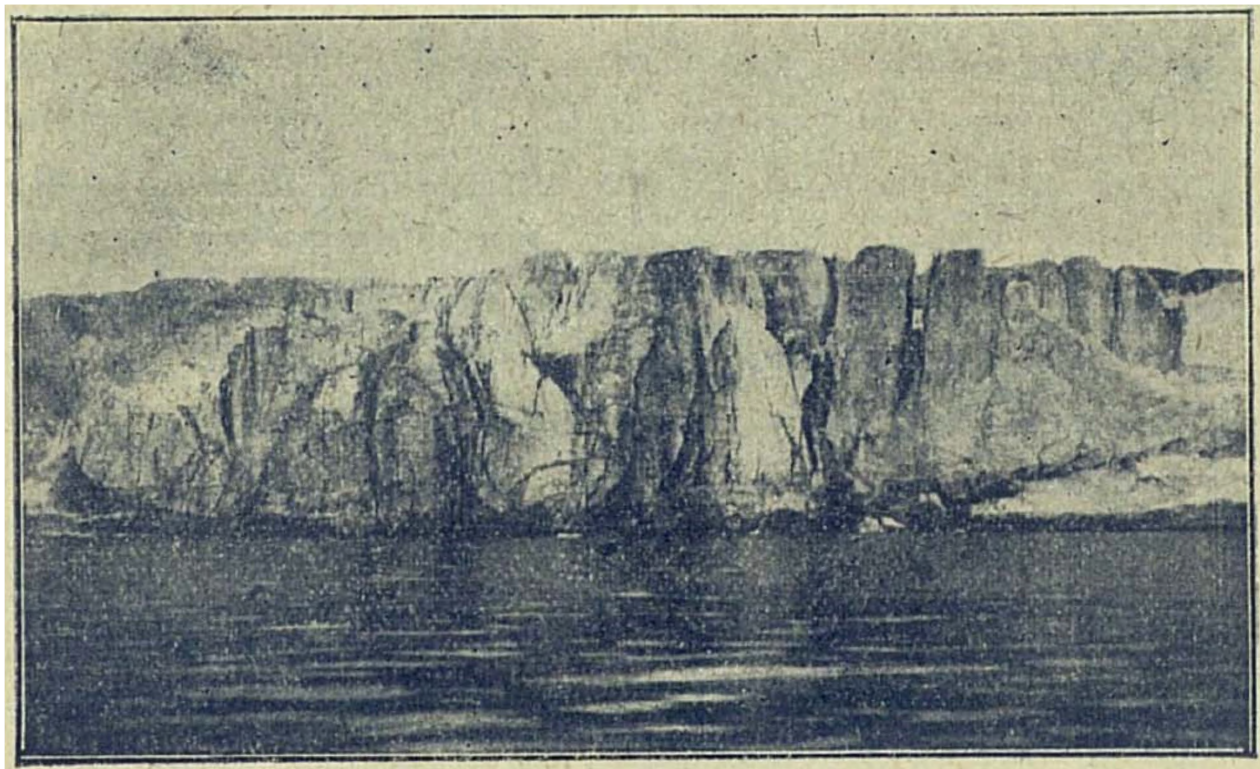
Только теперь я замечаю, на чем мы стоим. Под ногами пластами наложенный шифер. Слои тонки как картон. Направление слоев почти вертикально. Обитые острые края торчат как отточенные зубья пилы. Зубья врезаются в подошву. При малейшей неправильности движения ног кожа на сапогах задирается клочьями.

Терраска, на которой мы стоим, очень мала. В двух метрах от воды начинается обрывистая серая стена. Вся она состоит из таких же тонких слоев шифера — зазубренных, острых, впивающихся в пальцы при каждом прикосновении. А не дотрагиваться до них руками нельзя, потому что лезть приходится, цепляясь всеми четырьмя конечностями. Вдобавок шифер до последней степени выветрен и осыпается при каждом шаге. Мы сделали большую оплошность, не захватив с собой каната для подъема; без каната подниматься очень трудно, особенно с кинематографическими и фотографическими аппаратами.

Но стоило нам добраться до верхней террасы острова, как мы немедленно забыли все невзгоды восхождения. Плато представляет собой почти гладкую площадку, покрытую бледно-зеленым ковром мха и чахлах мелких лепестков. Мох лежит на острове тяжелым одеялом поверх тонкого слоя рыхлой серой земли. По краям обрывов мшистое одеяло свешивается над пропастью и сползает вниз под ногой, увлекая за собой целый дождь мелких камней. На эту огромную высоту волны прибоя не достают ни при каких обстоятельствах, а между тем порода здесь измельчена больше, чем внизу, около моря. Сколько веков должен работать ветер над расщеплением камня на эти тонкие рыхлые пластинки, ломающиеся в пальцах, как слоеный пирог

Отсюда видно на много миль. Остров, повидимому, является господствующей вершиной в этой части побережья, так как даже кармакульский берег виден довольно далеко вглубь.

Между нами и берегом, где-то бесконечно далеко затерялась наша шхунка. В бинокль видно, что она, как



О. Базарный

беленький пробковый поплавок, переваливается с бока на бок. То ее белый борт совершенно исчезает за круглым красным днищем, то, перевалившись через самое себя, шхуна показывает черную просмоленную палубу.

Первая терраса острова сравнительно невелика. Она оканчивается глубокой пропастью, отделяющей ее от следующей террасы. Пропасть, к счастью, настолько узка, что мы без труда перепрыгиваем через нее. Следующая терраса уже больше, и переход на третью пре-

гражден настолько широкой расселиной, что через нее не только нельзя перескочить, но и вообще без альпинистского снаряжения нет никакой возможности перебраться.

Из пропастей, разделяющих террасы острова, как из рупора, несется оглушительный гомон. В первый момент делается совершенно непонятным, что столь малое число птиц, какое видно в этих расселинах, может произвести столь отчаянный шум. В сумраке скалистых трещин сравнительно редко вкраплены белые точки, в которых можно определить прилепившихся к стене чаек и глупышей. Однако, приглядевшись, вы видим, в чем дело. Белые пятна—это птицы, сидящие так, что видно их белое брюшко. Большинство же их сидит так, что видны только темно-серые и черные спинки. Их в сумраке не сразу различишь, а оказывается — здесь буквально несметное множество птиц. Они сидят, уцепившись за едва заметные выступы скал. Тут же без всякого гнезда копошатся птенцы на расстоянии нескольких сантиметров от края пропасти.

Обойдя расщелину, мы отыскали на задней стороне острова узкую перемычку, соединяющую второе и третье плато. Тонким, как нож, гребешком эта перемычка тянется на несколько метров ниже верхнего края обрыва. Мы решили ею воспользоваться, чтобы дойти до конца острова. Однако это оказалось далеко не так просто. Края перемычки осыпаются при малейшем прикосновении. Падающие камни увлекают за собой другие, и при каждой попытке ступить на этот ненадежный мостик в темную бездну с грохотом летит целый дождь камней. Долго провозились мы над преодолением нескольких метров пространства, все время рискуя сва-

литься вниз, где, поднимая кинематографические каскады брызгов, бушует море.

Этот переход мы преодолели, передвигаясь по гребню верхом, но до конца острова все-таки не дошли, так как следующее плато оказалось отрезанным сплошной пропастью значительной ширины и без всяких перемычек.

Решили спуститься к берегу с наветренной стороны. При всей наружной легкости это оказалось еще труднее подъема. Если бы мы не нашли здесь длинной веревки, оставленной промышленниками, то, вероятно, так и не могли бы осуществить спуск.

Кармакульские промышленники посещают остров Базарный для сбора яиц и добычи птицы. Яйца гаг, кайр и гагар очень крупны и с успехом употребляются в пищу. На верхнем плато острова мы нашли несколько маленьких пещерок, вырытых в тонком пласте почвы и обложенных плитами шифера. В этих пещерках сборщики складывали остатки промысла. К сожалению, подавляющее большинство яиц оказалось уже испорченными, и нам удалось выбрать всего несколько штук, пригодных для того, чтобы передать нашему повару, дяде Володе, для приготовления теста на пирог.

Птицу промышленники добывают руками. Мы сами убедились в том, что это не представляет никаких трудностей. Птицы сидят совершенно спокойно, подпуская к себе на расстояние двух-трех шагов. Это вполне достаточно для того, чтобы накинуть на них сетку или просто ударить палкой. Именно последний способ промысла наиболее здесь распространен. Палкой бьют птицу не только на базарах, но и на воде. В августе-сентябре гаги, или, как их здесь называют, «тур-

паны», плавают огромными стаями. Поднять гурпанов с воды не легко, они охотно прячутся от человека, ныряя в воду, но не отрываясь от нее. Взлетают они только уже в самый последний момент, когда шлюпка буквально давит их. Это дает возможность добывать по несколько сотен штук в день на человека. Здесь гаг в пищу совершенно не употребляют — они идут на корм собакам. Для этой цели промышленники запасают гаг на зиму по несколько тысяч штук, и в августе можно видеть, что крыши изб сплошь, толстым слоем обложены битой птицей.

С успехом идет эта птица и в качестве привады для песцовых капканов.

Вся трудность промысла птицы на базарах сводится к тому, чтобы до нее добраться. Как правило, птица лепится на наиболее неприступных отвесных скалах.

При нашем приближении птицы почти совершенно не снимались с мест. Особенно трудно согнать с места тех самок, которые сидят около еще совсем маленьких, не умеющих летать птенцов. С такого места самочка взлетает только тогда, когда вы ее почти берете рукой. Без матери птенец при приближении протянутой руки начинает биться и при малейшем неосторожном движении падает вниз, превращаясь в мокрый красный блин.

Мы попали на базар как раз в тот период, когда шло деятельное обучение полетам молодого поколения. Молодые птицы очень неохотно бросаются в воздух вслед за старшими. Многие из них успевают пролететь вниз значительное расстояние, прежде чем расправляют крылья. Некоторые так и падают вниз на камни, не полетев. Вообще поверхность крыльев у гаг и гагарок

явно недостаточна для их массивного корпуса. Они с большим напряжением взлетают, если под ними нет запаса высоты, чтобы они могли просто броситься в воздух вниз. Это, между прочим, послужило причиной того, что Блувштейну долго не удавалось получить кадра «тучи птиц закрывают небо». Эти тучи вместо того, чтобы взлететь со скал и миллионами своих тел закрыть солнце и небо, при выстреле Вылки темной массой устремлялись вниз, к воде. Блувшгейн выходил из себя, кричал «отставить, повторить сцену», но пернатые артисты ничего не хотели знать и упорно камнем бросались к морю, стоило нам каким-нибудь способом спугнуть их с насиженных мест.

При всей своей кажущейся безобидности птицы очень злы. За неосторожную попытку взять гагарку голой рукой наш радист поплатился тем, что птица вцепилась ему сильным и крепким, как клещи, клювом в палец, да так и повисла на нем, не желая выпустить. Пойманные и натравленные друг на друга, птицы беспощадно бьют одна другую клювами. Если им удается сцепиться клюв с клювом так, что одна ущемляет челюсть другой, их невозможно растащить.

Немало времени ушло у нас на перетаскивание киноаппаратов по восточному склону острова. Люди падали, катились по сыпучему откосу, раздирая в клочья платье и кровяня руки. Черепанов героически ползал с остряка на остряк, судорожно вцепившись в ручку камеры. Устроив цепочку, мы передавали аппарат и штатив с рук на руки. Когда цепочка кончалась, верхние, обдирая штаны, сползали вниз и составляли новую цепь. Самое неприятное во всем этом предприятии—сознание, что если свалишься в расселину, то никто из спутников

не в состоянии даже будет помешать птицам немедленно сделать из тебя завтрак.

Был уже конец дня, когда мы начали спуск к тому месту, где оставили шлюпку. Лежа на животе на кромке каменной стены, можно далеко внизу видеть белую скорлупку нашего фансбота, окруженную зелеными, блестящими скалами. Повидимому, начался прилив, потому что пена прибоя уже заливает фансбот и ударами волн его корму поднимает на камнях. Нужно торопиться, если мы не хотим застать внизу кучу дров и оказаться отрезанными от шхуны, с которой не видно того места, где мы приставали к острову. Оставшись без сообщения с судном, мы были бы даже лишены возможности дать на него знать о себе.

На судне нас, повидимому, тоже заждались. Один за другим слышались со стороны шхуны слабые хлопки выстрелов. Вероятно, нас вызывали.

Ко времени нашего возвращения все уже было готово к снятию с якоря. Как только мы закончили дикую пляску вокруг шхуны и подняли фансбот на шлюпбалки, «Новая Земля» двинулась к открытому морю.

Выйдя из-под защиты островов, мы увидели, какой силы волнение разыгралось в открытом море. Наш бот кидает как бочку. Я долго пытался сделать запись в дневнике о посещении Базарного, да так и махнул рукой. Вместо букв выходили какие-то невообразимые каракули, и строчки расползались по всей странице.

Хуже всех, как всегда, пришлось из-за этой качки Черепанову. Несмотря на голод после целого дня лазания по скалам Базарного, он не нашел в себе силы приняться за ужин и немедленно отправился в кубрик. Когда, поужинав, я пришел его проведать, из-под

одеяла торчал только конец бледного носа. Бедняга едва нашел в себе силы попросить кислого чая.

Я добросовестно нацедил в камбузе большую кружку чая и вылил в нее половину пузырька клюквенного экстракта. Но мои лучшие намерения пропали даром. Пробраться на бак, сохранив в целости кружку чая, оказалось невозможным. Уже ко входу в кубрик в кружке было больше морской воды, чем кислого чая. Когда же я ступил на верхнюю ступеньку совершенно отвесного трапа, ведущего в кубрик, судно так качнуло, что я не удержался на ногах и вместе с кружкой полетел вперед. Не знаю, к счастью или к несчастью, но я не полетел в пространство кубрика, а заклинился между подволоком и бимсом, образующим над трапом нечто вроде арки. Все содержимое кружки с размаху выплеснулось прямо на головы сидящих вокруг кубричного стола заядлых игроков в домино, которым на этот раз пришлось бросить партию недоигранной и поспешить мне на помощь.

5. ПОМОРСКАЯ ГУБА

По мере того, как мы подвигаемся к северу, делается все свежее. Ветер, пропитанный туманом, пронизывает насквозь. Временами, когда туман пропадает, воздух становится кристально прозрачным. Скупые краски, лежащие к востоку от Новой Земли, кажутся яркими, почти до искусственности подчеркнутыми. Они делают изображение острова обманчиво близким.

Удаление к северу резко сказывается и на природе. Горы Новой Земли становятся с каждой милей внушительней по своим размерам. Их склоны, лишенные вся-

ких признаков растительности, по крайней мере, такой, которую можно видеть на расстоянии нескольких миль, приобретают суровый, даже мрачный характер. Серо-бурые скаты очень круты. Такой крутизны мне никогда не приходилось прежде видеть в горах. Несмотря на то, что на большом расстоянии склоны гор почти всегда кажутся более отлогими, чем они есть в действительности, об этих горах уже отсюда, с расстояния в десять миль, можно с уверенностью сказать, что восхождение на многие из них должно составить большие трудности. Некоторые пики кажутся и вовсе неприступными. В расщелинах, представляющих собой в большинстве случаев глубокие складки, белеет снег. Местами снег спускается почти к самому морю. Шапки большинства вершин покрыты не то снегом, не то льдом. Они лучатся ярко-розовым светом каждый раз, как из-за облаков выглядывает солнце.

Сегодня, после долгих дней тумана и затянутого свинцовыми тучами неба, мы впервые видим глубокую бледно-голубую чашу, разрисованную тонкими, зыбкими мазками перистых облаков. Солнце пользуется каждым просветом в редких облаках, чтобы облить нас блистающим золотым теплом.

Почти совсем перестало качать. Низкие пологие волны размеренно бегут нам навстречу под мягким давлением небольшого норд-оста. К тому времени, когда мы увидели вдали глубокий разлог, которым начинается пролив Маточкин Шар, волнение и вовсе улеглось. Мы вошли в пролив совершенно спокойной водой.

Протяжение пролива Маточкин Шар около 100 километров. Он разрезает Новую Землю на два основных острова, соединяя собою Баренцево и Карское моря

Крайними пунктами пролива являются мысы Столбовой на Баренцовой стороне и Выходной на Карской стороне. Маточкин Шар служит довольно надежным путем для судов, идущих из одного моря в другое, благодаря тому, что он освобождается ото льдов иногда ранее расположенного южнее пролива Карские Ворота и еще более южного Югорского Шара. Кроме того, извилистый и узкий Маточкин Шар очень хорошо укрыт от ветров и потому почти совершенно защищен от волнений.

Сейчас же у выхода пролива в Баренцево море лежит губа Поморская, широким полукругом врезающаяся в Южный остров. В глубине этой губы ютятся избушки промыслового становища Маточкин Шар. Расположение этого становища исключительно неудачно. Весь берег открыт действию ветров, дующих с Баренцова моря, и штормовая волна не имеет никаких преград на пути к строениям.

Когда мы в свете косых лучей яркого утреннего солнца подошли к становищу, навстречу нам раздались один за другим несколько приветственных залпов и, как на хорошем адмиральском учении, немедленно отвалил от берега моторный катер, принадлежащий местной артели. Артель в Поморской представляет интереснейший образчик совместной промысловой артельной работы русских колонистов и самоедов. Повидимому, действительно на всей Новой Земле организационная и политическая работа Госторга велась правильнее, чем на Колгуеве. Коллективизация промыслов, являющаяся жупелом для колгуевцев, у новоземельцев претворяется во вполне реальные и в основе здоровые формы.

Для работы на катере, управления им и ухода за двигателем в состав артели входит специальный человек — моторист. Среди русских членов артели этот моторист, кажется, единственный чужак — не помор, а тамбовский. Трудно позавидовать этому тамбовцу. Средств для поддержания катера в порядке почти никаких, а надобность в моторном судне огромная и повседневная. Много приходится делать чисто кустарным порядком из подручных материалов, поэтому катер имеет довольно своеобразный вид и конструкцию. Как и у всех подобных ему судов Новой Земли и Колгуева, большим местом катера является управление, собранное из каких-то велосипедных частей. Оно поминутно заедает, цепь рвется, болты выскакивают, особенно когда на руле оказывается кто-нибудь из мало подготовленных к этому делу членов артели.

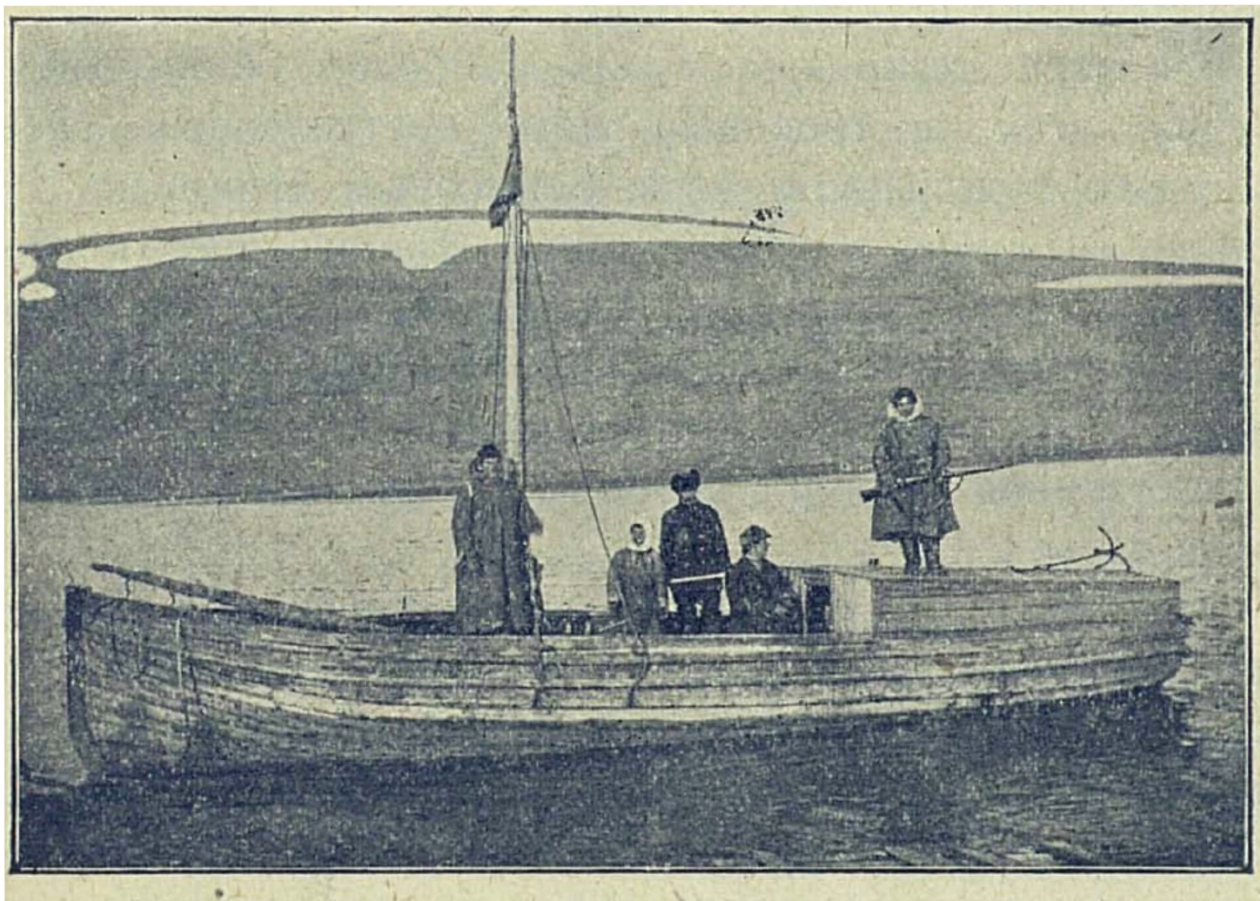
Пока мы шли на катере к берегу, управление успело дважды испортиться, и мы без руля крутились по губе в течение получаса, рискуя ежеминутно врезаться в береговые камни.

Подход к становищу отличный: всего каких-нибудь два метра остается прошлепать по воде, а если катер мало нагружен, то и того меньше.

Площадка, на которой расположены домики становища, поражает прежде всего тем, что она на протяжении целого километра великолепно вымощена крупным камнем. Мостовая так хороша, что главная улица Архангельска, несомненно, может ей позавидовать. На поверку оказывается, что мостовая эта естественная. Соорудило ее море: накатило на берег огромное количество камней, утрамбовало их прибоем и сгладило, как хороший каменотес. Растянутая вдоль берега полоса

мостовой, однако, не широка — не больше пятидесяти метров; за мостовой начинается полоса песка, представляющая собой дно озера, образующегося в период интенсивного таяния горных снегов.

Нас поразило, что в самой середине этого высохшего озера, так же как и по его краям, разбросано несколько



Катер артели в Поморской губе

совершенно разбитых карбасов и стрельных лодочек. Оказывается, за несколько дней до нашего прихода с моря налетел крепкий шторм. Сила ветра была так велика, что волны пережестывали через все становище. Подхватив лежавшие на берегу карбасы и стрельные лодки промышленников, вода перебросила их через становище в озеро, превратив при этом в груды истерзанных щепок. Промышленники ежеминутно ждали, что

та же участь постигнет их жилища, дрожавшие и скрипевшие под ударами ветра и воды. Для промышленников это было бы совершенно непоправимым бедствием, так как домов в становище всего три, все они переполнены, четвертое строение — бывшая часовенка — для жилья не годна и служит артели складом промыслового снаряжения и продовольствия.

В центре становища стоит наиболее обширный и лучше всех построенный дом, поставленный здесь когда-то художником А. А. Борисовым. Вероятно, это самое северное ателье в мире. Направляясь к этой полярной студии, мы были встречены несметной ордой дико лающих и беснующихся собак всех мастей и размеров. В большинстве это крупные и лохматые лайки — единственная порода, которую стоит здесь держать ради езды.

Приехавший с нами Тыко Вылка, оправив на себе неизменную кожаную безрукавку и зажав подмышку откуда-то взявшийся большой портфель — признак его председательского достоинства, — важно направился к крайнему дому, где помещалась контора артели. А мы, преодолев сопротивление собак, наскочивших на нас сплошной мохнатой стеной, протискались к борисовскому дому.

В этих краях, куда не каждый год заходит по два судна, от души рады каждому свежему человеку. Можно спокойно идти в дом к совершенно незнакомым людям, не боясь того, что, по русской пословице, вы, как не прошенный гость, окажетесь хуже татарина.

При входе в дом несколько дверей одна за другой открываются перед нами. За первыми сенями-тамбуром следуют вторые, внутренние сени. Здесь привыкли бе-

речь тепло. Его не приходится слишком щедро выпускать на волю, коли каждое полено на счету. Дрова ведь привозят из Архангельска.

Половину просторной светлой горницы занимает огромная русская печь. Около печи возятся две хозяйки — жены двух из живущих в этом доме промышленников.

В красном углу под образами виднеется темная груда подушек и одеял, наваленных на узкую койку. При нашем приближении груда одеял зашевелилась и с койки поднялся человек. Перед нами вырос во всем своем величии самый настоящий Зевс. Широкое, крепко сшитое тело, огромный рост. Большая голова с широкой кудрявой бородой и львиной гривой волос. Это старейший матшарский промышленник Князев. Болезнь приковала его к койке, но ради нашего приезда и он, покряхтывая, спустил ноги и сунул их в гигантские валенки.

Обе хозяйки хлопотали во-всю, и скоро на столе появились давно забытые нами яства: пышный белый пирог с гольцом, свежий белый хлеб, сухие, крепкие как камень баранки и малосольный голец, заменяющий здесь семгу.

Занимая нас разговором, хозяйки присели к столу. Бросаются в глаза истомленные бледные лица обеих женщин. Невольно спрашиваем:

— Очень трудно здесь жить?

— Первые две зимы было очень тяжело, а потом ничего.

— А без города не тоскуете?

— Опять-таки трудно было сначала, а потом ничего. Конечно, много легче, если изредка в город съездить,

ну, хотя раз в год. А только не всегда это возможно осуществить, потому что все в зависимости от парохода, а пароход нас не балует — не каждый год два раза зайдет. Но, между прочим, за делом скучать и не приходится. Ведь работы-то на нас приходится слава тебе господи, дай бог всякому.

— Многовато?

— Да, немало. Впрочем, и тут жаловаться не следует, потому очень понятно, что в зависимости от работы и достаток. Ведь не век же здесь вековать, а к отъезду чего поболее припасти всегда не мешает. Я вот в том годе в городе была, а сей год уже и не особо охота. Ведь у нас там, особливо в деревне, хуже нашего здешнего живут...

Тут хозяйку перебил сын Князева, Михайла, ражий плечистый парень лет восемнадцати.

— Ну, это вы уж напрасно насчет того, што в городе хуже здешнего.

Сосед Михайлы, молодой белобрысый промышленник стал поспешно дожевывать запихнутый в рот огромный кусок пирога, но, так и не дожевав, с полным ртом подержал Михайлу.

— Это верно, Михайла, конечно, правильно выразился. Рази есть возможность ставить вровень нашу здешнюю жись с городской и даже с деревенской. Им там все, а нам одно мучение и, главное, што во всем недостаток из-за прижиму терпим.

— Какого прижима?

— Вполне понятно, какого — госторговского. Разве это справедливость? С нас за все втридорога, а нам за все полцены. За песца первого сорта вон всего пятьдесят пять целкачей дают, а небось, сказывают,

сами их за границей по сто десять сбывают. Рази это правильно?.. Ну, а нам-то все подороже. Вот, к примеру, почему сейчас в городе мука-то идет?

— Ежели вас интересует твердая государственная цена, то я не сумею вам сказать, да это и не так интересно, потому что все равно мы в городе на норму сидим — фунт в день на брата хлеба получи и баста. А что касается спекулянтов базарных, то у них, кажется, рублей по сорок пуд идет.

Парень широко открыл глаза и поперхнулся пирогом.

— То-есть как же фунт?

— А так, фунт на день. А у вас сколько на человека полагается?

— У нас... вволю.

Окружающие засмеялись. Старик Князев поскреб бороду и отдельно бросил парню:

— Ты, Лешка, брось чепуху-то нести. У нас еще, видно, слава богу. Голодом не сидим.

— То-есть как это не сидим? Што хлеба вволю, так уже по-вашему и слава богу? А што Госторг по рублю на рупь на нашем горбу выбивает, это по-вашему тоже слава богу?

Я сделал попытку вступить за Госторг.

— Видите ли, товарищ, вы неправы. Госторг завозит вам сюда с большим трудом товары и отпускает их в конце-концов почти по тем же ценам, по каким мы получаем их у себя в городе. Как вы думаете, ради чего Госторг все это вам сюда везет? Ради того только, чтобы доставить вам возможность побольше чайку пить, чем мужику в России, да побольше сахару наваливать? Ведь и Госторг за те продукты, которые он получает от государства для вас, должен принести

государству какую-то реальную пользу. Такой пользой со стороны Госторга является предоставление в распоряжение государства твердой иностранной валюты, нужной нам для покупки за границей машин, идущих на оборудование строящейся советской промышленности. Ведь нельзя же требовать от Госторга, чтобы он платил вам дороже, чем он сам продает меха за границей, а ведь не мне вас учить, как трудно пушнину продать иностранцу. Небось, не раз нюхались с норвежскими контрабандистами насчет сбыта скрытой от Госторга пушнинки?.. Знаете, как он придирается к каждому пятнышку и какую цену дает...

Парень неуверенно промычал:

— У нас такого не бывает.

Князев сумрачно промолчал.

Нам не дали окончить разговора, в дверь почти неслышно вошел самоедин. Его присутствие я обнаружил по острой струе едкого запаха тюленьего жира, ударившей в нос. Самоедин потоптался на месте и не спеша протянул:

— Ты, Лекся, на контор ходи, присидатель кликал.

Васька сгреб меховую шапку самоедского покроя и, на ходу натягивая ее на голову, вышел. Князев кивнул ему вслед:

— Секретарь он у нас... артельный.

— А кто у вас председатель?

— Самоедин — председатель-то.

— Выбрали?

Князев помялся.

— Разве наши самоедина выберут?

— Ну, так как же он попал в председатели-то, этот самоедин?



Рыбачья артель

— Мода такая пошла, чтобы на острове все островное было. Ну, а раз островное, так, значит, должно быть и самоедское. Если бы мы не самоедина выбрали, то артели бы хуже работать было.

— Ну, а председатель-то как, ничего?

— Ничего, парень как парень. Из самоедов, конечно, посмышленей.

— А как вообще жизнь, как промысел? Вы сами давно здесь?

— Да, пожалуй, что давненько в общем-то. Вот уж сей год восемнадцать зим отсидел.

У меня даже дух захватило.

— Восемнадцать зим... И ни разу не выезжали?

— Нет, выезжал один раз; позапрошлый год в Архангельске бывал. Уж больно захворал тогда... И вот сей год опять, вероятно, ехать придется. Когда в городу-то был, доктор ишиас у меня признал, так, видно, лечение-то не очень помогло, сей год опять невоготу стало. Как малость простыну али просто на ветру, так просто ни встать ни сесть, хоть криком кричи.

— Да, болезнь это неприятная.

— Прескверная болезнь-то... Она у меня, видно давненько была. а только я все перемогался, думал, просто старость сказывается. Но, между прочим, нет, я еще крепкий... Вот все годы один здесь зимовал, а тот год сына привез. Вместе две зимы перезимовали с Михайлой-то. Привык парень маленько, а оставить его здесь как-будто и боязно, больно жизнь-то здесь тяжела. Ведь тоже, знаете, как затемняет, так иной раз обет даешь последний год отзимовать, а там и на родину. Ну, а как лето-то опять придет, глядишь, и обет тот позабыл и снова одну только зимовку пересидеть

закаиваешься. Промысел теперь, конечно, похуже стал, но все-таки жить можно. Нечего бога те гневить... прикопить-то, конечно, тоже кой-чего можно. Как сказать, плохо ли хорошо ли, тысяч на пять рублей промыслу за год сдашь, ну, забору тысячи на две покроешь, ну, на тысячу может, а может меньше, прочего расходу, Значит, тысячи две-то все очистится. Ежели кто не пьет, то, конечно, в этих местах поправиться может.

— А вы не пьете?

— Закаялся раз и навсегда с одного случая.

— С какого такого случая?

— Долго рассказывать.

— Ничего, время есть, расскажите.

— Да и рассказывать-то особенно нечего... Тогда еще артели-то у нас и в помине не было. Как-то раз в те годы было это, когда большевики на земле-то с белыми воевали. Ну, к нам, конечно, не заглядывали, не до нас тогда было. А нам-то от этого не легче. Жить нужно, есть нужно, одеженка нужна, ружья нужны, порох нужен, снасть промысловая нужна. Ну, конечно, греха не утаишь — с норвежцем мы тогда шибко нюхались. А правду-то сказавши, как было и не нюхаться. С русской-то земли ничего ведь не шло, а норвежец нам все предоставлял и по продовольствию и по снаряжению. И притом преотличного качества товары. Ну, понятное дело, и нам приходилось поработать на промыслу для того, чтобы было чего у норвежца-то менять. Рыбный промысел у нас, сами знаете, никакой. Насчет морского зверя дело, конечно, много лучше, но между прочим и это дело не так уж выгодно, потому оно много трудов требует на себя. Если год удачливый и зверя много, то, пожалуй, можно бы при сноровке вполне управиться

с одним тюленьим и моржовым промыслом, но работа нужна дружная, артельная. А тогда было не до артелей. Каждый сам за себя промышлял. И хорониться опять-таки приходилось, потому хотя власти никакой у нас и не было, а все-таки побаивались: а ну, как ненароком все-таки кто явится по закону промысел обирать. Ну, в общем работали в одиночку больше. Разве семейственно или своей компанией — человека по два, по три. Так вот и мы промышляли с одним зимовщиком, с Андреем Косых. Он в городе сейчас живет, может, знаете?

— Нет, не встречал.

— Ну, ин не так важно. А только сей Косых Андрюха парень был жохлый и до промыслу весьма лют. Они все с моим брательником младшим Санькой в угонку старались — кто кого больше добудет. Ну, морским-то зверем одним, конечно, не проживешь, и больше мы на песца нажимали. А только такой год тогда, помню, пришел, что песца точно повыбило. Сколько ни бились — нет его да и только. А как раз норвежцы заказывали песца первосортного, сколько ни будет, им приготовить и, по возможности, предоставить медведя. Ну, с песцом, видимо, дело срывалось, мы и порешили на медведя нажать...

Для этого случая двинулись мы на Карскую сторону. Там повыше Выходного мысу, что у самого Маточкина, губочка есть махонькая — Крынкина¹. Ну, так в той губочке медведь частенько бывал. А еще повыше и еще лучше по этому делу было, губа там, Чекина прозывается. Ну, мы так и шли: ежели не в той, так в другой, а уж медведей-то наверняка добудем. Саней с нами трое

¹ Повидимому, бухта Канкрина. *Авт.*

было и собак сорок штук. Путь-то туды льдом, прямо проливом. Льду набито—не сказать. Тороса наворочены. Итти тяжко. То и дело собакам через тороса сани подсоблять тащить приходится. Маяты этим путем примешь невесть сколько, пока до Карской-то стороны дойдешь. К концу третьих суток только к Выходному



На охоту

дошли. Две ночи в пути на проливе переспали. Палатка у нас норвежская была — очень хорошая палатка. Ежели примусом обогреть, то просто как дома на печи спишь. Никакая мятель не страшна...

Пока до Крынкиной губы дошли, погода портиться стала. Только добрались, а тут дай бог успеть палатку те расставить, пока штормом не сдернуло. Расставили, снежком закидали, а метелица-то уж в полном действии.

Крутит снегом, бьет по полотнищу как дробовыми зарядами. Собаки на палатку-то навалились. А от них через час одни бугорки только. Ночь переспали, а ветер не спадает, вьюга метет все, как и вчера. Снова залегли. Да так двое суток из палатки и носу не казали. Не видать конца шторму-то.. Меня уже опаска брать стала: ежели так просидим, провиант зря похарчим и без промыслу назад ворочаться придется. Ажно тоска забрала. И так-то в полдень темь стоит, а тут еще палатку снегом обвалило, что замуровало. И ветер-то орет так, точно все зверье с Новой Земли сошлось и об нас плачет. Худо стало. Тоска. Ну, не выдержали мы тут—маленько и дерябнули. Спирт норвежский, он вонючий да валкий. И не заметили, как сон-то свалил. Вдобавок в палатке тепло стало, как в землянке, от наваленного сверху снега. Разомлели...

И господь его ведает, сколько времени спали-то, а только, видимо, совсем маленько, потому что когда проснулся, голова у меня была что твой котелок—никакого соображения. А проснулся я оттого, что крыша палаточная на меня провалилась. И ровно весу-то в ней ничего, а давит так, что ни повернуться ни вздохнуть. Возня наверху какая-то идет — собаки дерутся. Да так при этом кувыркаются, что все у нас под полотнищем к дьяволовой матери полетело. Попытался я было на корачки встать — на себя навалившуюся палатку поднять, а только не вмоготу. В голове гудит, руки, ноги не совсем исправно меня слушают. И стало мне казаться, что как бы ерунда все это, и надо, мол, просто-напросто спать завалиться. Было я уже и опустился снова, как точно резануло меня по мозгам-то: слышу, кричит на воле Санька, брательник мой. Да так кричит, словно

пытает его кто. Из самой души вопит. И как ни был я пьян, а понял тут, что что-то нескладное приключилось на воле-то. Стал я Андрея расталкивать, а он без всякого понятия — мычит только и головой крутит. А палатка-то уже вовсе завалилась и дышать трудно стало. Плюнул я на Андрея и спиной что есть силы в палатку уперся. А она вдруг возьми да без всякого труда и подайся, я с размаху прямо в сугроб и вывернулся. А кругом уже никого нет. Только под откосом, что к берегу спускается, клубок какой-то ворочается, ажно снег столбом кружится. Оттуда и собачий лай идет. Но только, прежде чем я своими пьяными глазами-то разобрал, в чем дело, из самой кучи выстрел грянул. Тогда мне все ясно представилось: из свалки на задние лапы медведь поднялся и несколькими ударами лап собак расшвырял. Я и понял, что под медведем-то Санька...

За минуту до того в голове у меня точно в набат били и думать от пьяного звона тяжело было, а тут просветлел. Сдернул я полотнище палатки со всем, что на нем навалено было, с санями и снастью, чтобы винтовку взять. А пьяный Андрюха ворочается и мычит, винтовки обе под себя подмял и вцепился в них. Не минуты, каждый миг дорог, а Андрюха спяну лютеет, винтовки не дает. Озверел тут и я: Андрея чем-то, что под руку подвернулось, по голове хряснул. Винтовку схватил, а патронов в общей-то каше и не найти. Бросил я винтовку и как был кубарем прямо под откос. Знаете, как мальчишки с обрыва катаются, так и я очертя голову с обрыва качусь. Уже на пути только сообразил, что оружия у меня всего только что нож. Длинный нож от, английской работы, тоже у норвежцев куплен. Вот он...

Князев приподнялся и снял со стены массивный складной нож. Длинный крепкий клинок наполовину сточен. Он выкидывался из большого костяного черенка нажимом кнопки, на манер навахи.

— И тут как раз до самой свалки я и докатился. В кучу сбились наши собаки; которые, вцепившись в зад медведю, так и висят, которые в снегу, обрызганном кровью, тут же валяются. Гомон стоит, а только медведь не оборачивается, храпит.. И увидел я — из-под медведя Санькины пимы торчат. Толком-то я не очень помню, как и што было. Ножом я медведя под лопатку ударил. Но не дошел нож, што ли, а только медведь Саньку-то оставил и на меня переваливаться стал. Тут я его еще раз двинул, когда он уже меня было под себя совсем подмял. И получилось так, что Санька весь измятый недвижим лежит — ни рукой ни ногой шевельнуть не может и горлом кровь у него так и хлещет. А я все это вижу, но до Саньки дотянуться не могу, потому что на мне вся туша медвежья лежит. Пудов пятнадцать в нем было, а упору на снегу-то нет и сбросить его с себя я никак не могу. Точно обнял он меня перед тем, как сдохнуть. А может, просто спьяну я сил решил на половину. Ну, да одним словом, так мы и лежим. Санька весь в крови в аршине от меня, я под медведем. Тут Санька в себя пришел, простонал, меня увидел. Я пытаться его стал, как он так под медведя попал.

А дело-то такое оказалось: медведь, видимо, на нашу стоянку набрел, да палатки-то под снегом не разобрал. Собаки на него накинулись. Тут Санька и выскочил. Но только Саньке стрелять нельзя стало, потому медведь с собаками прямо на палатку насел и на нас с Ан-

дреем провалился. Санька забоялся, что нас кого повредит. Стал медведя обходить, чтобы к морю отрезать, да как-то оступился, што ли, и в снег глубоко провалился. А медведь в тот раз его и настиг. Санька с откоса-то скатился. Медведь с ним. А за ним вся свора. Тут Санька стрельнул в упор в медведя, да только подранил его. Ну, и оказался под зверем. Говорит, пока у палатки возился, нас с Андреем кликал. Да мы спяну не слышали, видимо...

И как сказал он мне это про сон-то наш, так лучше бы не то что ругал, а просто убил бы своими руками. До того совестно мне стало, что отвернулся от него. И страшно глядеть, как он кровь все на грудь себе сплевывает. Сознательность он тут потерял. Да так больше в себя и не приходил. Богу душу, видимо, и отдал. Как он хрипеть-то стал, я тут понял, что дело не шуточное, кое-как с надрывом из-под медведя вылез. Да ни к чему. Поздно... Мы Санькино тело так там и схоронили, в Крынкиной губе. Крестик из его лыж наладили, чтобы место отметить. А только, видимо, бураном крест тот свалило, либо весной со снегом снесло. Не нашли мы этого места весной... Саньке-то двадцать с малостью годков было и погиб он. Такое мое совестное покаяние на всю жизнь от моей выпивки. Коли бы не пьян был, непременно бы медведя без вреда взяли....

Князев широкой пятерней поскреб кудлатую голову.
— Ино вы упряжку мою поглядеть хотели. Выходите на двор, я сейчас спинжак накину да следом выйду.

Мы поблагодарили хозяев за чудный пирог и вышли на улицу.

Ослепительное солнце заливало губу. Снеговые вершины сгрудившихся вокруг становища гор казались

совсем голубыми. Они слились бы с бледным прозрачным куполом неба, если бы за каждую из них не цеплялся кудрявый клубок белого тумана.

На крыльце нас атаковала разношерстная стая ездовых собак. Среди них бросались в глаза местные уроженцы, особенно коренастые и пушистые. Прямо какие-то клубки жесткой, торчащей во все стороны серой шерсти.

Отбиваясь от собак, Блувштейн добрался до стоящего, прилепившись к князевскому дому, крошечного строения, кое-как сколоченного из сучковатых горбылей. Часть собак убежала на середину площадки и продолжала возню, но несколько штук с настороженным видом сели у самых дверей пристройки. Как только открылась дверь и Блувштейн не успел еще выйти на улицу, эти собаки сорвались и кинулись, сбивая его с ног, в пристройку, старательно уничтожая следы его пребывания в ней. Видя это, я не последовал примеру Блувштейна и постарался незаметно для собак уйти в сторонку от становища. Сначала мне это как-будто удалось. Но стоило мне только нагнуться к земле, как, откуда ни возьмись, вокруг меня немедленно, с видом терпеливого ожидания, расселось несколько мохнатых санитаров.

Пока мы вели разговоры с Князевым, в дальнем домике, где помещается контора артели и живет председатель, шло бурное собрание. Оказывается, артель выделила двух промышленников — старого кривого самодина Михайло Вылку и молодого Алексея Антипина — для поездки на промысел на Карскую сторону, в старое покинутое зимовье в бухте Брандта. А так как пройти туда из-за льдов, забивших пролив, на катере артели было мало надежды, то промышленники хотели восполь-



Рис. Василия Беляева. Самоеды Логеевы—брат и сестра: Мария—26 лет и Егор—20 лет.
Губа Долгая, о. Вайгач 1929 г.

зоваться «Новой Землей». Ей ничего не стоило забросить к Брандту двух человек со всеми их запасами и снаряжением. Но в последний момент, когда нужно уже было грузить пожитки на катер, Антипин стал тянуть какую-то волюнку. Сперва он заявил, что у него нет хорошей малицы. Малицу ему немедленно предоставили. Тогда выяснилось, что его винтовка никуда не годится. Винтовку ему нашли. Но одна «германка» Антипина не удовлетворяла, и он потребовал еще Ремингтон... Когда ему дали и Ремингтон, оказалось, что вся задержка, в сущности, в том, что он, Антипин, секретарь артели и не может, мол, уехать, не сдав дела новому секретарю. А нового-то секретаря артель выбрать не удосужилась. Споры и крики в избе шли уже в течение двух часов, пока за дело не взялся, со всей полнотой новоземельской высшей власти, сам Тыко Вылка. Он положил на стол портфель, расстегнул кожаную безрукавку, выставил грудь, унизанную бесконечным множеством значков и жетонов советских общественных организаций от Всекохотсоюза до Мопра, и объявил себя председателем собрания.

— Ты, Игнат, председатель артели?

Из круга сидящих на корточках по стене самоедов приподнялся бородатый самоедин.

— Я приситатиль.

— Говори нам, Игнат, кто должен на Бранта ехать?

— Артель собирала Вылку кривого и Лексю.

— Есть кто новый секретарь заместо Лекси?

— Собирать артель мозет.

— Ну, собирайте кого думаете.

Снова поднялся гомон без всякой надежды на удовлетворительные результаты.

Вылка решил вопрос:

— Ну, вот чиво я вам скажу. Сичас не надо нового секретаря, выберете когда их на Бранта справите. Согласны?

— Почему не согласны. Артель всегда согласна.

Вылка поерошил свои моржовые усы и сказал Антипину:

— Ну, Лексей, пиши протокол.

Но Лексей взъелся.

— Чего я тебе писать буду, коли я не секретарь больше. Пиши сам.

Однако Вылка решил настоять на своем.

— Мне, Лексей, ни к чему протоколы писать, я председатель и могу секретаря заставить писать. Садись — пиши.

Это было сказано настолько внушительно, что Антипин молча уселся и написал свой последний протокол.

На поверку оказалось, что вся свара-то загорелась из-за того, что к Антипину, молодому, белобрысому парню, с которым мы поспорили давеча у Князева, недавно приехала молодая жена, и ему не хотелось уезжать сейчас на Карскую сторону. Отказаться от выбора артели тоже не хотелось, так как сейчас Госторг повел чистку артелей и без всякого стеснения вывозит с острова всех, кто оказывается мало пригодным для промыслов или манкирует работой в артелях.

Пока Антипин насупившись собирал свои пожитки, все самоеды и русские промышленники дружно таскали из склада к берегу вороха досок, кули с сухарями, мешки вяленой рыбы, чай, сахар и прочее снаряжение для уезжающих товарищей. Шла отборка для них лучших собак. А мы знакомились с отменной упряжкой Князева. Несмотря на болезнь, он довольно лихо го-

нялся за удирающими во все лопатки при виде сбруи и санок псами. После долгой суетни и криков пятнадцать собак были установлены в ряд. На плечи им накинули шлейки, Князев взял в руки длинный хорей, немногим более короткий, чем употребляемый при езде на оленях. При звуке «пррр» собаки бросились во всю прыть, и Князев с размаху уселся на помчавшиеся сани. Только полозья заскрипели о камни да задымился у далекого озера песок. Лихо завернув на полном скаку, Князев тем же аллюром понесся обратно и через минуту был рядом с нами. Вся упряжка, как по команде, легла. Бока собак тяжело ходили. Езда на санях по камням и песку — нечто еще более допотопное, чем тундровая езда на оленьих нартах. В то время как зимою на десяти собаках можно совершенно легко и с большой скоростью ехать самому и иметь при себе еще некоторый груз, летом пятнадцать-шестнадцать собак с трудом тянут одного человека и, конечно, не так быстро. Однако других способов передвижения на Новой Земле нет, и именно таким образом промышленники совершают огромные переезды. Незадолго до нашего прибытия один из членов Матшарской артели «съездил» на радиостанцию подать телеграмму, а некий самоедин, застрявший вдалеке от своей зимовки без продовольствия, приехал за сто километров занять муки и соли.

Несмотря на постоянное общение с русскими, местные самоеды все-таки остаются довольно застенчивыми в обращении с приезжими и немногим отличаются от своих колгуевских собратьев. Когда я пришел в крайнюю западную избу становища, занятую исключительно самоедами, женщины вышли в другую комнату, и меня обступила толпа ребятишек. Грязь покрывает их лица,

как индейская татуировка, и делает невозможным распознать черты или отличить девочку от мальчика. И от взрослых и от ребят исходит удушающий запах. Происхождение его разобрать трудно. Невообразимая смесь пота и моржового или тюленьего жира ударила в нос.

По стенам с двух противоположных сторон устроены нары. Здесь спят две семьи от дедов до внуков. Все три поколения на одних нарах. Дома сидят, не раздеваясь, все в тех же засаленных и грязных малицах.

Среди этой обстановки я увидел вдруг совершенно неожиданный оазис культуры — фотографическую лабораторию. В углу пристроена полочка с красным фонарем и двумя старыми кюветками. Несколько баночек из-под химикалий. Владелец этого необычного для самоедского обихода имущества — пожилой самоедин Илья Вылка, заметив, что я заинтересовался его фотографическими принадлежностями, вытащил откуда-то из тряпья свой фотографический аппарат. Камера оказалась совершенно допотопной конструкции, но, повидимому, составляла гордость самого Вылки и всей его семьи. Несколько молодых самоедов — родных и двоюродных братьев Ильи обступили меня и стали наперебой восхвалять качества аппарата. Оказывается, аппарат и принадлежности в незапамятные времена подарил Вылке какой-то профессор из экспедиции, посетившей Поморскую губу.

Мой интерес к фотографу сильно упал, когда в горницу вошел тот самый самоедин, что собирался уходить с Антиповым на Карскую сторону — Михайла Вылка. Михайла славится по всей Новой Земле и даже далеко за ее пределами как искусный резчик по кости. Трудно связать эту славу с внешним обликом художника — весь



На зимній промисел

перекошенный, нескладный, одноглазый. Кожа на лице широкими складками свисает, как у прокаженного. Длинные неуклюжие руки чуть не до колен. Настоящий Квазимодо. Кисти рук массивны, грубы, с широкими плоскими пальцами. Трудно себе представить, чтобы в этих руках, в этих заскорузлых, неуклюжих пальцах мог удержаться тонкий инструмент резчика.

Вдобавок ко всем физическим недостаткам Михайлы у него, повидимому, нехватает многих зубов, так как во рту, когда он говорит, какая-то каша вместо слов.

— Здравствуй, Михайла.

— Здлаву.

— Ты, Михайла, говорят, здорово из моржевой кости вещи режешь?

— Какой долова, лезем помалу.

— Покажи что-нибудь.

— Нецива казать, нет ницаво.

— Почему же ничего нет? Продал все, что ли?

— Какой плодал!

— Раздарил?

— Какой лаздалил!

— Ну, так что ж тогда, куда девал свои работы-то?

— Обилал лаботы.

— Кто обирал?

— Кто обилал... Сидельник обилал.

Повидимому, опять тот же Синельников.

— Как взял, на время или купил?

— Бис тенег зял, сасем зял.

Михайла сумрачно отвернулся и не стал больше говорить. Какой-то молодой самоедин объяснил мне, что незадолго до нас в Поморскую приехал Синельников и для выставки взял у Вылки все его работы.

В конце-концов из всех разнообразных работ Михайлы Вылки в избе нашлись только ручка для охотничьего ножа, изображающая голову белого медведя, и маленькая, дюйма в два длиной, фигурка медведя. Ручка сделана просто замечательно. Линия медвежьей головы и удивительно естественная посадка шеи прекрасно переданы художником. Технически работа выполнена отлично. Кость великолепно отполирована. Детали сделаны очень тонко и чисто. Наиболее удивительно, что все это производится самыми примитивными средствами. Единственные инструменты, доступные резчику Вылке, промысловый нож и напильник для



Песец в капкане

правки пилы. Нет сомнения, что если бы этого Вылку поставить в надлежащие условия, он мог бы делать изумительные вещи.

— Ты, Михайла, все можешь резать? И зверей и людей?

— Сё.

— И голову человека можешь сделать?

— Мозна. Сей год один парень сказывал мне Ленина давать будя, — я Ленина делать буду.

Нас прервали. В горницу прибежал мальчишка самоед и что-то залопотал. Со двора донесся зов:

— Михайла. собирайся, — двигаться пора.

6. МАТОЧКИН ШАР

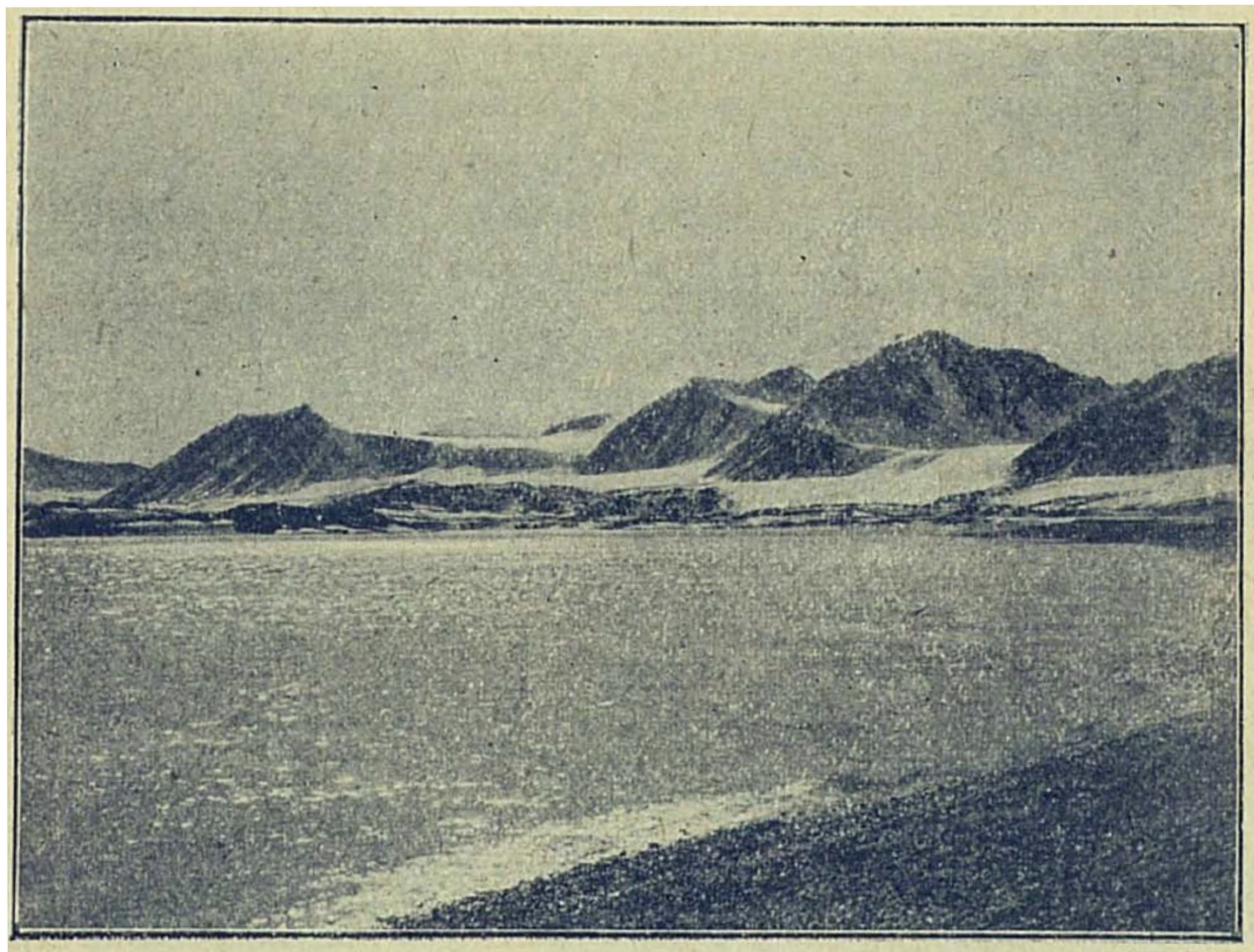
Из-под форштевня плавно разбегаются в стороны две рябенькие полоски. Не смыкаясь с пенистым следом, остающимся у бота за кормой, эти полоски исчезают, сливаясь вдали с гладью темной воды. Мы идем самой серединой пролива Маточкин Шар. По обе стороны в нескольких милях крутыми серыми стенами поднимаются из темной воды прибрежные горы. Низкое, багрово-красное солнце, как сквозь резной бордюр, пылает через сверкающие розовым снегом острые вершины. В сторону Южного острова вершины эти уходят все понижающейся вереницей, пореходя в цепи пологих холмов. На Северном же — чем дальше, тем круче делаются склоны и выше поднимаются снежные шапки.

По мостику разгуливает Андрей Васильевич, самодовольно поглядывая на берега.

— А ну-ка, скажите, где вы еще такой эффект получите? Ведь впечатление-то, впечатление какое...

Михеев говорит таким тоном, точно перед нами простираются красоты, созданные им, Михеевым, своими руками или он, по крайней мере, хозяин этих нагроможденных друг на друга снежных вершин и струящейся между ними в стремительном течении прозрачной массы воды. Впрочем, это чувство хозяина при разговоре о красотах северных земель можно заметить в речах

большинства из тех, кто проводит здесь много времени. Любовь к этим местам, к их необычайно спокойной красоте, подавляющей своей величавой дикостью, вселяет в энтузиастов севера какое-то чувство нераздельной



Берег Новой Земли

собственности над необозримыми полярными просторами.

Гордиться есть чем. Едва ли здесь менее красиво, чем на прославленных по всему миру и воспетых величайшими художниками слова норвежских фьордах. Правда, здесь нет ярких зеленых склонов и тонущих в них крошечных беленьких домиков с красно-синим полотнищем неизменного флага, треплющимся на высоком, как мачта, флагштоке, какие украшают берега фьордов

южной Норвегии. Здесь нет сочных пятен светло-зеленых лугов и пенистых ниточек водопадов, разнообразящих величественные виды северной Норвегии. Но ни в южных ни в северных фьордах нельзя увидеть такого подавляющего величия суровой природы, таких неприступных в холодном сиянии гор.

Постукивая Болиндером, «Новая Земля» быстро идет проливом, то разливающимся в широкое озеро, то сходящимся в узкий быстрый поток, сжатый отвесными стенами берегов.

Попутное течение подгоняет нас так, что лаг накрутил за первый час нашего пути в проливе одиннадцать миль. Это небывалая скорость для нашего ледового бочонка.

Капитан не уставая расхаживает по мостику. Мне надоело слушать его восторженные восхваления Матшарских красот, и я устроился в самом уютном месте спардека — между рубашкой дымовой трубы и стенкой штурманской рубки. Здесь тепло от выхлопных газов, и рубашка защищает от встречного ветра. Временами, когда порыв ветра, изловчившись, захлестывает за рубку, острый холодок прохватывает до костей, поддувая под подол широкой малицы. Где-то внизу на баке воет собака и доносится монотонный неразборчивый говор кривого Вылки. Его собеседника не слышно.

Вылка говорит один, временами его слова прерываются каким-то бульканьем, точно Вылка всхлипывает.

— Сюсай, длуг ли ты мне, аль ни длуг?.. Я сто казал — дай водка. Ты дал ли, ни дал ли?.. Ни дал — манил... ай, не хороса. Я циловек ли, нет ли, как думаес? Я так думāju — циловек. Тогда зацем манил мне. зацем



Берега пролива Маточкин Шар

водка мала давал... Ты дума́ес, я пьяная? нет я пьяная... ни длуг ты мене, коли думаес, я пьяная...

Тут, наконец, собеседник Вылки подал голос:

— Иди к чертям, Михайла; сказал: завтра угощу еще, а сейчас иди спать.

— Какой спать, не стану я спать, а водка нада.

Вылка забубнил все сначала. Потом его шатающаяся нескладная фигура показалась на баке. Покачнувшись, он наступил на спящую собаку; собака вскинулась и завывала. Вылка схватил ее за загривок и стал злобно бить. Он бил ее кулаком и ногой. Собака источно визжала. А рядом с Вылкой, не обращая на него никакого внимания, стоял Алексей Антипин. Достав из чехла большую подзорную трубу, Антипин старательно пристроил ее к борту, наводя на узкий разлог губы, славящейся большим количеством белухи.

Вилке надоело бить собаку, и, нагнувшись к борту рядом с Антипиным, он стал ему что-то гнусавить своим неразборчивым говором. Антипин зло матюкнулся. Вылка сел прямо на грязную, скользкую от собачьих нечистот палубу. Он громко, пьяно всхлипывал, и из его единственного глаза катились крупные слезы.

Мимо меня, не замечая меня за трубой, прошла длинная сутулая тень, направляясь к матросскому кубрику.

— Ramona, du bist...

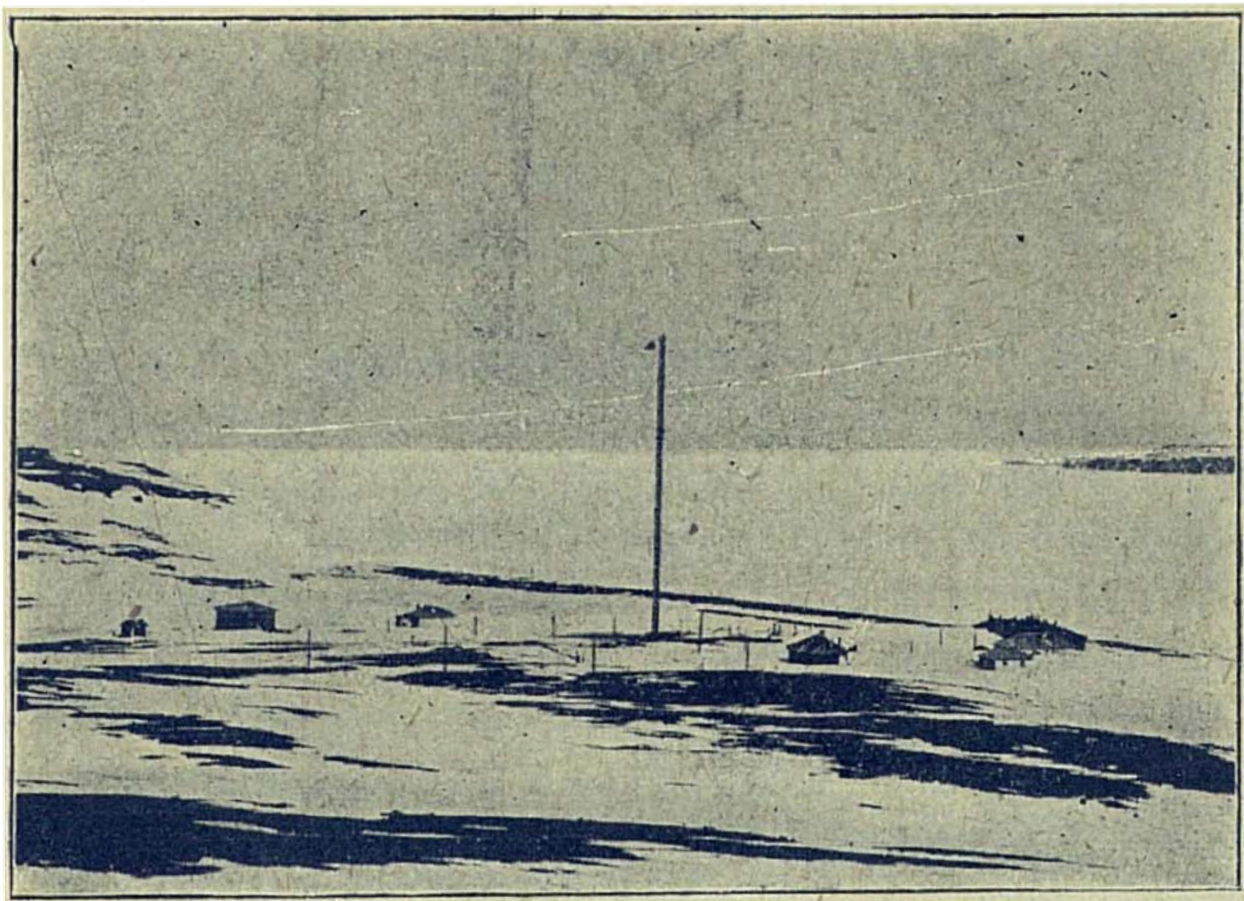
Тень остановилась у трапа в кубрик, и послышалось повелительное в нос:

— Толлля!.. Опять спит, чорт его побери.

Совершенно неожиданно за моей спиной послышалось кряхтенье и высунулась борода Черепанова. Оказывается, он все время сидел у меня за спиной. Черепанов потянулся, сбросил с головы капюшон малицы,

— Барон гневаются! — добродушно пробурчал Черепанов и не спеша побрел вниз.

Вдали на востоке блестит темная полоса Карского моря. На левом берегу, у самого конца пролива, к пологому склону горы прилепились серые, едва отличимые



Постоянная полярная геофизическая обсерватория Маточкин Шар

от общего фона постройки. За ними остро упирается в небо тонкая игла радиомачты. Это постоянная полярная геофизическая обсерватория Маточкин Шар. Самая северная обсерватория в мире.

Михеев подошел в рубке штурвального.

— Лево руля!

— Есть лево руля.

— Еще лево!

— Есть еще лево.

Бот совсем повернулся к северному берегу пролива. На носу появилась фигура вахтенного матроса с лотом в руках. Началась перекличка между мостиком и баком. Через десять минут боцман загромыхал брашпилем, стравливая якорный канат. Мы стали прямо против обсерватории. Невдалеке чернеет отчетливый и стройный силуэт «Таймыра».

7. ППГО: МАТШАР

Ясным солнечным утром 19 августа мы сели в фансбот. Капитан бесконечно прихорашивался в каюте, и сквозь открытый настеж кап было слышно, как он отбредивался от нашего поторапливания.

Нагнувшись за борт фансбота вплотную к воде, я оторопел от неожиданности представившейся мне картины: совершенно отчетливо, как сквозь волнистое зеленое стекло, был виден ахтерштевень с рулем и винтом. И далеко под ним виднелось каменистое дно пролива, мертвое, неподвижное, с отчетливо пестрящими разноцветными камешками. Ни одной звезды, ни медузы, ни рыбы. Никакой жизни.

— Модест Арсеньевич, на какой глубине мы стоим?

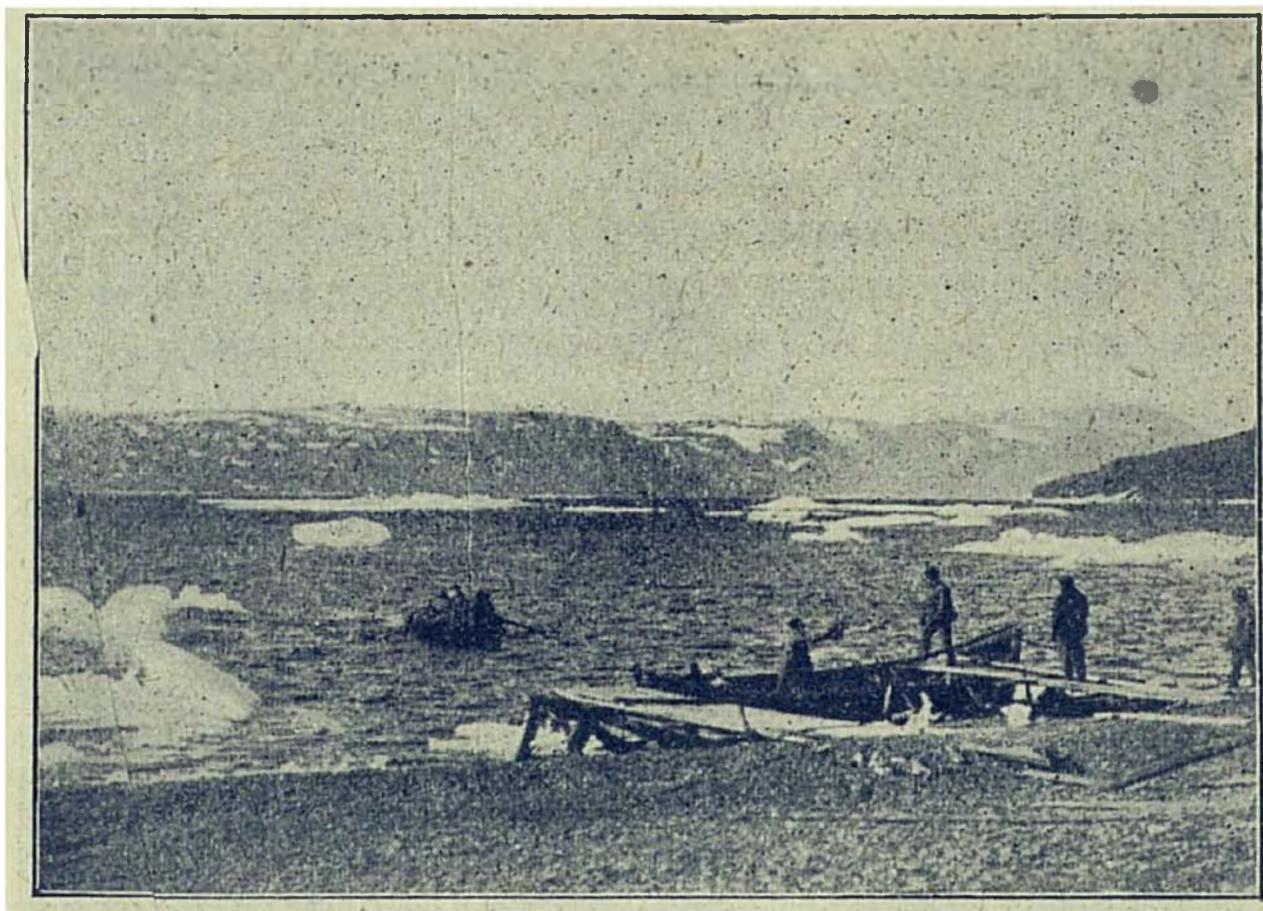
— Сорок футов.

Прозрачнее самого прозрачного стекла. Наблюдать это можно только на далеком севере, и то не везде. И только здесь можно видеть такую безжизненность водного пространства. Никаких организмов, не говоря уже о рыбах.

Наконец, сопя как паровоз, Андрей Васильевич слез к нам в шлюпку. Скоро над нашими головами проплыла

высокая черная корма «Таймыра». Надраенная медь слазьянской вязи ярко горела на солнце. С кормы коренастый седой человек в синей робе и военной морской фуражке помахал рукой:

— Андрею Васильевичу!



„Пристань“ обсерватории

Андрей Васильевич привстал и почтительно сдернул меховую шапку.

— Александру Андреевичу почтение!

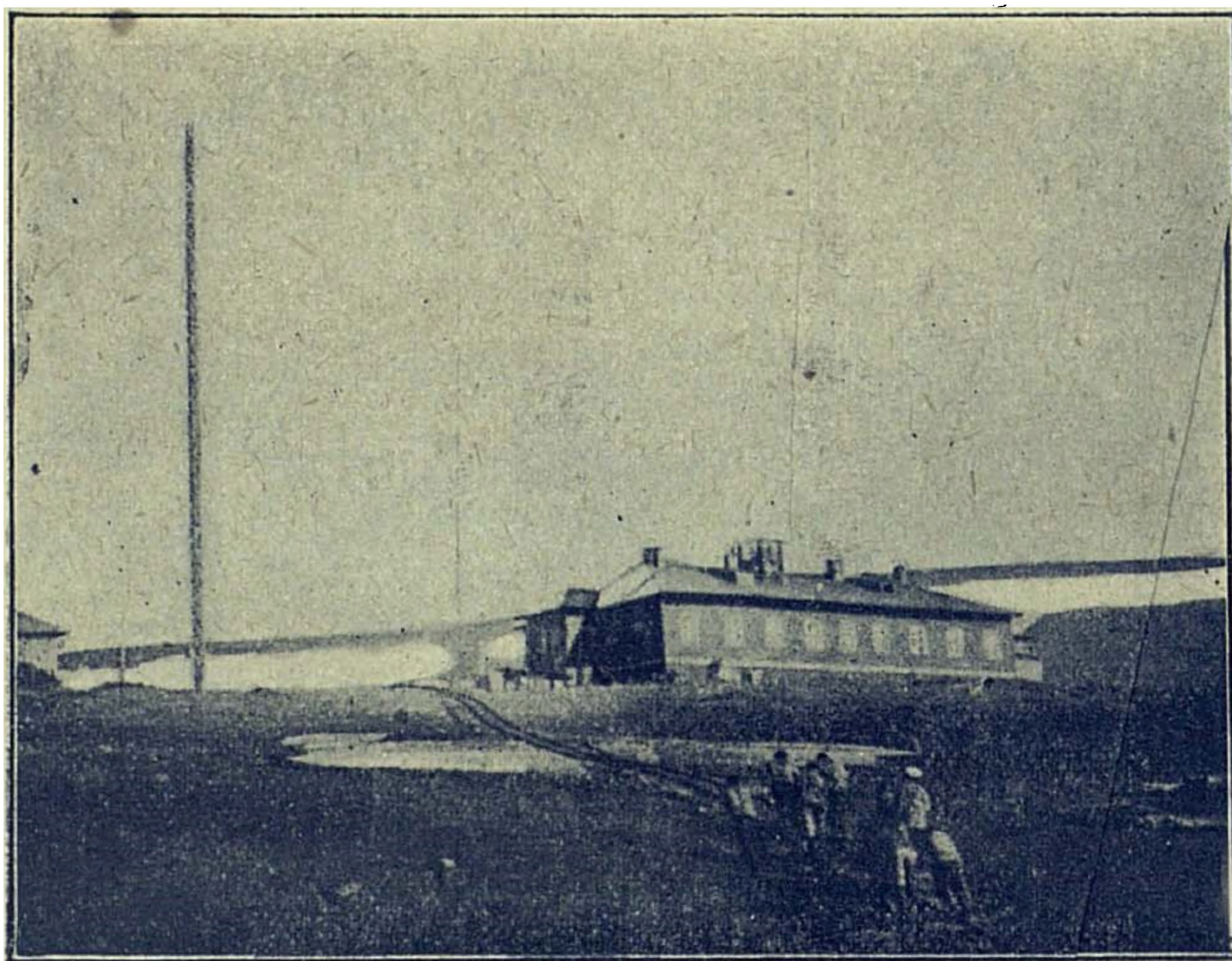
И, обернувшись к нам:

— Придик, Александр Андреевич. Один из наших стариков. С боцманов царского флота дошел вот до какого корабля.

На палубе «Таймыра» грохотали лебедки. У высокого борта сгрудились карбасы под нагрузку. Из-под носа

«Таймыра» вынырнул sereneкий моторный катерок и, немилосердно пеня воду, помчался к берегу, оставив нас далеко за собой.

Через десять минут и у нас под килем зашуршала галька. Берег здесь очень приглубый, и гребные суда могут подходить к нему совсем вплотную.

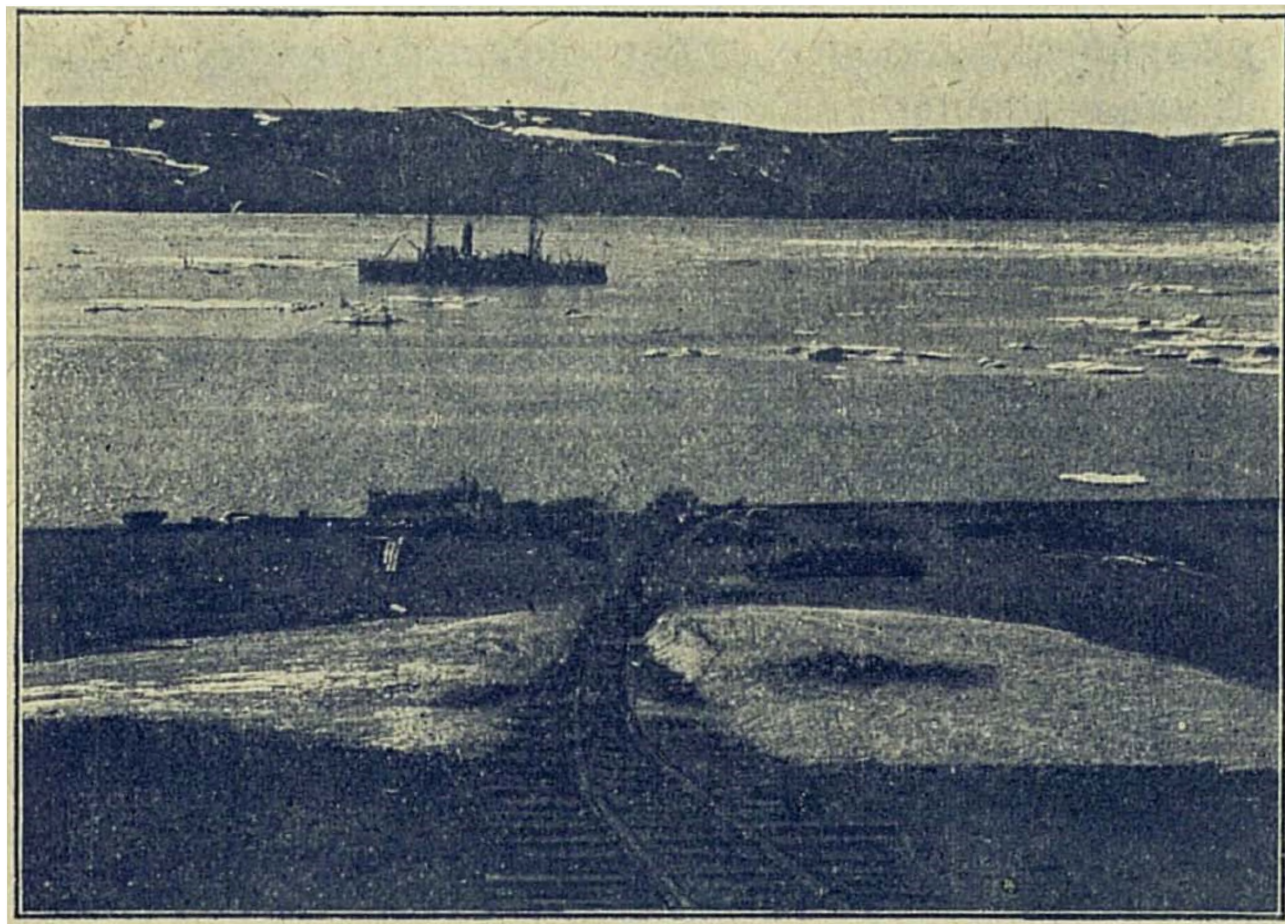


Главный дом обсерватории

На берегу целая кутерьма. Время от времени к примитивной пристани-плотику подходят карбасы с «Таймыра».

Люди в новых брезентовых рабочих костюмах принимаются поднимать на высокий откос берега вываливаемые из карбасов грузы.

Люди в брезенте работают неумелѡ, с надрывом. Много суетятся, много шумят. Они выбиваются из сил над тяжелыми бочками и кулями. Это только вчера прибывшая на постоянную Полярную геофизическую об-



Узкоколейка для подъема грузов

серваторию (ППГО) смена, вместо старого персонала, просидевшего здесь свой год.

На новых, непривычных людей — геофизиков, магнитологов, радистов, механиков — первым полярным приветствием обрушивается разгрузка.

Для облегчения подъема грузов на высокий береговой откос, где стоят постройки обсерватории, по склону горы проложены узкоколейные рельсики. Теоретически предполагается, что поднимать по этим рельсикам ваго-

нетки должна лошадь. И лошадь для этого каждый год привозится из Архангельска, но тащить вагонетки ей не под силу. Исполнив кое-как свою миссию по содействию разгрузке, эта лошадь гораздо больше преуспевает на втором своем поприще к концу зимы, когда для поддержания сил ездовых собак обсерватории нужно свежее мясо: лошадь служит им пищей. Вагонетку же приходится таскать людям самим. Впрягшись в ляжки, они кряхтя тянут ее вверх. Изредка кто-нибудь из них отскочит в сторону, схватит полено и положит его под колесо вагонетки. Тогда все остальные с облегчением вздыхают и вытирают мокрые лбы.

Такова участь каждой новой смены персонала, прибывающей на обсерваторию: начинать с разгрузки того, чем ей предстоит жить год зимовки. На гору нужно поднять в общей сложности до 400 тонн разных грузов. Одного жидкого топлива для радиостанции 45 тонн, да дров для обогрева и кухни 300 кубических метров, да продовольствие, да снаряжение, приборы, разные материалы. Единственный груз, который не нужно поднимать, — он всходит сам, — это две свиньи и корова.

Старой смене, перезимовавшей свой год на обсерватории, уже не приходится иметь дело с погрузкой — она отработала свое в прошлом году, но и у нее дела по горло. Приходится доделывать всякие запущенные хвосты, чтобы сдать все дела новой смене в полном «ажуре». На ряду с этим приходится вести и все повседневные работы, пока они еще не переложены на новых зимовщиков: радисты несут радиовахты, магнитолог просиживает часы в своих павильонах, геофизики по несколько раз в день ведут метеорологические, гидрологические и гидрометрические наблюдения, повар особенно

усиленно стучит на кухне ножами—приходится готовить на двойное число ртов, причем у новой смены от непривычной физической работы аппетит разгорается вдвое.

Столовая в часы обеда служит местом сбора обеих смен. Она помещается в жилом доме обсерватории, там же, где находятся и комнаты всего персонала. Нельзя сказать, чтобы этот дом отличался новизной и большой



Зимовщики поднимают грузы к обсерватории

благоустроенностью. Не говоря уже о том, что он вовсе не приспособлен по своему устройству для полярной зимовки, судя по рассказам, он и не ремонтировался неведь сколько времени.

Прямо с высокого крыльца я попал в длинный прокопченный коридор с выходящим в него бесконечным рядом дверей—это жилые комнаты. Из-за отсутствия естественного света коридор, освещаемый двумя тусклыми лампочками, кажется еще более мрачным и неудобным. В конце коридора выходят в него двери кухни и столовой,

При осмотре столовой трудно даже поверить, чтобы в наши дни организация, посылающая зимовщиков на полярную обсерваторию, могла проявить так мало заботы об этих людях, забрасываемых на целый год в суровую полярную ночь, в совершенно непривычные для них, гнетущие условия и одиночество. Каждый стул в столовой, каждый клочок стен кричат об усилиях, какие прилагали сами зимовщики, чтобы в этой грязной, облезлой казарме создать подобие уюта. Колченогий продранный диван заботливо сколочен и, повидимому, не раз, неумелыми руками. Ни на одно из кресел нельзя сесть без риска оказаться на полу. Единственный предмет развлечения — пианино — облуплено и из черного стало серым. Потертость стен не бросается сразу в глаза только благодаря закрывающим их почти во всю ширину огромным полотнищам «Сполохов» — стенной газеты зимовщиков.

«Сполохи» — лучшие свидетели той жизни, что текла здесь в течение всей зимовки. Стенная газета заведена уезжающей теперь сменой. Вероятно, это заслуга сменяющегося начальника обсерватории Вильгельма Яновича Шведе, проводящего на полярных станциях уже пятую зимовку и вторую на самом Матшаре.

С необычайной тщательностью и любовью собраны номера «Сполохов». Они приурочены к наиболее выдающимся советским праздникам: Октябрьской Революции, Первому Мая. Просматривая «Сполохи», совершенно ясно представляешь себе картину всей зимовки со всеми ее радостями и невзгодами. Особенно интересен последний номер «Сполохов», посвященный ново-прибывающей смене и представляющий собой копилку опыта, приобретенного зимовщиками за год сидения на

станции. Этим опытом они делятся с новичками. А есть чем поделиться и что порассказать. Здесь, в этом номере, мы находим «руководящие» статьи почти всех основных работников обсерватории. Здесь итоги и советы; здесь весь опыт и выводы.

Начальник обсерватории Шведе в длинной статье сетует на целый ряд недочетов в снабжении и устройстве обсерватории. Оказывается, строения обсерватории, и в первую голову жилой дом, производят совершенно правильное впечатление на свежего человека. Дом старый, построен неважно, ремонта очень давно не было. Печи и с самого начала были устроены плохо, а теперь и вовсе перестали греть. Кроме того, они примыкают непосредственно к легким деревянным переборкам, и их нельзя накаливать как следует из-за возможности пожара. В страхе перед этим бедствием жили всю зиму. Действительно, не трудно понять, какое ужасное несчастье для зимовщиков должен представлять пожар жилого дома, единственного сколько-нибудь пригодного для жилья. Пригодного — если не считать того, что стены его защиты недостаточно плотно и тщательно. В большие штормы, особенно зимой, когда скорость ветра доходит в порывах до семидесяти метров в секунду (!), снежная пыль просто «прожимается» ветром сквозь стены и проникает непосредственно в комнаты. Углы в большинстве комнат промерзают насквозь — в них нависают со стен целые глыбы льда. Температура в помещениях падает до минус двух, минус трех градусов. У бедняги микробиолога, живущего в угловой комнате, не слишком плохой считалась температура в минус шесть градусов. При этом специальных рабочих помещений в доме вообще нет, и у того же биолога лаборато-

рия помещается прямо в его комнате. Тут же в комнате нужно и стирать свое белье.

Питание, достаточное количественно, очень однообразно. Слишком мало дается овощей. Их нехватает уже в первые месяцы зимовки. Фруктов, даже консервированных, не бывает вовсе. Плохо и со сладостями — их почти совершенно не дают, а все зимовщики в один голос считают сладкое (конфеты, леденцы) абсолютно необходимым. Мясные консервы даются одного сорта на весь год — понятно, что скоро на них никто не хочет смотреть, и повару приходится изощряться для того, чтобы заставить их хоть как-нибудь есть. Единственной отрадой служат свиньи и корова. Свиной берегут до крайней возможности, но в последнюю голову съедают все-таки корову, так как трудно отказаться от молока.

Еще хуже, чем с питанием, обстоит дело с одеждой. Овчинные полушубки выдаются как «полярное» зимнее платье. Эти полушубки совершенно негодны для зимовки в данных условиях. Овчина легко продувается ветрами и плохо греет. Полушубки эти годны для очень краткого пребывания на воздухе в период суровых морозов. Во время ветров, выходя на улицу, приходится поверх полушубка натягивать брезентовый плащ, но тогда почти совершенно невозможно двигаться на ветру и в глубоком снегу. О возможности в такой одежде работать не приходится и говорить.

Не лучше обстоит дело и с обувью. Единственной теплой обувью являются валенки. В них очень хорошо спастись от простуды в холодном доме, неплохо ходить по неглубокому сухому снегу, но они оказываются никуда негодными в глубоком снегу, заваливающимся за широкие короткие голенища валенок, и совершенно не

приходится говорить о том, чтобы сделать в валенках хотя бы шаг в период таяния снегов. Здесь все обращаются к сапогам, однако и этот „аппарат“ оказывается не на высоте: длина голенищ слишком мала, а сапоги легко пропускают воду. Здесь нужны для весны надежные поморские сапоги с голенищами до бедер, такие, какими Госторг снабжает команды этих судов.

Слишком тяжелы здесь условия жизни и труда, чтобы можно было небрежно относиться к вопросам снабжения полярных обсерваторий вообще и самой северной из них, Матшара, в частности.

И без того на зимовщиков выпадает достаточно невзгод. Для некоторой части персонала обсерватории, особенно для научных работников, представляет известную трудность, наряду с повседневными наблюдениями и работами по своей специальности, отдавать значительное внимание и непривычно много сил работам чисто хозяйственного порядка. Нужно стирать. Искусство



Матшарский водовоз

стирки дается не так просто — большинство обсерваторцев вначале так застирывает свое белье, что вместо белых рубах они носят какие-то жеванные серые тряпки. Нужно колоть, возить дрова. Нужно топить печи. Нужно доставать снег или лед для воды и возить их на кухню. Нужно удалять из выгребной ямы нечистоты.

Легко себе представить какого-нибудь биолога Казанского — типичнейшего кабинетного микроскопного сидельца,—когда приходит его очередь вывезти на собаках выгребную яму. Мороз. Все заледенело. Без лома ничего нельзя сделать. А огромный тяжелый лом едва держится в непривычных руках; все валится с лопаты, пока несешь к бочке. А тут еще с бочкой неладно: установленная на собачью нарту, эта бочка то-и-дело норовит умчаться одна без кучера. Собаки не желают признавать деликатных подходов биолога; в построумках путаница, грызня, каждый пес тянет в свою сторону. Нарта опрокидывается, бочка высыпается в снег. Начинать все сызнова.

Впрочем, не всегда собаки являются бичем обсерваторцев. В большинстве случаев это настоящие спасители: когда нужно возить воду, снег, дрова, когда нужно ездить на охоту, когда нужно с приборами выехать на середину пролива. Тут они избавляют от многих трудностей. Нужно только умело за них браться.

Первые два-три месяца зимовки в столовой процветают шахматы, домино и «обмен мыслями». Постепенно обмен мыслями превращается в споры. В результате споров те, кто понервней, начинают вскакивать из-за стола и уходить к себе, хлопнув дверью. Затем наступает период, когда зимовщики не могут видеть друг друга и зарываются в книги, каждый у себя в комнате. Нужны

большая выдержка и находчивость руководителя, чтобы в такой период, когда людям тошно видеть опостылевшие физиономии сожителей, найти какой-нибудь повод для разговора, объединить зимовщиков около какого-нибудь события. Во время штормов отсиживаются



По воду

дома несколько дней, пока метелица свирепствует наиболее сильно. Когда ветер немного спадет, делают попытку выйти наружу. Но в большинстве случаев дом оказывается занесенным снегом на полтора-два метра выше крыши. Выходная дверь не отворяется, сразу за дверью, вплотную к стене дома, прилегает снег. Чтобы выйти на его поверхность, нужно прорыть всю толщину заноса. Сделать в этой многометровой толщине траншею не под силу персоналу обсерватории, и люди ограничиваются

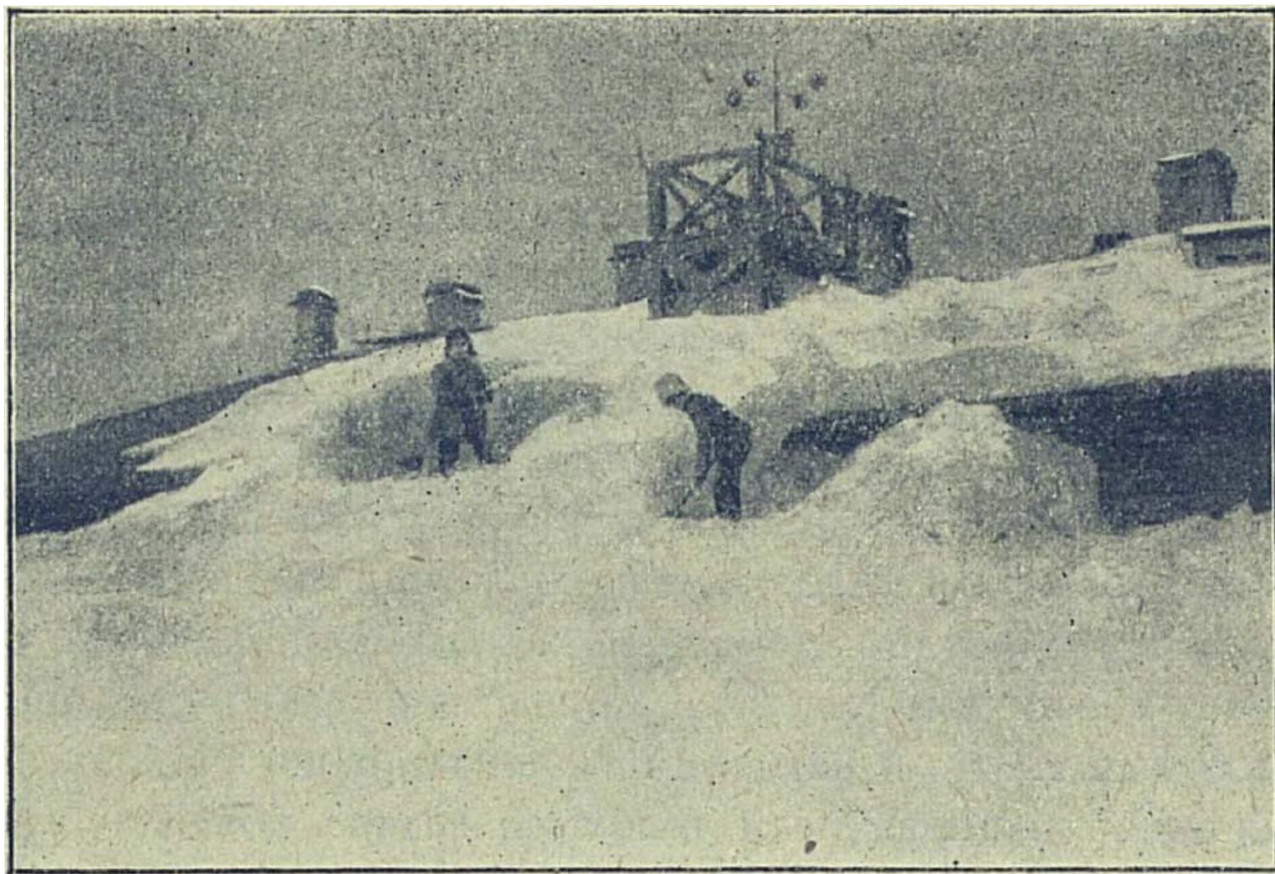
тем, что проделывают узкий вертикальный колодец, чтобы только дать возможность радистам и наблюдателям вылезти наверх.

Как только колодец прорыт, вахтенные радисты, наблюдатели, магнитолог поодиночке ныряют в него и выбираются наверх. Они закутаны в продувные полушубки и брезентовые плащи, на шеи намотаны целые вороха шарфов. Но самое замечательное в костюмах этих отправляющихся в снежную вахту людей — их варежки. От казенных рукавиц давно не осталось и следа—через две недели после начала носки онигодились только как тряпки для обтирки ружей. Зимовщики сами пошили себе варежки из подручных материалов: кто из старого одеяла, кто из ватной безрукавки, а кто и просто сделал маленькие ситцевые мешки и набил их гигроскопической ватой, позаимствованной у обсерваторского врача.

Вылезти наружу, на поверхность нанесенных бураном сугробов — это только начало работы. В ночной серости, наполненной крутящимися как под действием гигантского вентилятора снежинками, немислимо ориентироваться, — просто хоть за компас берись. Единственным указателем направления, где находится магнитный павильон или силовая станция; служит провод электрического освещения, протянутый на низких столбиках. Нагнувшись, можно держаться за этот провод. Иногда и этот единственный путеводитель исчезает в сугробе снега. А до снежного бурана этот провод висел высоко над головой, и низкие тумбочки были обыкновенными столбами.

Держась за провод, продвигаясь навстречу острым, бьющим в лицо колкой снежной крупой струям ветра,

Идётся, ползая на четвереньках, магнитолог тратит час, чтобы преодолеть двести метров, отделяющих магнитный павильон от жилого дома. А в павильоне даже нельзя немного отогреться; там царит температура в двадцать пять градусов ниже нуля. В этой температуре прихо-

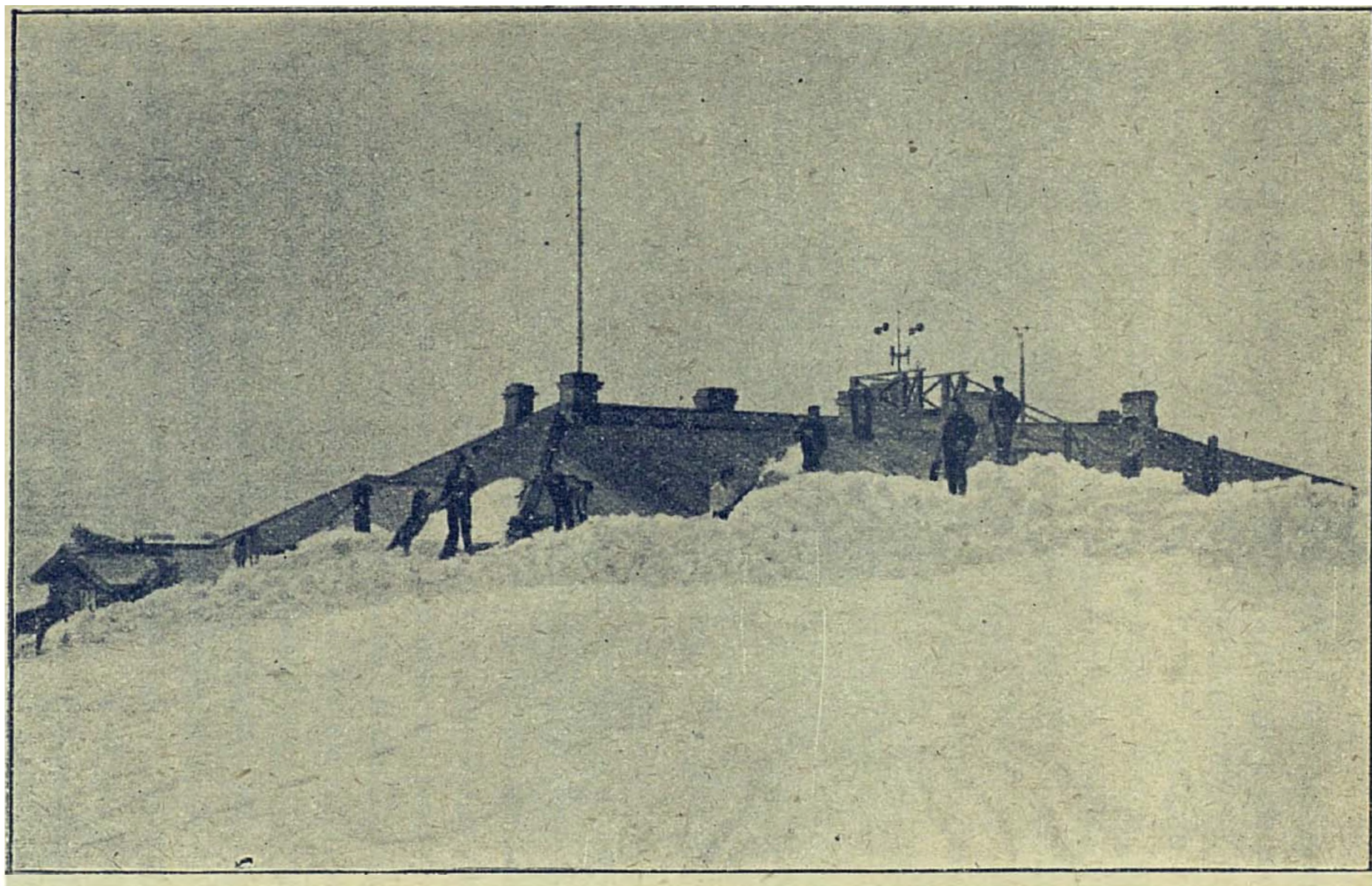


После бурана

дится работать два-три часа под ряд. Пальцы перестают чувствовать головки винтов на приборах, но снять варежку нельзя — немедленно при прикосновении голыми пальцами к металлу на приборах остаются примерзшие кусочки кожи. Руки и ноги перестают разгибаться. К концу наблюдений магнитолог вообще перестает соображать что бы то ни было, кроме того, что он замерзает и должен немедленно выбираться из насквозь замороженного павильона.

Но не всегда удается наблюдателям добраться до своей цели. Почти каждый год бывает то, что произошло и в эту зимовку. Магнитолог Никольский, переждав наиболее сильные порывы ветра, настолько сильные, что у него не было даже надежды устоять на ногах по дороге к своему магнитному павильону, вылез через снеговой колодец на поверхность. Резкие, короткие порывы ветра поднимали снопы снега. Острые, колючие, заледеневшие снежинки больно били по лицу, заставляя жмурить глаза. Когда порыв ветра затягивался, все пространство кругом заполнялось белой крупой. Делалось тускло, как в густой туман. Ничего не было видно в двух шагах. Тогда Никольский приседал на корточки и пережидал.

Один из порывов так затянулся, что Никольскому стало слишком холодно и надоело сидеть на снегу. Ветер немилосердно продувал сквозь проношенную овчину старого полушубка. Не спасал и брезент плаща, и толстый свитр, и ватная стеганая телогрея. Никольский встал и, напирая всем телом на ветер, пошел. Струи сопротивляющегося воздуха сделались вещественными, как никогда. Они упирались, толкали в грудь, во все стороны рвали разметавшиеся полы одежды. Никольский упирался в этот сопротивляющийся воздух плечом, отворачивал в сторону лицо, чтобы рот не забивало густым, плотным ветром. Когда ноги устали увязать в рыхлый проваливающийся снег и лицо стало немилосердно болеть от ледяных уколов, Никольский приостановился передохнуть. Ему показалось, что он идет слишком долго к павильону, куда в обычное время две минуты ходу. Сегодня, по его расчетам, прошло уже полчаса, а павильона все нет. И только тут он сообра-



Обсерваторцы откапываются

зил, что уже давно не видел столбиков электрической проводки. Он нагнулся и стал шарить по снегу. Провода, проложенного по столбам, нигде не было. Никольский сунулся влево. Провода нет. Увязая в снегу, побежал вправо. Ветер рвал и гудел в ушах, бросая в лицо пригоршни колючей крупы. Ни столбиков ни проводов.

Посидев, Никольский решил ориентироваться и вернуться на обсерваторию, но вокруг не было видно ничего, кроме белой пляшущей мути пурги. Вглядевшись, Никольский различил в направлении, обратном тому, в котором он шел, темный силуэт дома. Но по мере того, как он пробирался, борясь с ветром, к этому силуэту, очертания дома делались все более и более расплывчатыми. Вскоре они исчезли совсем. Тут Никольский ясно увидел перед собой высокую черту радиомачты и бросился к ней. Но мачта исчезла, как исчез перед этим дом.

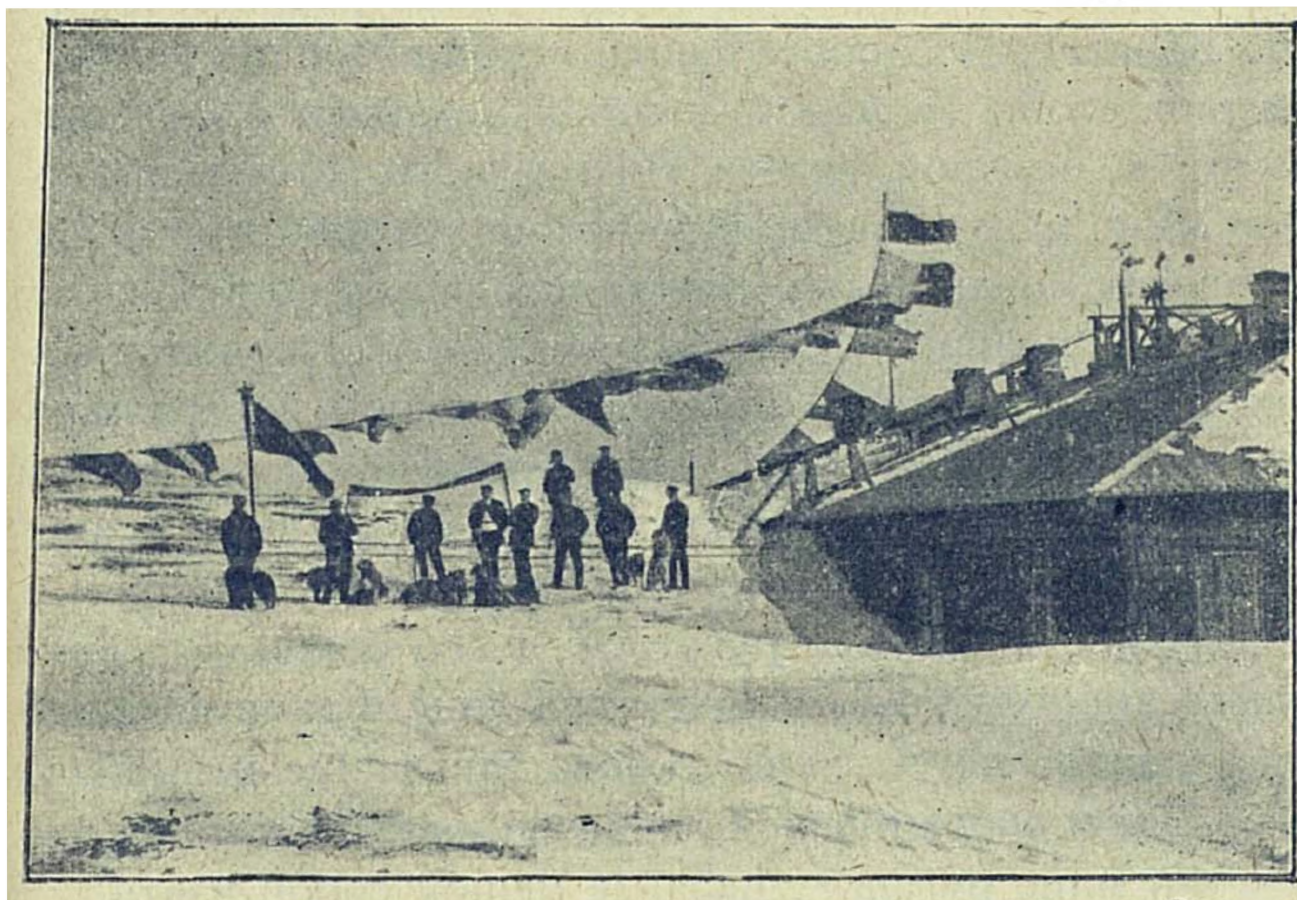
Гоняясь за призраками, Никольский окончательно выбился из сил. Он проваливался в сугробах до пояса. Снег набился в валенки, в рукава тулупа, за воротник. Никольский сел в снег, решив, что нет смысла метаться в снежном вихре без надежды найти свое жилье.

А тем временем на обсерватории все шло своим чередом. Никому не приходило в голову беспокоиться об ушедшем магнитологе. В каждый буран каждому наблюдателю приходилось совершать такие прогулки. Не было ничего удивительного и в том, что Никольский несколько задержался против обычного. Только когда Никольский не пришел ни к полднику ни к обеду, Казанскому пришло в голову заглянуть в его комнату. Комната была пуста. Тулупа не было на постоянном месте. Затопленная печка прогорела, и из нее порывами несло сажу и пепел. В комнате стоял сизый холодный туман.

Казанский побежал к себе одевать тулуп. По дороге он распахнул дверь в комнату Шведе:

— Вильгельм Яныч, Никольский ушел в павильон четыре часа тому назад.

— Не приходил?



Первомайская демонстрация

— Не приходил.

— Надо искать.

Через минуту Казанский и Шведе уже возились вместе со служителем Фрицем над устройством факелов. Еще кое-кто из персонала побежал одеваться.

Из колодца над дверью обсерватории вылезла целая спасательная экспедиция. В серую мглу ночной вьюги врезались колеблющиеся, раздуваемые резкими порывами языки факелов. Пламя как клочья материи свещи-

галося с концов палок и приникало к головам. Люди разошлись цепочкой, оставив в том месте, где под снегом скрывалась крыша дома, яркий костер вместо маяка. Так дошли они до магнитного павильона. Он был заперт. В нем никого не было. Искать, пока не уляжется буря, было явно бессмысленно, и люди решили повернуть обратно. По дороге зашли в домик машинного отделения, чтобы захватить с собой механика и избавить его от возможной участи Никольского. Когда проходили мимо кладовой (о присутствии которой в нескольких шагах можно было только догадаться по большому сугробу), крайний из идущих в цепи, бактериолог Казанский, споткнулся о брошенный мешок и с размаху полетел головой в снег. Отряхнувшись он со злобой стал из души в душу ругать Фрица за то, что тот разбрасывает в снегу мешки с драгоценными припасами. Но Казанский не умел ругаться, и его брань вызывала только добродушную усмешку на лице Фрица, слышавшего каждое пятое слово сквозь завывание и шипение ветра. Тыча вперед факел, Фриц подошел к Казанскому.

— Фи мне ругаль? Дафайте мешок собой взять.

Фриц нагнулся над мешком. Через секунду он закричал Казанскому:

— Я не финофат ф этот мешок. Это свеший морошений мяс.

Фриц и Казанский разбросали снег и нашли скорчившегося Никольского.

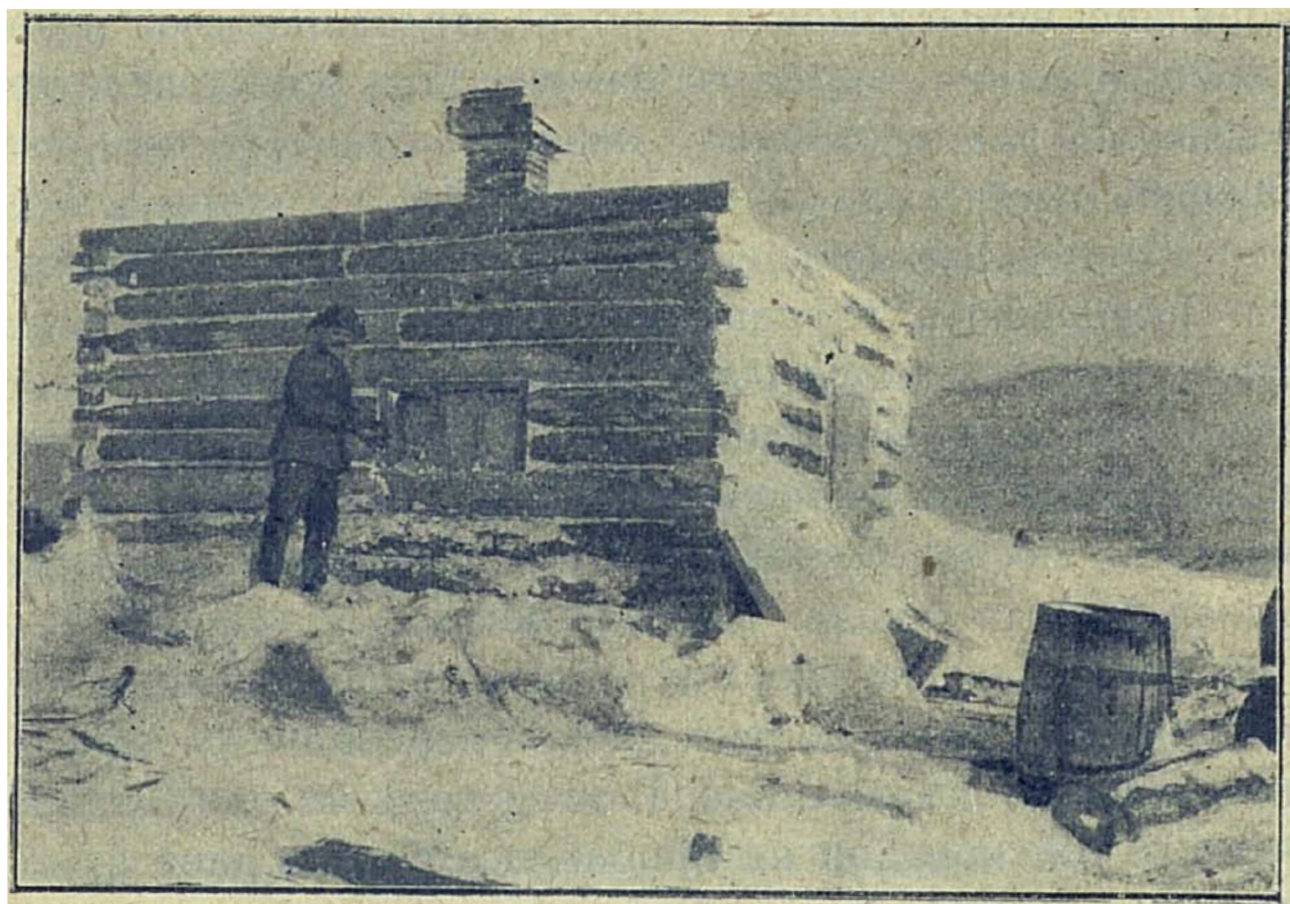
Через час Никольский пил чай с коньяком и что есть сил поносил Матшар, зиму и снег.

Кроме таких мелких неприятностей, штормы, приходящие с Карского моря, с той стороны, где за ледяными полями выл, крутился и бушевал узел непогод всего се-



Рис. Василия Беляева. Михаил Вылка, самоед, за работой по вытачиванию фигурки полярной совы из моржовьей кости. Маточкин шар, Новая Земля.

верного полушария, приносили и большие, непоправимые беды. Этой зимой свалило одну из двух, шестидесятиметровых радиомачт. В одну из штормовых ночей, сквозь свист в щелях и завывание в трубе, сквозь по-



Постройка новой бани при тридцатиградусном морозе (взамен сгоревшей)

щелкивание крупы в незанесенные верхушки окон зимовщики слышали треск и скрежетание. Решетчатая балка, построенная, как ферма моста, из толстых бревен, схваченных дюймовыми болтами и скобами, оказалась поваленной в снег. Ее не удержали толстые, в человеческую руку, тросы. Под напором ветра мачта переломилась у самого корня, где целый куст рельсов крепил ее к бетонной плите фундамента. Бревна перекадин были искрошены как спички. И посейчас эти остатки мачты

лежат поперек площадки обсерватории, заставляя новых зимовщиков сомнительно почесывать затылки.

Нет слов, зимовка на Матшаре трудна. Трудна чисто физически — холодом, темнотой, однообразным питанием. Трудна безусловной отрезанностью от всего мира, морально невыносимой в городе, отрезанностью, заставляющей одних, вроде геофизика Голубенко, делаться нервными до состояния, близкого к истерии, толкающей других зарываться в работу до одури и всех поголовно понуждающей искать утешения в возможности поддержать изредка лаконическую, неудовлетворяющую, щекочущую связь с далеким миром — посылать радиogramмы своим близким на старую землю. Однако, при всей трудности зимовки для переносящих ее в первый раз, среди зимовщиков нет ни одного, который сказал бы, что больше никогда не поедет зимовать.

Самое интересное то, что в физиологическом отношении зимовка почти на всех членов персонала радиостанции влияет положительно. В этом году из одиннадцати человек только один не прибавил в весе, а двое прибавили целых шесть кило. Вероятно, в значительной степени на такое благоприятное состояние здоровья зимовщиков влияет то, что за все время зимовки среди них не было ни одного инфекционного заболевания — ему неоткуда взяться. Нет даже простуды, столь естественной в подобных условиях жизни и работы. Единственное, с чем постоянно приходится возиться обсерваторскому эскулапу, это — отмораживания.

Если в свое время мы поражались чистоте, «стерильности» воздуха на о. Колгуеве, то теперь этот колгуевский воздух можно считать кишущим миазмами по сравнению с воздухом Маточкина Шара. В результате

двухлетних работ биолог Казанский утверждает, что летом содержание микроорганизмов в воздухе на Маточкином в шестьсот тысяч раз меньше, нежели в воздухе крупных европейских населенных центров (например, Парижа). Это в три раза лучше известного всему миру чистотой атмосферы Шпицбергена—там содержание микроорганизмов в воздухе всего в двести тысяч раз меньше, чем в том же Париже. А зимой, по мнению Казанского, воздух на Матшаре почти абсолютно стерилен, по крайней мере, ему не удавалось установить присутствия в поле микроскопа следов каких-либо бактерий. Действительно, в такой здравнице есть возможность проветрить легкие, и нет ничего удивительного, что при всех физических и моральных невзгодах зимовщики здесь прибавляют в весе.

И как бы ни была тяжела тоска по внешнему миру, как бы ни надоели физиономии сожителей, но при известных усилиях наиболее крепкой и привычной части зимовщиков можно избежать каких бы то ни было неприятностей и даже найти почву для здорового юмора в отношении самих себя и своего незавидного положения. Вот прекрасный образчик такого юмора из первомайского номера тех же «Сполохов». Речь идет о первомайской демонстрации, устроенной зимовщиками: «как и подобает для Первого мая, одежды демонстрантов сверкали белизной... от осыпавшего их снега. Со всех сторон щелкали кодаки; щелкали зубы демонстрантов». И все-таки, хотя зубы и щелкали, демонстрация состоялась, на крыше обсерватории развевались флаги, в руках демонстрантов были лозунги.

После года зимовки обсерваторцы с жадностью набрасываются на новых людей. Через час после того, как

я пришел на обсерваторию, я уже знал на ней всех и вся. Каждый стремился со мной поговорить о зимовке. Расспрашивали о жизни на старой земле.

Попав в гости, нельзя отказаться принять единственный знак внимания, который могут оказать матшарцы—обед. Угощают гостей напропалую.

Новая смена ест за двоих. Старая едва прикасается к еде: все, что может быть подано на стол — осточертело до последней степени. Внимание всех сосредоточено на необыкновенном ястве, лежащем на конце стола.

Там, рядом с Казанским, сидит приехавший на «Таймыре» из Полярной комиссии академии наук познакомиться с результатами работ Казанского профессор Борис Лаврентьевич Исаченко, директор Главного ботанического сада в Ленинграде. Он привез в подарок Казанскому пучок зеленого лука, несколько головок простого лука и большой арбуз. Лук Казанский выложил на общий стол. Луку мало, и одиннадцать пар глаз, при всем желании казаться равнодушными, следят за тем, как каждый следующий по очереди отламывает себе несколько зеленых стеблей. Мне делается искренно совестно—ведь я всего два месяца тому назад ел зелень. Когда пучок доходит до меня, я с равнодушным видом передаю его дальше, не отломив ни одного стебля. Моему соседу слева не терпится, но, преодолевая желание, он принимается радушно уговаривать меня отведать луку.

Поднимаясь из-за стола, я жму уже руки нескольких старых знакомых.

На «Новой Земле» меня ждет печальная неожиданность. Пришло радио из Москвы с предписанием начальника военных воздушных сил немедленно любыми средствами возвращаться. Приди радиogramма часом позже,

или приди «Таймыр» в Маточкин Шар часом позже, я не смог бы исполнить приказа никаким способом.

Приходится спешно собирать свои пожитки и переправляться на «Таймыр». «Новая Земля» застучала мотором и осторожно подошла к высокому борту «Таймыра». Десяток матросских рук заботливо передает с борта на борт мой несложный багаж. Черепанов хлопчет с аппаратом, чтобы зафиксировать момент моего перехода на борт чужого корабля. Вот я повис на поданном с «Таймыра» штурмтрапе. Андрей Васильевич трижды дернул за веревку гудка — хриплое приветствие вырвалось из желтой трубы.

В дверях камбуза стоит дядя Володя. Он машет своим белым колпаком, и до меня доносятся хриплые звуки его любимой песни:

— Черная роза, проблема печали...

Расталкивая тонкие льдинки своими круглыми бортами, «Новая Земля» пошла к выходу в Карское море. На крошечном мостике, рядом с круглой меховой фигурой капитана, виднеется попыхивающий папироской Блувштейн. Последний раз мы машем друг другу фуражками. Ни один из нас не может сказать, когда и где мы встретимся.

Стук Болиндера на «Новой Земле» сделался чаще и громче. Он смешался с неистовым воем сгрудившихся на маленькой палубе лаек.

Через полчаса белого корпуса милого бота уже не было видно. Из-за льдин торчала только высокая мачта с подвешенной у марса бочкой вороньего гнезда.

С „ТАЙМЫРОМ“

1. «ТАЙМЫР»

«Таймыр» — судно историческое. Целый ряд ценных работ проделан им в десятых годах настоящего столетия в составе «Гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана» вместе с его братом-кораблем «Вайгач», сначала под командою Сергеева, потом под командой Вилькицкого. «Таймыру» вместе с тем же «Вайгачем» принадлежит честь открытия в 1913 году островов к северу от полуострова Таймыра, известных под названием острова Алексея и Земли Николая II (ныне Северная Земля).

Этим же кораблям удалось пройти и через весь северо-восточный проход. История плавания «Таймыра» и «Вайгача» — одна из славных страниц истории нашей гидрографии.

Эти корабли были заложены в 1907 году. Уже при проектировании и постройке были предусмотрены все мелочи, все трудности службы гидрографического судна в северных полярных водах. Весьма интересно, что уже тогда нашло себе признание мнение некоторых наших моряков, что удобнее всего на крайнем севере работать с судами, приближающимися к ледокольному типу. То, что «Таймыр» и «Вайгач» не были выполнены, по традиции всех полярников, деревянными, а построены из стали, вполне оправдало себя.

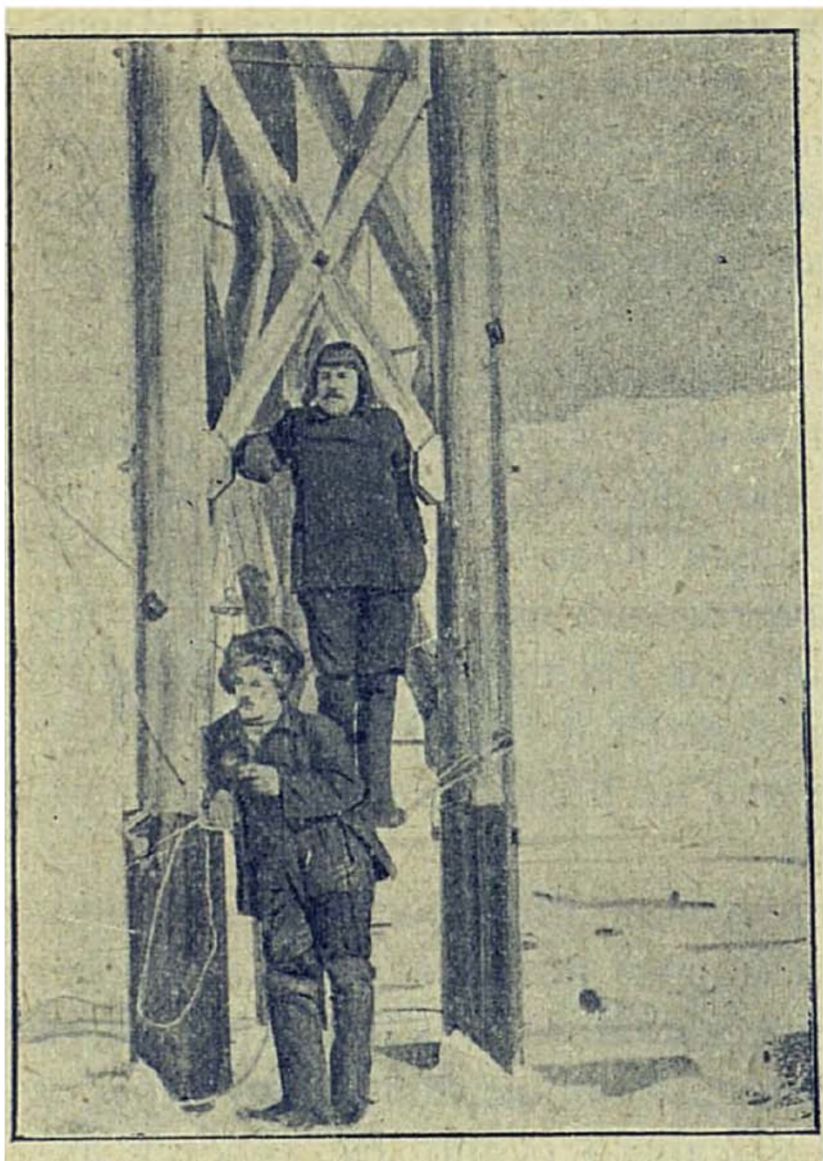
Я не мог удержаться от того, чтобы не записать в свой дневник слова искреннего восхищения после обхода и подробного осмотра «Таймыра» в день прибытия на это судно. Какая необычайная разница с машиной «Красина», построенной для нас кое-как англичанами! Здесь все, каждый фут, каждый лист рассчитан и продуман своими хозяйственными русскими мозгами, крепко знающими, что своим же братьям морякам придется выдерживать в этой коробке суровые зимовки в полярных льдах.

Вот настоящее судно для нынешней широкой работы на нашем севере. Его нужно только как следует привести в порядок. Судно уже забыло, когда оно ремонтировалось. Машины пришли в совершенную ветхость. Обшивка корпуса в значительной части требует полного ремонта, замены, перешивки. На палубе все, что могло сгнить и заржаветь, находится в таком состоянии, что оторопь берет, как все это не разваливается под напором первого же шторма.

Но Убеко Севера (управление по обеспечению кораблевождения в северных морях) не имеет пятисот тысяч рублей, нужных для восстановления «Таймыра»; есть слух, что его передадут рыбопромышленному тресту для переделки под промысловое судно. Не хочется думать, что может совершиться такая нелепость. Старший механик «Таймыра», Осип Михайлович Михайлов, только качает седой головой, когда речь заходит о судьбе его судна.

Но, что бы ни ждало «Таймыр» в будущем, сейчас я могу только наслаждаться его почти немислимыми (с точки зрения человека, проведшего столько времени на боте «Новая Земля») удобствами. Каюта, отведенная

мне любезнейшим Александром Андреевичем (Придик— капитан), поражает своим комфортом. Здесь, помимо койки, имеется еще диван, кресло и умывальник. При



Основание радиомачты

этом размерами каюта превосходит салон „Новой Земли“. В паровых трубах уютно побулькивает пар. Все сулит отличный отдых. Однако прелести таймырской жизни этим не исчерпываются. Самое привлекательное—это ванна с душем. Правда, в нее пущена сейчас только соленая забортная вода, но и это блаженство для того; к чьему телу в течение целых месяцев не прикасалось мыло.

Питание на „Таймыре“ происходило в вполне человеческих условиях, в просторной, светлой и нарядной кают-компании. Здесь просто отдыхаешь после нашего салона, несмотря на невероятную скромность стола (чтобы не сказать голодность). Эта необычайная скромность стола, скудость порций, полное отсутствие разнообразия и самых элементарных вкусовых прибавок

вполне человеческих условиях, в просторной, светлой и нарядной кают-компании.

особенно бросается в глаза по сравнению с только-что покинутой мною «Новой Землей» и обсерваторией. Максимальным пиршеством, которое позволяет себе кают-компания «Таймыра», является вечерний кофе с консервированным молоком, иногда сопровождаемый испеченными поваром белыми булками (а нормально с черным хлебом). Этот кофе не бог весть что. Сто граммов на огромный медный чайник, такой, что его едва тащит второй механик Василь Иванович Павленко. Кофе получался у нас жиденький, но это не умаляло ни его вкуса ни его значения — преддверия вечернего «козла», собиравшего около себя энтузиастов домино: капитана Александра Андреевича, второго механика Василь Ивановича и Андрея Андреевича, второго помощника капитана — безусого краснощекого «петуха», только-что окончившего морское училище.

Но не всегда «козел» протекал безмятежно. В первый же вечер моего пребывания на «Таймыре» в самый разгар «козла» в кают-компанию прибежал вахтенный матрос с сообщением, что пролив весь забило льдом, идущим с Карского моря, что на наш якорный канат налезает огромная льдина и начинает тащить судно вместе с якорем к берегу.

Александр Андреевич, сидевший с протянутой костью, долженствовавшей служить смертельной бомбой в лагерь врагов, забыв все, помчался наверх в одной рубашке. Я едва поспевал за несущимся по трапу капитаном.

С верхнего мостика представлялась величественная картина. Весь простор Карского моря и выходящего в него горла Маточкина Шара был плотно забит крупно битым льдом. Даже непонятно, откуда в столь короткий промежуток времени могло взяться такое невероятное

количество льда. Насколько хватал глаз, все было совершенно бело, изредка только рябели пригорки торосов.

О черные стальные борта судна терлись, шурша, большие поля значительной толщины. Их аквамариновые изломанные края отсвечивали голубизной на снег. Льдины сталкивались друг с другом, крошились, шипели, глухо стучали. Черные волны жадно облизывали крупчатый снег на льдинах, разрушая сверкающие кристаллы, таившие как кусок сахара, облитый кипятком.

Под напором огромной льдины толстая цепь якорного каната прогибалась. Якорь тащило по грунту. Нас несло к берегу.

Одновременно с этим с зюйд-оста, через далекие вершины новоземельских хребтов, неслись тяжелые темные волны густого тумана, почти постоянного спутника таких скоплений плавучего льда.

Капитан стоял на мостике, держась за ручку машинного телеграфа. Стрелка рванулась на «тихий». Немедленно снизу, оттуда, где в глубоком колодце спали стальные машины, принесся ответный звонок. Значит. Осип Михайлович и Василь Иваныч были уже там. Я никак не думал, что в такой короткий промежуток времени можно перейти от стола кают-компания с разложенными костями к управлению машиной.

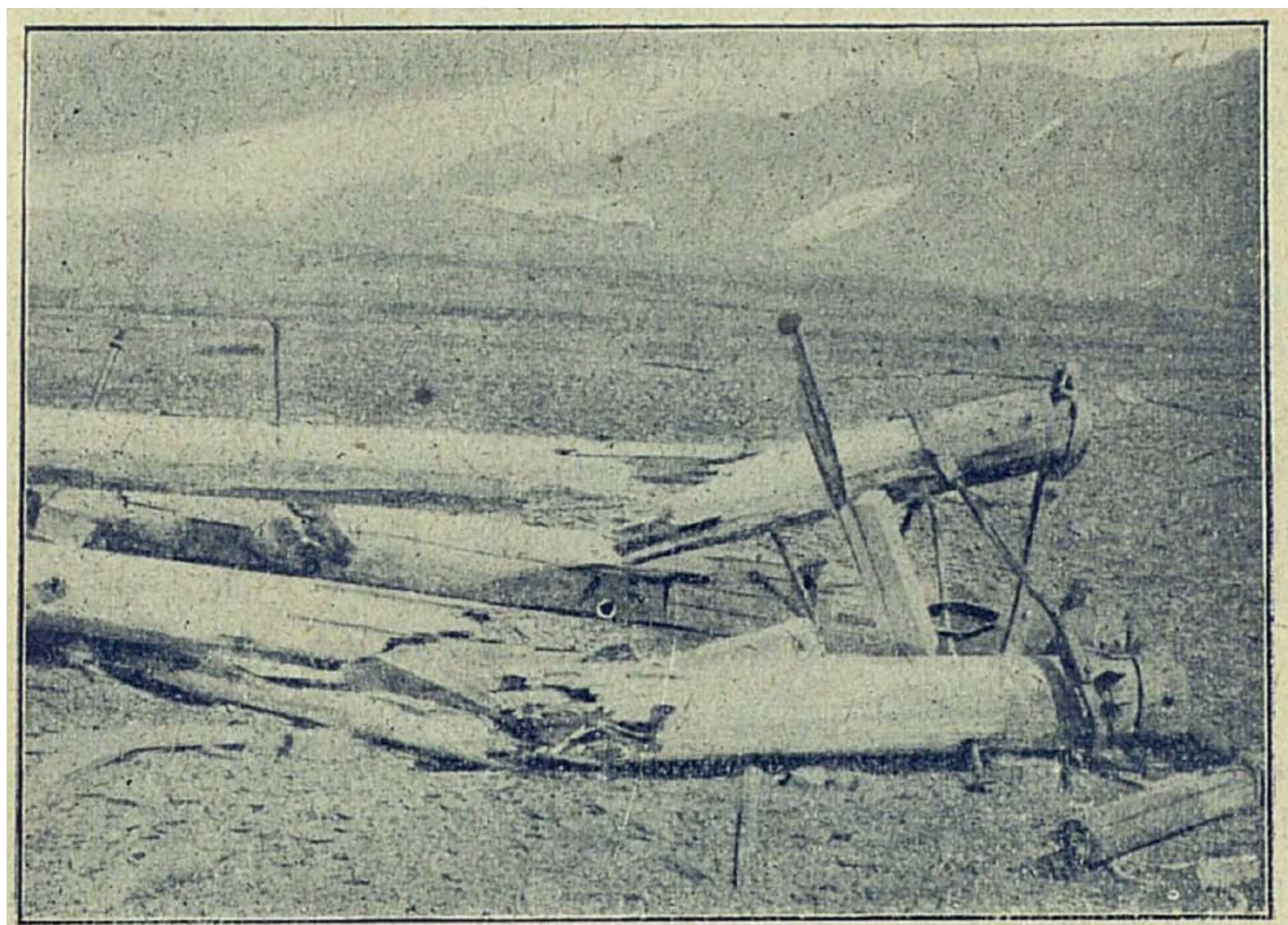
Винты медленно заворочались под кормой, и якорный канат ослаб.

Еще через минуту у носового брашпиля уже стоял боцман, и цепь с ожесточенным скрежетом и громыханьем поползла через клюз на барабан.

«Таймыр» покинул свою стоянку против обсерватории и перешел на несколько миль западнее, к мысу Дровя-

ному, чтобы укрыться от натиска льдов. Когда мы подошли к Дровяному, берега уже не было видно. Мы осторожно продвигались в сплошном молоке тумана.

А наутро, продираясь сквозь льды, мы снова пошли к обсерватории, чтобы продолжать разгрузку. Выбрав



Радиомачта, поваленная штормом

moment, когда около подветренного борта не было льдин, спустили карбасы, и работа закипела полным ходом.

Весемь человек палубной команды «Таймыра» в буквальном смысле слова выбивались из сил, протаскивая между льдинами тяжелые карбасы, груженные продовольствием, кирпичом, углем. Потом очередь дошла до лесных материалов для постройки нового павильона и

ремонта старых зданий обсерватории. Попробовали было и доски перетаскивать на карбасах, но это оказалось каторжным трудом. Стали их просто сплачивать и оттаскивать к берегу на буксире у моторного катерка, пользуясь разводьями.

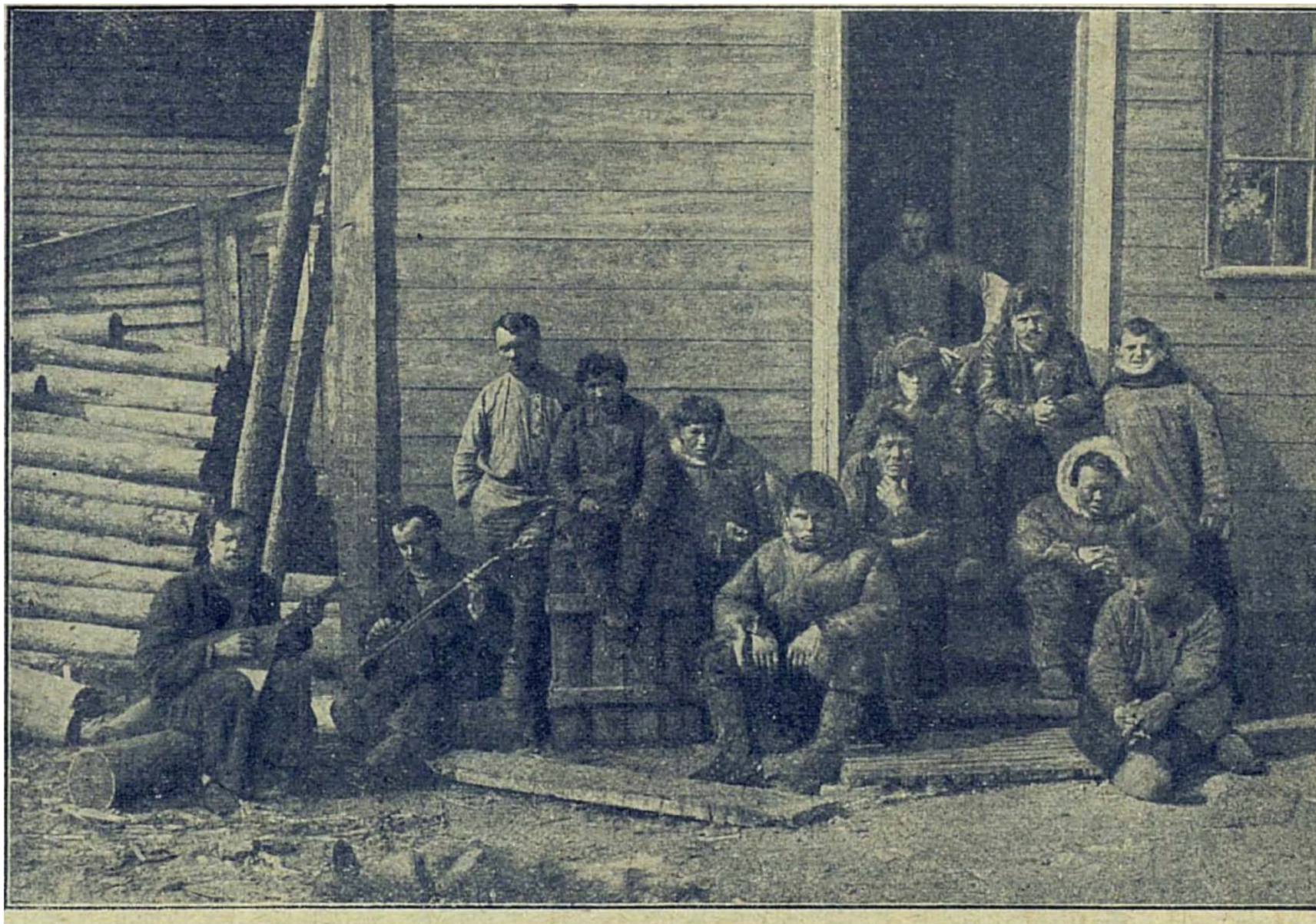
Каждый день с семи утра и до семи вечера, не покладая рук, вся палубная команда и командный состав вертелись как белки в колесе с разгрузкой. Работа была тяжелая, изнуряющая своей медленностью.

Что было сил, я помогал команде, заделавшись грузчиком и гребцом. Час за часом и день за днем рядом со мной громыхала лебедка, над головой нависали связки досок и бревен или корзины с кирпичом, а под ногами либо плескались пенистые волны, либо шуршали медлительные, сверкающие голубыми прозрачными ребрами льдины.

Изредка я позволял себе отдых и уезжал на берег.

Обсерватория стоит в котловине, образуемой высокими горами около устья небольшой горной речушки Ночуй. Вершины гор тесно обступили немногочисленные постройки обсерватории и радиостанции. Хотя горы вовсе не кажутся внушительными, когда стоишь на обсерваторской площадке, в действительности, чтобы взобраться на них, нужно затратить много времени и усилий, особенно на те из них, что стоят на восточном берегу Ночуя, загораживая станцию от Карского моря.

При прогулках на эти вершины я бывал обычно спутником Бориса Лаврентьевича Исаченко. Несмотря на свой весьма почтенный возраст, этот муж науки несколько не похож на расхлябанного кабинетного сидельца. Борис Лаврентьевич обладает завидным цветом лица (вполне соответствующим его аппетиту) и большой



Матшарцы в гостях у поморцев

подвижностью. Он бодро лезет по катящимся из-под ног нагромождениям шифера — только успевай за ним.

На горах, окружающих обсерваторию, этот шифер ничем не прикрыт, лишайники редки и слой их очень тонок. Кроме того, шифер здесь еще более выветрен, чем на Южном острове, и еще более искрошен.

Здесь снег лежит уже не только в глубоких складках, но его белые плешины видны на каждой терраске, за каждым незначительным выступом склона. Снег необычайно плотен и не проваливается под тяжестью идущего по нему в обыкновенных сапогах человека.

На вершине почти невозможно стоять. Ветер рвет одежду, свистит в ушах. При разговоре, чтобы было слышно собеседнику, мы должны выкрикивать слова. Поэтому, чтобы вести наши беседы с Исаченко, мы выбираем укрытое местечко за бугром. Когда лежишь за таким бугром, кажется, что вокруг царит полнейшая тишина. Внизу чернеет небольшой линеечкой «Таймыр». Его высокие, стройные мачты кажутся двумя тоненькими иголочками. Над трубой вяло вьется струйка дыма. Вокруг этой черной черточки сплошным белым полем сгрудились льдины, теснимые крепким зюйд-остом к северному берегу пролива. А среди льдин в узкие темные каналы редких разводий вклиниваются едва заметные темные пятнышки. Невыразимо медленно, почти незаметно для глаза, описывая хитро изломанную кривую, эти пятнышки пробираются от судна к берегу. Сколько времени при таком темпе переброски грузов на берег нам предстоит проторчать в Маточкином Шаре?

Однако зюйд-оста хватает ненадолго. Через несколько часов он сменяется сильным норд-остом и льды отжимает от нашего берега к Южному острову. Еще через

несколько часов исчезает и норд-ост и его сменяет зюйд-вест. Как в какой-то воронке, в которую дуют со всех сторон, ветры меняются по несколько раз в день, и нет возможности предугадать, что будет через несколько часов.

Под действием вестового ветра, подгоняемые сильным течением пролива, льды быстро выносятся в Карское море. От нас слышно, как они хрустят и скребут у противоположного берега, но на этой стороне вода совершенно чиста.

Вместе с Борисом Лаврентьевичем и Казанским мы отправляемся на шлюпке в пролив, чтобы взять несколько проб грунта, нужных Исаченке для бактериологических работ. Подчалившись к большому плавучему полю, мы идем по течению в продолжение целого часа, но все попытки получить грунт остаются бесплодными. На дне пролива — голый камень. Даже вода с самого дна приходит кристально прозрачной. Мы бросили льдяну и стали искать в проливе место, на котором, по словам Казанского, он когда-то получил горсточку глины со дна. Но, пробившись напрасно еще с час, бросили это занятие, так как способности Казанского к ориентировке оказались ниже всякой критики. Кроме того, ветер быстро усиливался. По проливу пошли беляки, и стало продувать до самых костей. Мы поспешили укрыться на «Таймыр».

Здесь уже свистит в такелаже и гудит в трубах как на фабрике. На верхнем мостике ветром плотно зажимает рот, и слова под давлением воздуха лезут обратно в горло. Впрочем, охотников беседовать со мной здесь находится мало. Кроме меня, во время стоянки в проливе редко кого привлекает продувная вышка верхнегс

мостика. Повидимому, не находится больше любителей подивиться на удивительную красоту приближающегося шторма. Никого не занимают подходящие с юга тяжелые темные тучи. Они облегают весь горизонт и быстро подходят к нам. Их ровные края постепенно сближаются и, совершенно закрывают просветы белесого неба. К вою и свисту ветра прибавляется почти полная темнота. Строения обсерватории исчезают во тьме. Игла радиомачты упирается в темную вспаханную поверхность неба.

На мостике становится нестерпимо зябко. Ветер вздымает широкий подол моей малицы и не дает сойти с трапа.

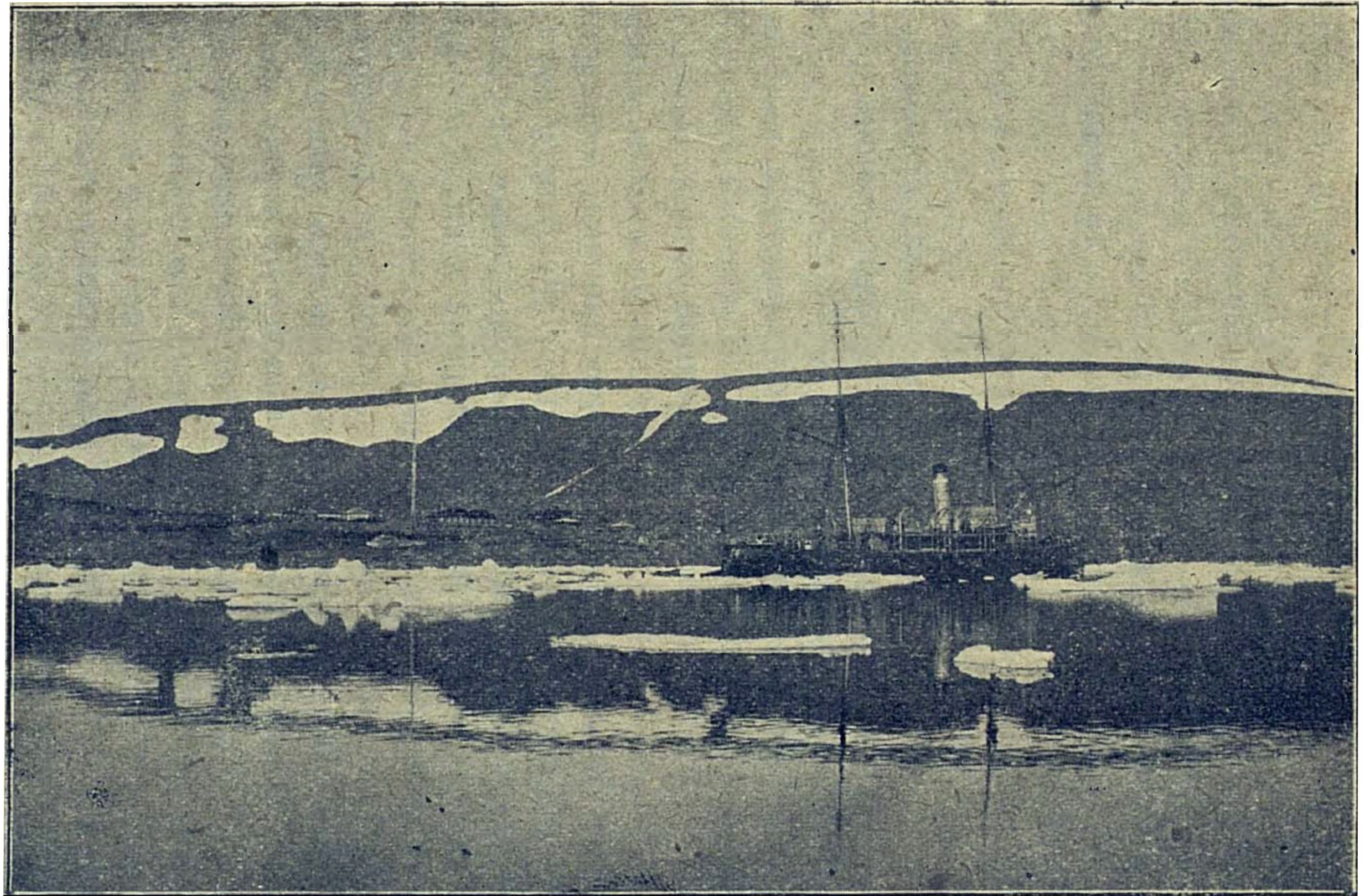
Из полумрака навстречу мне выплывает белая форменная фуражка. Под ней темным силуэтом расплывается фигура капитана. Александр Андреевич, засунув руки по самый локоть в карманы широких затрепанных брюк, обходит судно, внимательно разглядывая мутную даль. Но в дали ничего не видно, она ничего не говорит даже и его старым глазам. Александр Андреевич задумчиво качает головой. Белое пятно фуражки медленно мотается из стороны в сторону.

— Не снаю, какой такой утофольстфи теперь на море в открыты океан?

— А что, думаете, дует?

— Штормяка тует ошень.

Александр Андреевич начал службу боцманом в старом флоте. Он очень долго плавал на парусниках и большую часть службы провел на иностранных судах. Эгонец по происхождению, он, повидимому, никогда особенно чисто не говорил по-русски, а за долгие годы службы с иностранцами и вовсе забыл наш язык.



„Таймыр“ у обсерватории

— А что, Александр Андреевич, небось, не сладко в непогоду бывало на парусниках?

— Та, пывало. Только пошему непогода? Я кафарю, погода сейчас в море.

— Нет, сейчас именно непогода.

— Нет, непогода — это тихо. А когда такой фетер, это погода.

— Как раз наоборот, когда тихо, это погода, а когда буря, это непогода.

— Шутите фы, Николай Николаич, над стариком.

Вопрос о погоде и непогоде — предмет наших постоянных дискуссий с капитаном.

Так и не решив вопроса о погоде-непогоде, мы сошли вместе в кают-компанию и попали прямо к ужину. На столе — огромное блюдо с пшенной кашей. Перед каждым баночка с его «индивидуальным» маслом, а перед Борисом Лаврентьевичем и вторая баночка — сахарный песок, предмет всеобщей зависти. Однако ни у кого не хватает смелости воспользоваться любезным предложением отведать этого «песку»... кроме меня. В обмен на имеющийся у меня в изобилии клюквенный экстракт я широко пользуюсь чужими запасами, за отсутствием своих. У Бориса Лаврентьевича имеется заветная баночка с сахарным песком и большой туес с прогорклым маслом. У Осипа Михайловича огромные белые сухари, которые он извлекает откуда-то из-под дивана в своей каюте. Благодаря этим чужим запасам, я не окончательно голодаю, хотя и не могу похвастать излишней полнотой желудка.

Сегодня за ужином разговоры особенно оживлены. У первого помощника капитана, неутомимого Федора Матвеевича Пустошного, убежал гусь. Дикий гусь, пода-

ренный ему кем-то из команды «Новой Земли». По такому гусю получили Пустошный и Придик и везли их в подарок своим маленьким сыновьям. Вперегонку друг с другом капитан и его старший помощник очищали объедки с наших тарелок и пичкали своих гусей. При этом капитан норовил всегда контрабандой сунуть себе в карман и несколько хороших кусков черного хлеба, которые юнга Алешка прятал обычно для следующего дня нам же к столу. И вот каким-то необъяснимым образом гусь Федора Матвеевича исчез. Его клетка оказалась развязанной.

Это гусиное бегство так подействовало на хозяина, что он стал на следующий день даже меньше работать. Каждую свободную минуту он посвящал поискам гуся. А обычно Пустошный был совершенно незаменимым работником. Не говоря уже о том, что он собственными руками делал все, что попало, наравне с матросами, он умудрялся каким-то образом успевать везде и всюду. По существу, ведь он был единственным лицом штурманского командного состава на корабле, кроме капитана. «Молодой» Андрей Андреевич в счет не шел — он многого еще не умел и только петушился из-за всякого пустяка.

На следующий день пролив оказался опять совершенно забитым плавучим льдом. Повидимому, лед пришел издалека, так как время от времени на льдинах были видны морские зайцы и белухи. Кочегары, не принимающие участия в разгрузке судна, не преминули даже устроить охоту под руководством великого таймырского «ничегонеделателя», лекарского помощника, Алексея Алексеевича. На этот раз «доктор» изменил даже своему излюбленному занятию — бренчанию од-

ним пальцем на расстроенном пианино кают-компания и, взяв винтовку, пошел пострелять. Для всех нас это было большим облегчением, так как дало возможность немного отдохнуть от назойливо тренькавшего с утра до вечера пианино.

Кто-то из кочегаров заметил на плывущей далеко в проливе маленькой льдинке шевелящуюся темную точку. Решили было, что это тюлень, и открыли по нему стрельбу. Но тюлень не уходил в воду и продолжал шевелиться. При внимательном рассмотрении в бинокль эта точка оказалась гусем. Немедленно была снаряжена спасательная экспедиция, и гусь Пустошного после суточного плавания на льдине был торжественно доставлен на борт. Радости владельца не было пределов. Он ходил настоящим именинником.

В этот вечер я увидел первую звезду. Она вошла над самой мачтой радиостанции и казалась крошечным фонариком, прикрепленным к вершине мачты.

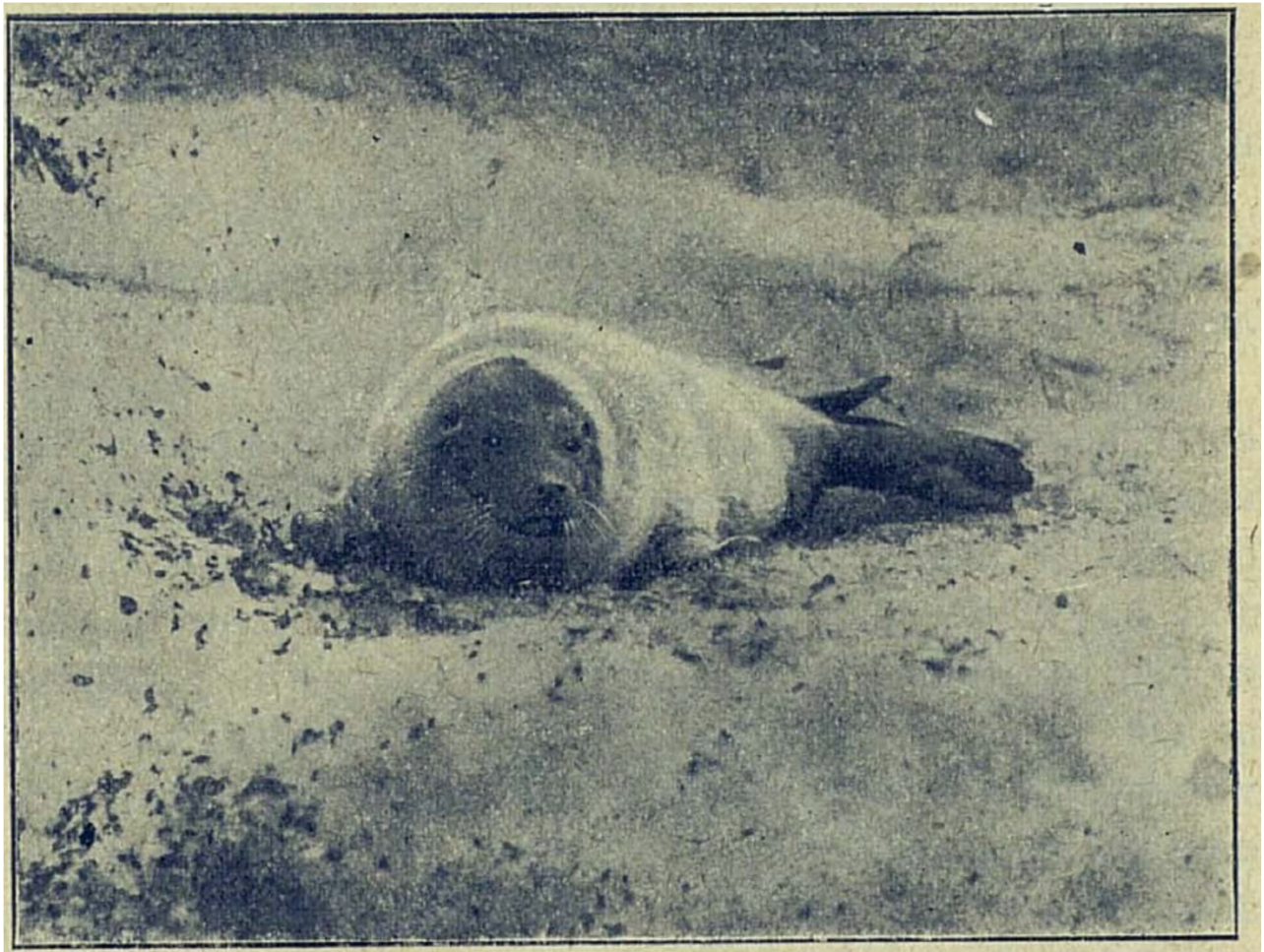
Это была первая настоящая ночь. Без солнца. Без серого бессонного неба. Первый раз не нужно было завешивать иллюминатор. Даже самый воздух, врывающийся в каюту, казался плотнее и свежее.

На следующий день мы закончили выгрузку «Таймыра». Палуба почти совершенно очистилась от нагромождений досок и бревен. Осталось только то, что нужно было для постройки нескольких знаков, возложенной на «Таймыр» в это плавание.

Один из знаков, с мигалкой, предстояло поставить на Карской стороне у мыса Выходного. Этот знак должен был служить единственным путеводным огнем судам Карской экспедиции в том случае, если бы ледовые условия не позволили им воспользоваться более южным

Югорским Шаром или Карскими Воротами и всей экспедиции пришлось бы подниматься на север до Маточкина Шара.

Мы заранее предвкушали удовольствие постановки этого знака. Берег у Выходного очень высок, и таскать



Нерпа

бревна на гору нам пришлось бы на огромное расстояние на своих плечах. Однако судьба избавила нас от этой задержки — льды так плотно забили вход в Карское море, что не было никакой надежды выбраться из пролива.

Тут я из случайного разговора узнал, что три дня тому назад вахтенный видел ночью «Новую Землю». Она прошла обратно в Маточкин Шар, удирая от пре-

следующих ее карских льдов. Оказывается, и наш радист слышал ее разговор с берегом. Бот не смог пройти к островам Пахтусова, куда собирался для моржового промысла.

Пришлось выбросить Вылку и Антипина в бухте Брандта и уходить от затиравших шхуну тяжелых полярных льдов. Ей это удалось не без труда. Три дня она просидела во льду, не имея возможности не только итти, но даже просто развернуться.

Все разводья стало затягивать свежим салом, и наш Александр Андреевич счел за благо не ждать, пока пролив запакует, и сниматься с якоря.

В ночь на 27 августа под темный шатер неприветливого холодного неба стремительно вырвались клубы горячего пара. Пар заревел, завыл в сверкающей медной сирене. В теснинах береговых гор далеко разнесся и побежал к обсерватории условный сигнал. Через полчаса от берега отвалили две шлюпки и, прыгая по расходящейся волне, пошли к нам. Наступил самый тяжелый момент для новой смены обсерваторского персонала: она доставляла на борт корабля уезжающих старых зимовщиков. Из них только служитель Фриц, предмет всеобщей любви и похвал, оставался здесь еще на один год.

Подкидываемые волнами, шлюпки бьются о борт «Таймыра». На концах поднимаются остатки личного имущества, по штормтрапу один за другим из темной мокрой бездны на освещенную сухую палубу вылезают новые пассажиры. С ними поднимается часть новой смены.

Последние рукопожатия в кают-компании. Фриц поочередно обходит всех своих бывших сожителей. Его



Фриц возит воду

широкая ладонь царапает красные, загрубелые ладони товарищей.

— Фриц, на будущий год увидимся?

— Не снаю, мошет, понрафится, ешо останусь.

— Смотри, медведицу в жены не возьми.

— Метфеть с метфетицей шифет, а шем я хуше метфетя?

Фрицу некуда торопиться. У него нет дома, нет близких в далекой России. Его родина далеко — Рур. Но Фриц не может вернуться на родину. Поэтому он не особенно тужит при расставании со старыми товарищами. Впереди всех самый веселый, самый ловкий, Фриц спускается по штурмтрапу в прыгающую лодку.

Скоро обе шлюпки исчезают в направлении к берегу, удаляясь к устью Ночуя. Слышится только мерный стук уключин.

На год.

Наверху, в полумраке командирского мостика, слышатся голоса. Первая вахта.

Отгремел якорь. Снизу издалека, из сверкающего электричеством жаркого чрева «Таймыра» донеслось пыхтенье, сперва слабый, нерешительный металлический стук, потом шибче, звучней. Застучал, застонал металл.

Замелькали шатуны, пошли кружиться кривошипы и далеко, у самой кормы застучали по льдинам винты. Весь корпус затрясся. Огоньки обсерватории стали отходить в сторону, перешли на другой борт и скоро совсем исчезли за поворотом пролива.

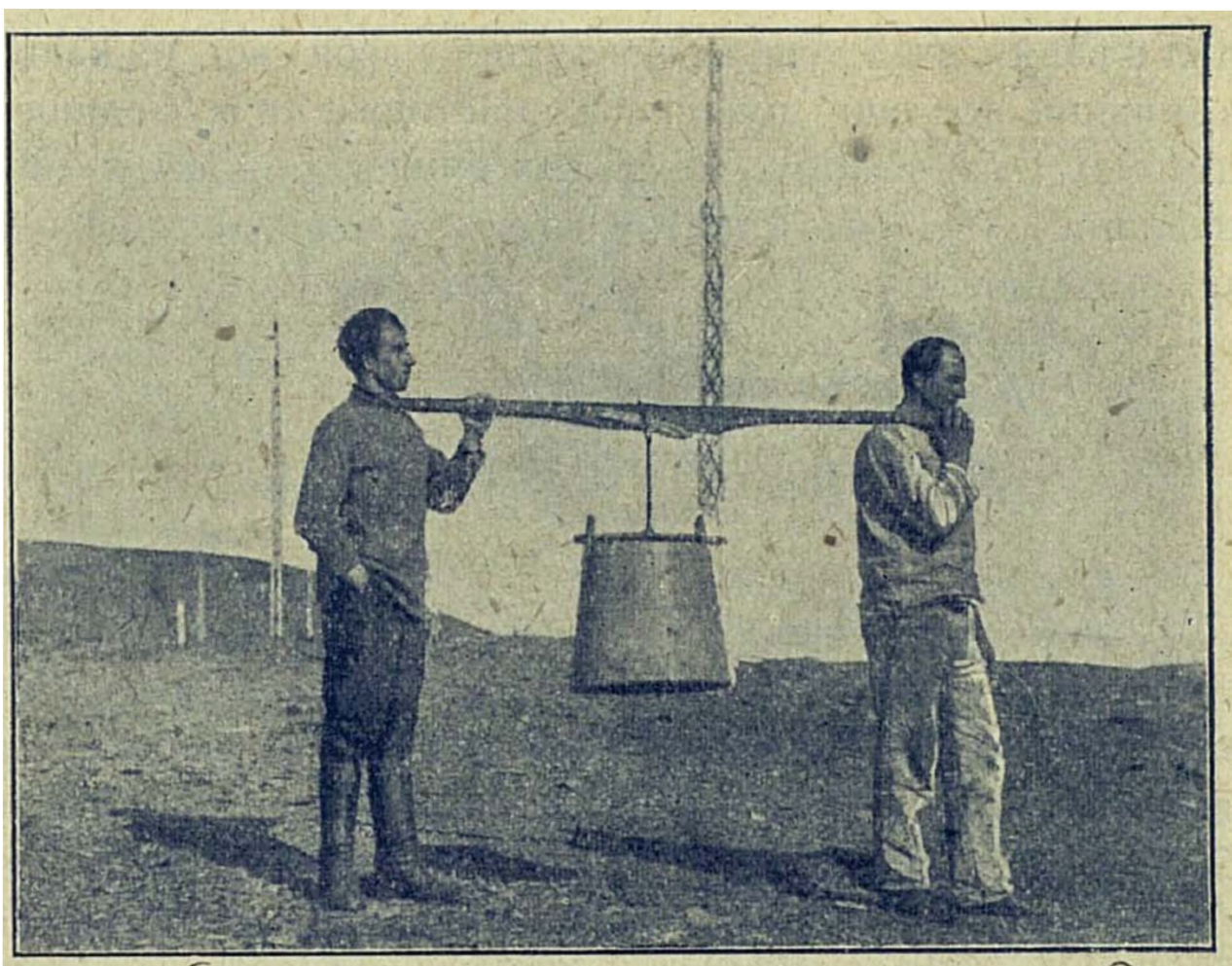
В ярко-освещенной кают-компании заняты все кресла, на диванах плотно сидят пассажиры. Со всех сторон радостный смех. Совершенно особенные разговоры.

— А вот когда я приеду, первым делом куплю ворох газет.

— Нет, я в киношку.

— Нет, ни газет ни в киношку — куплю фунт шоколада и десяток пирожных.

— Уж лучше арбуз.



Магнитолог Никольский и служитель Фриц за хозяйственной работой

— Тогда уж — и пирожные и арбуз.

— Слушайте, неужели действительно существуют огурцы, помидоры, арбузы? Вот наемся-то...

Это холостежь. У семейных меньше съедобных восторгов. Большинство предвкушает радости встречи. Кое-кому не терпится и начинают перебирать загото-

вленные подарки: самоедскую сумочку, песка, промышленного своим капканом, коллекции новоземельских цветов.

В дверях появляется чумазый Василь Иванович. Немедленно составляется матч в «козла»: матшарцы — таймырцы.

Под стук костей я ушел к себе. Успел почитать, сходил в ванну, взял душ. Когда тушил у себя свет, из кают-компании все еще доносился неистовый стук медяшек домино. Повидимому, к игрокам присоединился и вернувшийся с вахты капитан, потому что слышалось меланхолическое:

— Окатили.

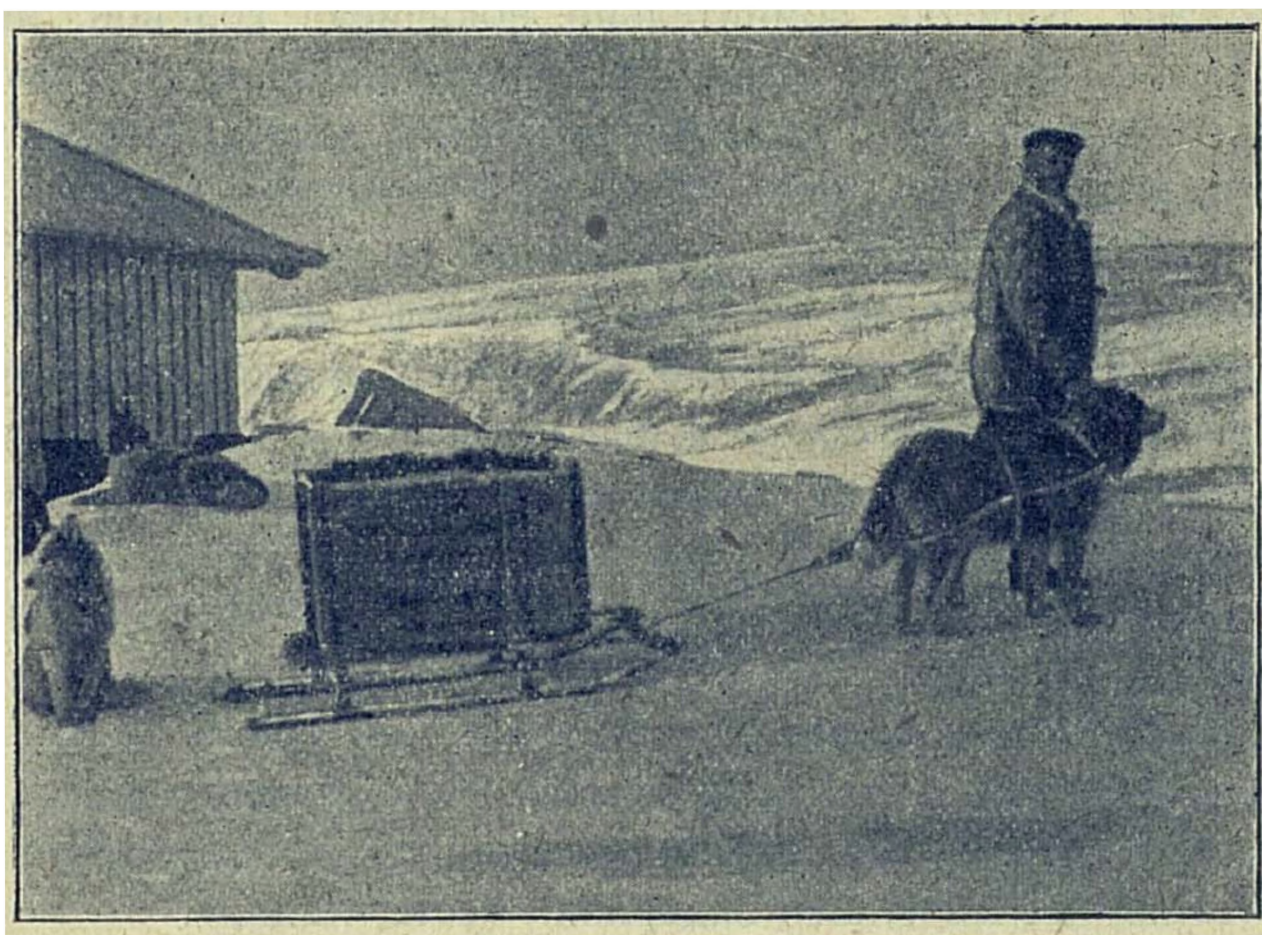
2. РЕВНИВЫЕ СТРАСТОТЕРПЦЫ

28 августа я проснулся ни свет ни заря от яркого солнца, беззастенчиво заглядывавшего в открытый настеж иллюминатор. Было еще далеко до восьми часов — законного времени утреннего чая, а по всему судну несли топот тяжелых сапог, и с палубы слышался голос боцмана. Я едва успел проделать обычные гимнастические упражнения и принять холодный соленый душ, как в каюту прибежал сердитый юнга Алешка и в третий раз позвал меня к столу. Жизнь сегодня начиналась почему-то особенно рано. Только выглянув в иллюминатор, я понял, в чем дело: мы пришли к устью реки Шумилихи, у Баренцова конца Маточкина Шара. Здесь предстояло ставить первые знаки.

Я наспех допивал свой чай, когда в кают-компанию вошел Василь Иванович, облаченный в рабочее платье. Он не дал мне докончить чаепитие.

— Говорили, что ревнуетесь с нами, а сами чаи распиваете.

Дело в том, что команда «Таймыра» заключила по радио договор о социалистическом соревновании с каким-то другим гидрографическим судном и тянулась теперь во-всю, стремясь в наиболее короткий срок выполнить свое неизмеримо тяжелое задание. И без того



Биолог Казанский за работой ассенизатора

тяжелый рабочий день матросов (в море двенадцать часов без выходных дней) превращался теперь в каторжную работу. Это называлось у матросов «ревноваться».

Я давно уже повел среди пассажиров агитацию за то, чтобы принять участие в наиболее тяжелой части работ

команды при выгрузке на берег материалов в местах постановки морских знаков. Меня энергично поддержал Шведе, и все обещали с сегодняшнего дня вступить в строй.

Однако сегодня, как на зло, с Баренцова моря тянул отчаянный зюйд-вест. В вантах выли предостерегающие голоса ветра. По проливу ходила размашистая темная волна, раскачивая «Таймыр» не хуже нашей «Новой Земли». Капитан сомнительно покачивал головой, не решаясь начать выгрузку материалов на берег в такую погоду. Однако «ревнивцы» рвались в дело, и Пустошный взял на себя руководство всей работой.

Через полчаса отчаянных усилий карбасы были спущены. На воду стали спускаться связки огромных бревен. Их сплывали прямо на волнах, подкидывавших бревна к самому борту и раскидывавших их в разные стороны. На плот из бревен мы стали скидывать доски, ловчась попасть так, чтобы они ложились вдоль плота. Внизу их поправляли два матроса, в том числе старый усатый Милкин.

Стоя по колени в воде, этот Милкин ловко подхватывал багром доску и укладывал в надлежащем направлении. На крик сверху «полундра» он неизменно отвечал без малейшей задержки: «есть, кидай».

Подойдя к борту с тяжелой плахой и думая только о том, чтобы сохранить на краю палубы равновесие и не сыграть за борт вместе с ношей, я крикнул обычное:

— Полундра!

И тотчас снизу донеслось хриплое:

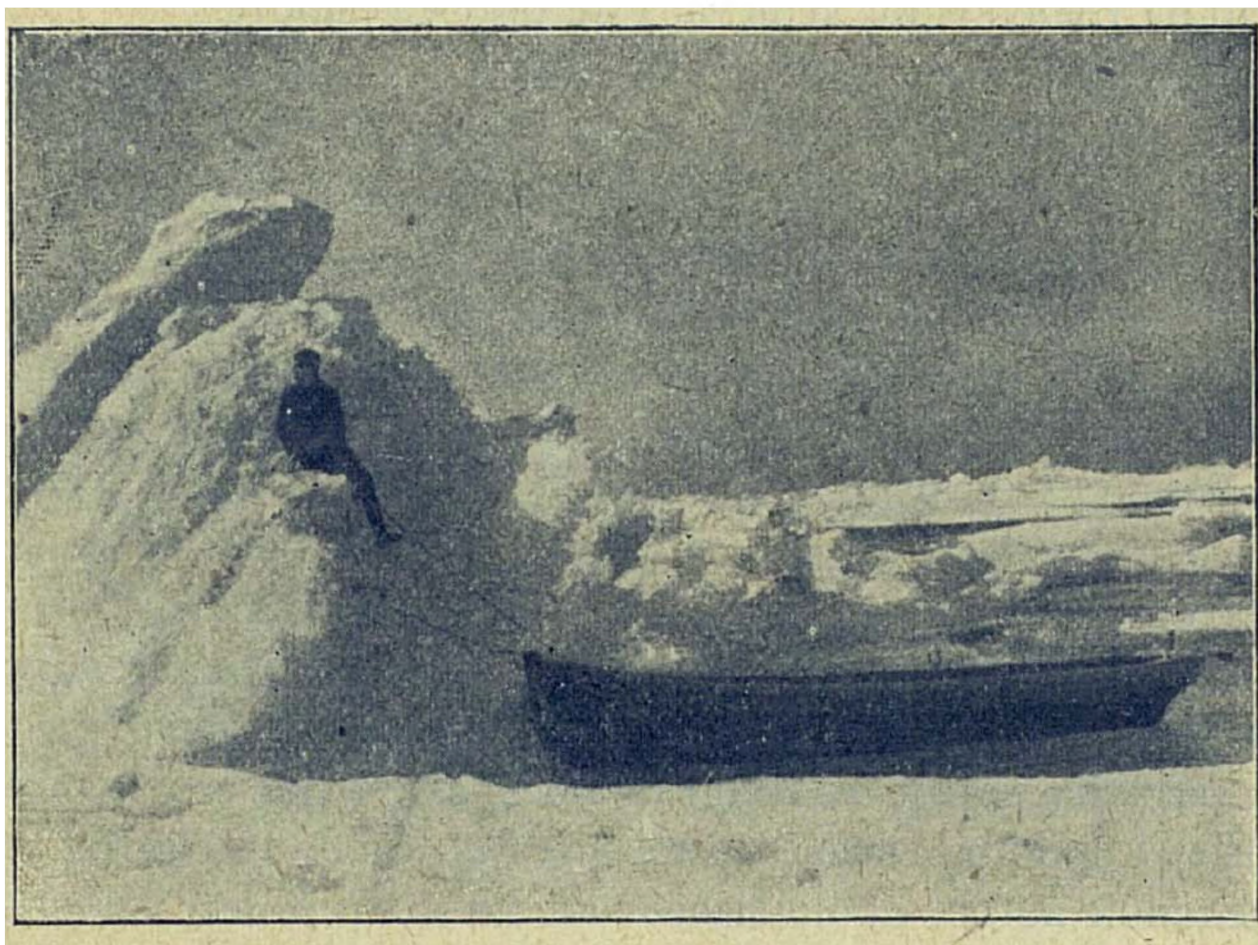
— Ладно, кидай!

Я отскочил в сторону, и плаха со свистом устремилась вниз. Однако вместо резкого плеска слышался

глухой удар и крик молодого матроса, стоявшего на плоту вместе с Милкиным:

— Ух, мать твою перетак... Стой ребята! Милкина убили.

Оказывается, Милкин, поправляя предыдущую доску, немного поторопился крикнуть мне «кидай» и получил



Льды в проливе Маточкин Шар

удар плахой по голове, не успев от нее увернуться. Теперь он лежал распластаный в воде, перехлестывавшей через плот. Все были вполне убеждены, что у Милкина, по крайней мере, расколот череп. Немедленно спустили петлю для подъема его безжизненного тела. К борту, бросив пианино, мчался «доктор» Алексей Алексеевич. Однако все оказалось напрасным. Полежав

в воде, Милкин стал на корачки и начал неистово ругаться. Из этого можно было уже заключить, что положение его по крайней мере не безнадежно. Еще через минуту Милкин поймал мотающийся у него над головой штормтрап и взобрался на палубу. Им овладел «доктор». Милкину пришлось наложить на голову три шва. Но на следующий день он уже был на работе.

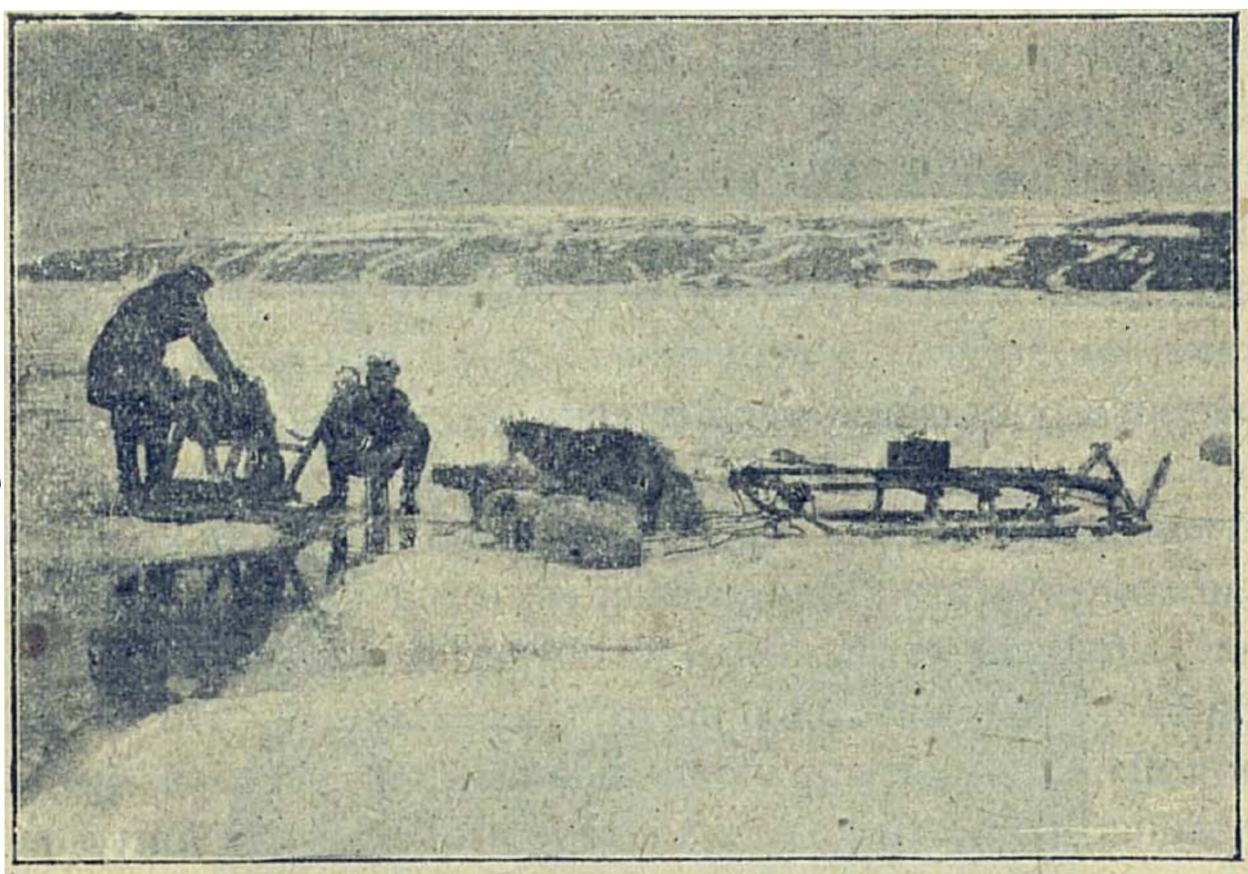
Тем временем наш карбас вместе с бревенчатым плотом был отведен катером к берегу. Катеру подойти к берегу не удалось, и нам пришлось переходить на карбас и выгребать, таща за собой плот.

Только тут мы поняли, что капитан был, повидимому, прав, не желая сегодня приступать к выгрузке. Выйдя из-за прикрытия прибрежных возвышенностей, мы попали под удары такого жестокого зюйд-веста, что в буквальном смысле слова с трудом удерживались на ногах на крутых склонах холма, куда предстояло втаскивать материалы. Носить их нужно было на расстояние полутора километров на плечах. Если порожнем трудно было стоять на ветру, то тащить бревна против его напора было просто выше человеческих сил. Несмотря на ледяной ветер, пронизывавший до костей, пот прошиб меня на первых же десяти шагах. Нехватало дыхания, рот был все время набит чем-то плотным, щеки отдувались. А стоило повернуться немного боком к ветру, как он начинал с такой силой жать на поверхность лежащего на плечах бревна, что не было никакой возможности удержать ношу. Казалось, вот-вот бревно проломит ключицу.

Задыхаясь, мокрые, точно облитые водой, мы в несколько приемов, по два и три человека, все-таки пытались втащить бревна на гору. К обеду люди были

так вымотаны, что, несмотря на прущую из них «ревность», стали проситься на судно. Но Пустошный не сдавался. Изгибаясь под тяжестью мешка, набитого гвоздями, с кувалдой под мышкой, он медленно и упорно лез на гору, понукая остальных.

— А ну, еще одно бревно; последнее бревно, а там и за кашу. Каша-то какая сегодня будет!



Гидрометрические работы на проливе

Мы пыхтели из последних сил. Когда вернулись на берег и спихнули карбас, руки у гребцов негнулись и дрожали.

Неунывающий Пустошный покрикивал:

— А ну, навались, молодчики, чарку поднесу.

И мы поднаваливались, не питая никаких надежд на чарку, так как отлично знали, что на всем судне нет ни

капли спирту. Даже, каша, и та очень проблематична. Томительно долгим кажется путь на веслах. Катер же не мог за нами притти из-за большой волны — боялся выброситься на берег.

Ветер все усиливался. Повидимому, в море разыгрывался отчаянный шторм, начавшийся еще при нашем выходе с обсерватории. Итти на берег после обеда нечего было и думать.

На другой день ветер совершенно спал, и по гладкой как зеркало поверхности пролива не пробегало ни одной рябинки. Мы снова ревновались над бревнами. Тут настала моя очередь пострадать за ревность. Мне досталось нести бревно со вторым помощником капитана, «молодым», и геофизиком с Матшара. Все мы были разного роста, а комель бревна был невероятно тяжел; обязательно нужно было стать под него двоим. Мы стали с геофизиком. Потащили. Через несколько шагов «молодому» показалось тяжело, и он, не предупреждая нас, сбросил свой конец с плеча. Геофизик успел отскочить, так как шел на той же стороне, что и «молодой», а меня подскочившее как на рессоре бревно ударило со всего размаха комлем по плечу, и я кубарем полетел под откос. Повидимому, я представлял собою довольно безнадежное зрелище, так как несколько человек, побросав свою ношу, прибежали ко мне на помощь. Я же некоторое время просто не мог сообразить, что со мною произошло. Придя в себя, я с трудом поднялся на ноги. Все тело было разбито так, что я едва удержался, чтобы не лечь опять на землю. Повидимому, я надолго выбыл из строя. На следующий день окончательная постановка знаков происходила уже без моего участия.



Рис. Василия Беляева. Тип самоедки с о. Колгуева, Становице Бугрино 1929 г.

Ярко раскрашенные черными и белыми полосами знаки высотой около пятнадцати метров были отлично видны с воды и могли теперь служить надежными створами для прохода этой частью пролива, делающего здесь резкий поворот.

Покончив со знаками, «Таймыр» немедленно снялся с якоря и пошел к Баренцову морю.



Экскурсия вглубь острова

3. У СТАРЫХ ЗНАКОМЫХ

Погода сегодня на славу, и на палубе днем впору принимать солнечные ванны.

К вечеру мы подходим к Поморской губе совершенно гладкой водой.

Едва показалась за изгибом Поморская, кто-то крикнул с верхнего мостика:

— Николай Николаевич, ваша «Новая Земля» здесь стоит.

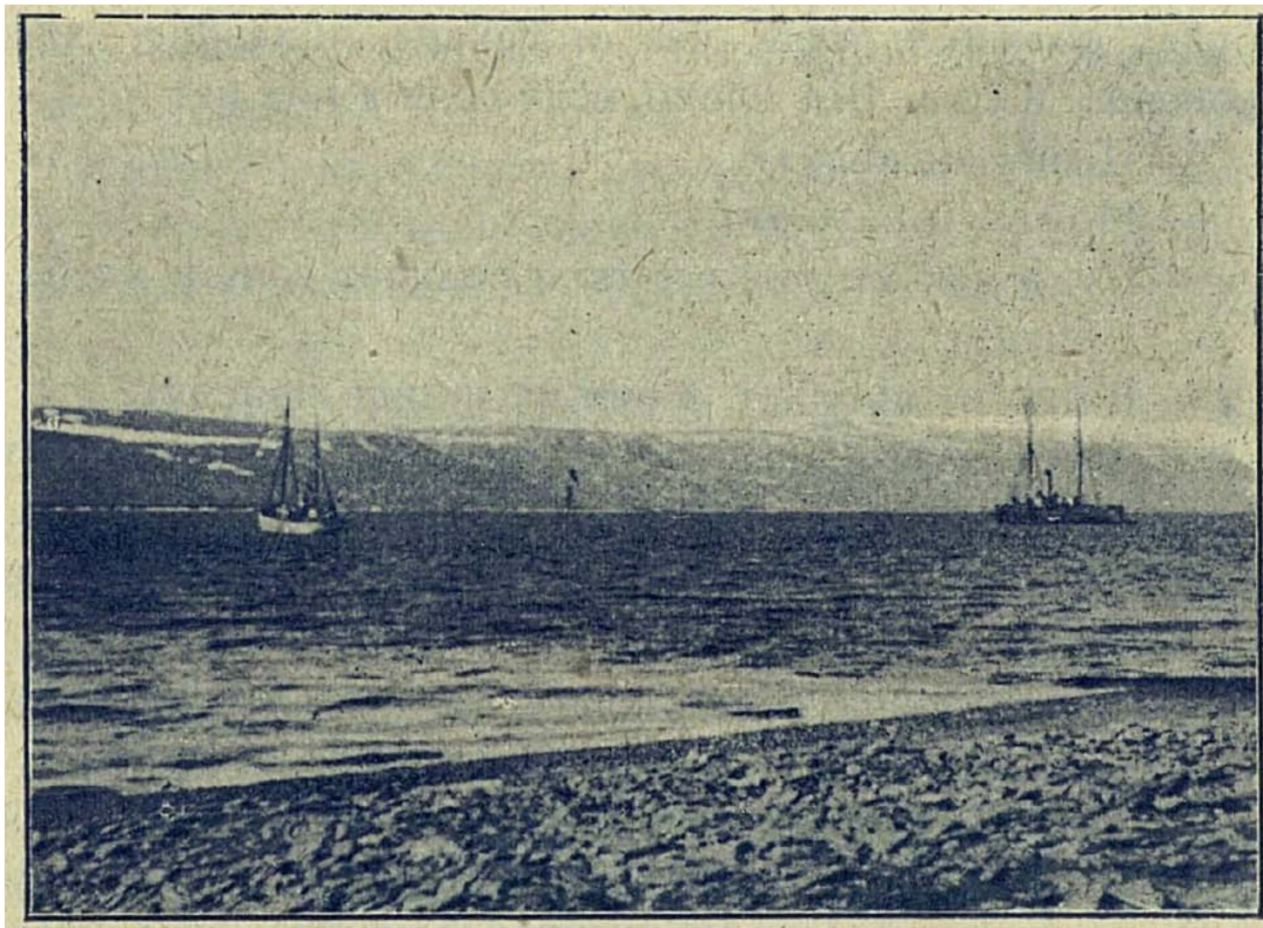
Я стремглав бросился на мостик. Действительно, в бинокль на глади Поморской губы была видна небольшая белая шхуна. Однако при внимательном рассмотрении я увидел, что очертания ее немного отличались от очертаний «Новой Земли» и, повидимому, она была меньше. Так оно и оказалось. Подойдя ближе, мы узнали бот «Зарницу», принадлежащий Институту изучения севера.

На стенъге «Зарницы» при нашем приближении взвилось несколько цветистых сигнальных флагов. Это было совершенно необычно для нынешних условий плавания, особенно здесь, где пользовались для разговора радиопередачей даже в тех случаях, когда можно было просто перекликаться с борта на борт. Неожиданность была настолько велика, что у нас никто не мог прочесть сигнала «Зарницы», а капитан так даже и выругался:

— Какой шорт им ната? Фасон тавить встумали.

С трудом установили, что речь идет о том, что «Зарница» потеряла радиосвязь. При ближайшем знакомстве с экипажем «Зарницы» выяснилось, что несчастный бот попал как раз в тот шторм, от которого мы отстаивались около Шумилихи. «Зарницу» шторм застал в Баренцовом море. Ее так нещадно стало трепать, что пришлось искать защиты у берегов. Но и тут ей долго не удавалось войти в пролив и укрыться в Поморской губе. В результате у нее оказалась сорванной антенна протянутая между стенъгами высоких стройных мачт, и утащило с палубы принайтовленные там бочки с моторным маслом.

В становище Поморской мы были встречены старыми знакомыми — Князевым и самоедами. Моториста и части промышленников не было налицо — они ушли на Карскую сторону. Оказывается, «Новая Земля» в прошлый



„Новая Земля“ и „Таймыр“ в Маточкином Шаре

раз не смогла пройти во льдах к зимовью артели, заброшенному южнее бухты Брандта с несколькими промышленниками, и не забросила им таким образом продовольствия. Им грозила голодовка. Было мало вероятно, что моторному катеру артели удастся пробраться сквозь льды и выручить своих голодающих членов. Меня заинтересовала судьба этих несчастных в том случае, если катер до них все-таки не дойдет (так оно потом и оказалось).

— Ну, а если катер все-таки не дойдет?

— Ну, поголодают.

— Так ведь этак можно и ноги протянуть?

— Ну, ноги-то не протянут, а победовать победуют. Морзверя так или иначе добудут. Значит, нехватка будет только в муке, чае и сахаре... Главное, хлеб, конечно, и соль. Вот плохо, если соли у них нет.

— Цынгу наживут?

— Может, и наживут.

— Ну, а как же они все-таки получают соль и хлеб?

— Приедут.

— Катер не пройдет, а они на тузике приедут?

— Зачем на тузике, а энти-то рысаки им на што дадены?

И говоривший указал на мчавшуюся к нам стаю мохнатых псов.

Снабдив «Зарницу» моторным маслом и приняв целую кипу радиogramм, мы покинули Поморскую губу.

В эту ночь погода стала сильно портиться. Выйдя в открытое море, мы сразу почувствовали его ласковый отеческий прием. Как крошечная былинка, стал раскачиваться «Таймыр» на мерно вздымающейся упругой груди океана. С запада в атаку на нас помчались полчища белых пенистых гребней. Разбиваясь о стальной борт «Таймыра», беляки исчезали, уступая место новым участникам непрерывного штурма. А штурм усиливался час от часу. Море начинало реветь под всхлипывание и завывание ветра, заранее оплакивающего страдания попавших в объятия океана мореплавателей.

Положению пассажиров «Таймыра» в большую волну действительно нельзя позавидовать. Несмотря на значительное водоизмещение судна, оно отличается совер-

шенно исключительной валкостью. Особенно чувствительно оно к боковой качке. Причиной тому — плавные ледовые обводы корпуса, скопированные строителями с лучших образцов полярных кораблей; кроме того, у «Таймыра» совершенно отсутствует килеватость днища, из-за чего он реагирует на бортовую качку особенно чувствительно.

Страдания пассажиров только еще начались, крен судна не превышал пятнадцати градусов, а кое-кто из матшарцев уже плашмя лежал в своих койках, не будучи в состоянии выйти из каюты.

Сквозь сон мне слышно, как в шкапах начинает постукивать и время от времени чувствуются удары головой в переборку, когда судно ложится на мой борт. По палубе что-то мерно катается взад и вперед. Но спать под это постукивание, позванивание и размерные качания корабля только лучше. Даже ничего не снится.

Весь следующий день кое-кто из нас сидел на удвоенной порции за счет тех членов кают-компании из числа матшарцев, которые не способны были принимать пищу. Некоторые из них просто лежали в растяжку на своих койках, изредка поднимаясь только для того, чтобы стремглав пронестись через кают-компанию к гальюну; в такие моменты их лица приближались по цвету к окраске сукна на старорежимных судейских столах; в глазах появлялось выражение неизбывной тоски, щеки неестественно раздувались.

В столах ветра, грохоте волн и нервном раскачивании судна прошел серый день и свинцово-темная, но все еще не настоящая, не черная ночь. За переборкой время от времени тихо постанывал кто-то из страдальцев, а на диване сладко храпел Шведе, выставив из-под одеяла

под действие неистово захлестывающих в иллюминатор порывов холодного ветра непечатную часть спины.

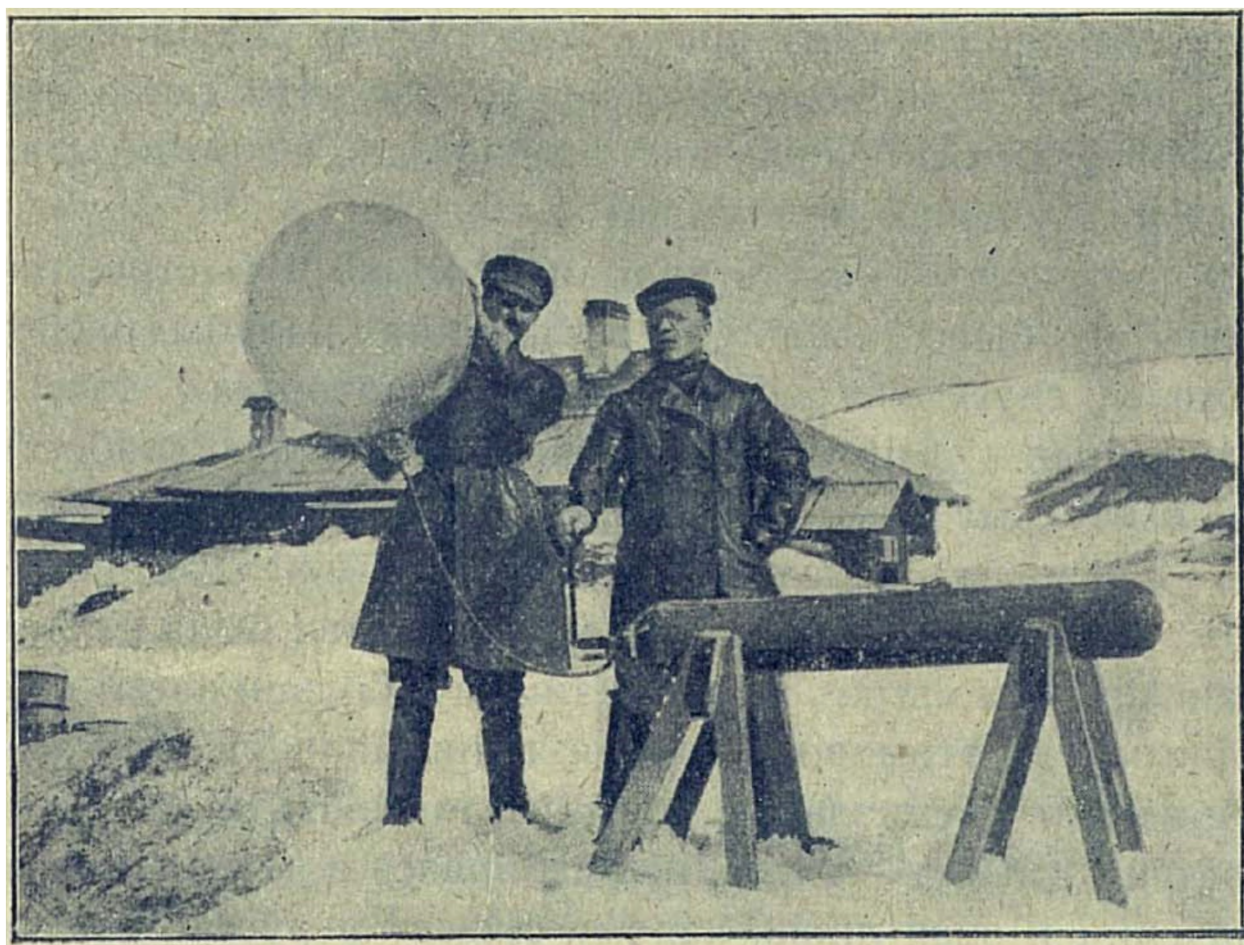
К полудню 30 августа «погоды» как не бывало. Снова море приветливо рябит небольшими барашками. С голубого неба ярко улыбается солнце, изредка прикрывающееся вуалью легких, призрачных, как распушенное страусовое перо, страусов.

Мы подходим к Малым Кармакулам. Мимо нас проходят серые каменистые массивы шести островов Кармакульских, прикрывающих подход к Кармакулам. На всех заметных мысах возвышаются массивные, сложенные из камня гурии. Эти хорошо видимые издалека знаки — старые, но надежные хранители памяти о многих десятках безвестных матросских рук, втаскивавших камни на отвесные кручи диких скал. Эти высокие каменные конусы носят имена Гагарина, Энгельгарда и других беззаветных пионеров гидрографического исследования нашего далекого севера. Обветренные, шершавые серые камни — память о старших братьях нашего «Таймыра», представителя славных времен русской борьбы за познание Северного Ледовитого океана.

4. МАЛЫЕ КАРМАКУЛЫ

Малые Кармакулы — старейшее становище Новой Земли. За его плечами уже пятьдесят лет существования. Но тот, кто видел его вскоре после основания, приезжает сюда теперь так, как-будто бы и не уезжал — внешне все осталось по-старому: старые серые домики, старые облезлые купола церкви. У Бориса Лаврентьевича, побывавшего здесь, кажется, более двадцати лет тому назад, даже бинокль задрожал в руке.

— Послушайте, но ведь это же все то же. Ведь я только вчера отсюда уехал. Время не наложило на Кармакулы своей руки. Они не подвинулись ни на шаг вперед.



За аэрологическими наблюдениями

— Правда, Борис Лаврентьевич, было бы не плохо, если бы вы могли сознавать, что и на вас время отразилось так же мало.

— Ну, милый мой, когда из почти молодого... да, да, не улыбайтесь, я же сказал «почти» молодого человека, превращаешься в обладателя седой бороды и большой лысины, тогда трудно строить иллюзии насчет нетленности вещей, да и пропадает, сказать правду, само желание к таким иллюзиям.

В виду становища, на расстоянии двух миль от него, мы бросили якорь и немедленно приступили к спуску карбасов.

Заскрипели блоки. Забегали матросы. Боцман, поныхивая щегольской французской трубкой, торопливо приготавливал инструмент, кисти, краски. Не спеша и негромко, но в то же время как-то так, что слова его приобретали особенную внушительность, он отчитывал молодого матроса, помогавшего ему.

В противоположность боцману, громко и быстро, так чтобы его было слышно во всех концах палубы, распоряжался спуском гребных судов и моторного катера Пустошный. Он питал совершенно непонятную слабость к английскому языку, когда дело шло о команде. То и дело слышались возгласы: «Но мор! Инафф! Олл райт!» Я не думаю, чтобы наша милейшая братва была сильна в английском языке, но, повидимому, большинство уже привыкло к этим возгласам и принимало их так, как принимают специальные морские термины, вроде «полундра», «майна» и т. п., не разбираясь в их подлинном значении и зная лишь, какому смыслу в русском переложении они соответствуют.

Как бы там ни было, но эти английские команды исполнялись. Быстро скользили лопари по скрипящим блокам, пыхтели молодые матросы над неподатливыми шлюпбалками. Плавучие средства быстро спускались на воду. Все шло как нельзя лучше, как вдруг раздался резкий, дикий крик Пустошного:

— Стоп все!.. Стоп там на таях, я говорю!..

Дальше следовало несколько фраз, которых я не в состоянии передать.

Немедленно все замерло.

— Вы что же, шляпы этакие, катер топить мне вздумали?

Пустошный бросился к борту. Внизу на воде лениво покачивался наш моторный катер, быстро наполняющийся водой. Моторист как ошалелый ползал в нем на коленях. Он искал пробку от слива, который забыли заткнуть перед спуском катера. В незакрытое отверстие катер быстро наполнялся водой, оседая все глубже и глубже. Гаки блоков были уже сброшены, и катеру грозило затопление. На спардеке поспешно расправляли тали, чтобы поднять на них катер. Но в этот момент моторист нашел, наконец, пробку и заколотил слив.

К счастью, воды набралось еще не так много, чтобы подмочить мотор, и поэтому, как только отлили из катера воду, он был готов к работе. На буксире у него к становищу отвалил карбас, полный народу.

Становище Малые Кармакулы стоит на довольно высокой гряде и хорошо защищено от воды даже в самые сильные штормы. Культура пошла здесь так далеко, что зимовщики устроили даже маленькую пристань и выложили камнями на манер лестницы высокий подъем к постройкам.

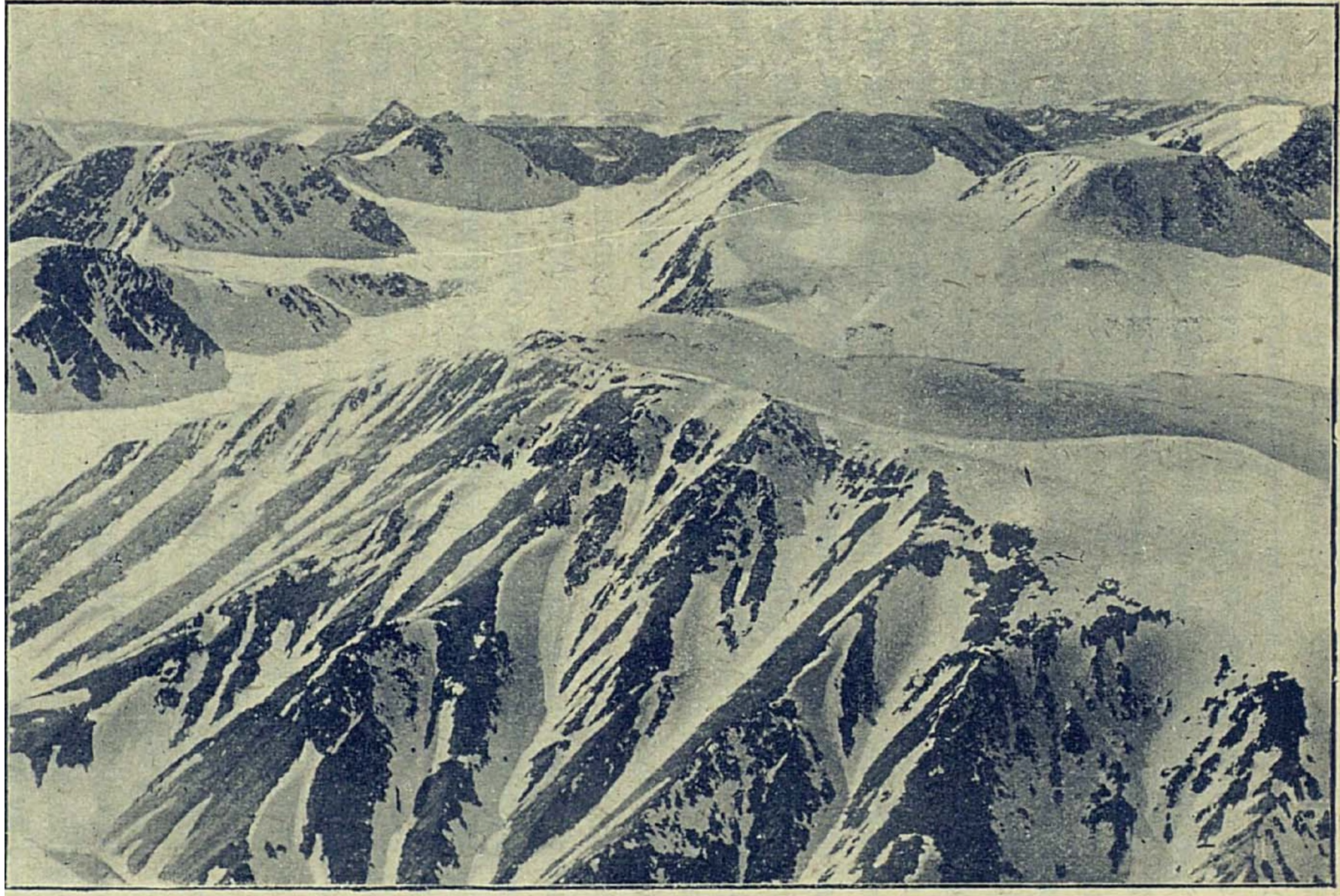
Самый большой дом здесь двухэтажный. Он переделан из церкви — самой большой и богатой на всей Новой Земле. Теперь иконы и церковная утварь свалены грудой около дома как ненужный хлам. Все деревянное, что могло гореть, использовано в качестве топлива. Тут же, в двух шагах от этого нового общежития промышленников, расположено и кармакульское кладбище. Несколько поодаль от бывшей часовни стоит изба метеорологического наблюдателя Убеко—Зенкова, а еще дальше — два дома промышленников самоедов. Вдали,

в излучине губы, совсем на отшибе от становища, поставил себе крошечную избушку бывший поп кармакульской часовни и живет теперь там как промышленник.

Как только жители выяснили, что вместе с нами на берег высадился матшарский врач, его немедленно потащили к самоедским домам. Там лежали больные без всякой помощи. У женщины, родившей несколько дней тому назад ребенка, принимала соседка самоедка. Теперь у роженицы начиналась горячка. Врач застрял в этих домах, повидимому, надолго. Я же пошел в соседний дом.

В доме четыре небольших горницы. В каждой горнице живет отдельная семья. Семья самоедки Марии занимает самую большую горницу, но и в ней буквально нельзя ступить шагу, чтобы не наступить на ребенка. У Марии восемь детей мал мала меньше. Их постель представляет собой тонкий слой оленьих и нерпичьих шкур, положенных на пол. Так в ряд на полу они и спят, перегораживая всю горницу. Лежат на постели прямо в малицах.

Дети здесь производят отчаянное впечатление. Лица у них мучнистые, у маленьких совершенно прозрачные. Только у некоторых мальчуганов постарше заметен слабый намек на румянец. Хозяйка Мария — старуха. Желтое худое лицо покрыто сетью глубоких морщин. Мария, повидимому, невероятно худа, под выношенной ситцевой кофтой угадываются острые кости плеч, ключицы отделены от шеи глубокими впадинами с морщинистой старой кожей. Сидит Мария согнувшись, как совершенно бессильная древняя старушка. Ходит с натугой, тяжело, шаркая ногами. Со всем этим совер-



Берега пролива Маточкин Шар

шенно не вяжутся черные, как смоль, волосы. Трудно предположить, чтобы наружность обманывала, и остается загадкой, каким образом волосы могли сохранить такую окраску без намеков на седину.

В действительности оказалось, что обманывают не волосы, а изможденный вид Марии — ей всего 35 лет. Большинство ее товарок, здешних самоедок, имеет такой же точно вид. В них никак не признаешь пышущих здоровьем румяных хабинэ Колгуева. Повидимому, условия жизни сказываются и на потомстве. Дети вялые, молчаливые. С большим трудом я привлек несколько мальчуганов к состязанию в стрельбе из лука на приз в виде пригоршни леденцов. Ребята большие мастера этого дела. На расстоянии двадцати пяти шагов они легко пробивают стрелой листок из записной книжки.

К сожалению, никто из соревнователей-карапузов не говорил по-русски, и мне не удалось с ними потолковать. Покинув ребят, я вернулся к Марии. Мне сказали, что я могу купить у нее патку и пимы очень хорошей работы — она считается в становище лучшей рукодельницей.

Когда я вошел к Марии, она сидела на постели, сгорбившись над работой. На коленях были разложены обрывки тряпочек и кусочки меха.

— Еще раз здравствуй, Мария.

Мария ответила, не опуская работы:

— Тляствуй.

— Как живешь, Мария?

— Плоха живу.

— Где твой хозяин-то?

— На пломыси.

— Почему же плохо живешь, коли промысел есть?

— Какой пломыс, нет сосем пломыса. Сей год почи-
тай все сдавали Гостолгу, а ничего кусать нет.

— Что, плохо с продовольствием разве?

— Оцин плохо. Ни дает Гостолг. Агент уезал, за
агента наблюдателя зона оставалась; почитай ницево
не давала.

Я сам знал, что в этом становище с продовольствием
было действительно плохо.

— Ничего, Мария, нужно немного переждать.

— Как годить-то? Кусать надо. Дети годить не
станут.

— Ну, не помрут ведь дети твои от того, что месяц-
другой посидят, не евши сахару вволю.

— Как не помрут, помрут.

— Ну, ладно, Мария, сахар сахаром. А вот зачем я
к тебе-то пришел: мне нужно купить красивую патку.
У тебя нет ли продажной?

— Зацем нет. Есть патка... холоса патка.

Мария полезла под ворох тряпья и шкур, наваленных
на постели. Из разрытой кучи грязных тряпок на меня
пахнуло немытым, долго ношенным платьем, потом,
салом и, главное, неизменным тюленьим жиром. Из-под
этого хлама Мария вытащила нарядную небольшую
патку белого меха, расшитую темным меховым же узо-
ром и яркими орнаментами из зеленого сукна.

Патка была действительно хороша.

— Сколько хочешь за нее, Мария?

Мария подумала и, не повышая голоса, заговорила по-
самоедски. Сперва я думал, что она говорит со мной,
но через минуту растворилась дверь и в горницу вошла
старая опухшая самоедка. Оказывается, стены в доме
так тонки, что для разговора с соседями нет надобности

даже менять тон голоса. Самоедки стали между собой совещаться. Брали патку, смотрели на нее, примеряли на руке, точно взвешивая. Заглядывали внутрь. Наконец Мария сказала:

— Лукелья говолит, тли целковых нада.

Цена была высока по здешним понятиям, но у рукодельницы был такой жалкий вид, что нехватало духу торговаться. Я вынул червонец.

— Сдача найдется?

— Нету.

Лукерья что-то залопотала и потом сказала по-русски:

— Кока даци нада?

— Семь рублей.

— Семя рупли?

— Да, семь рублей.

— А кока семя рупли?

— То-есть как сколько? Семь рублей так семь рублей.

— Кока теньги?

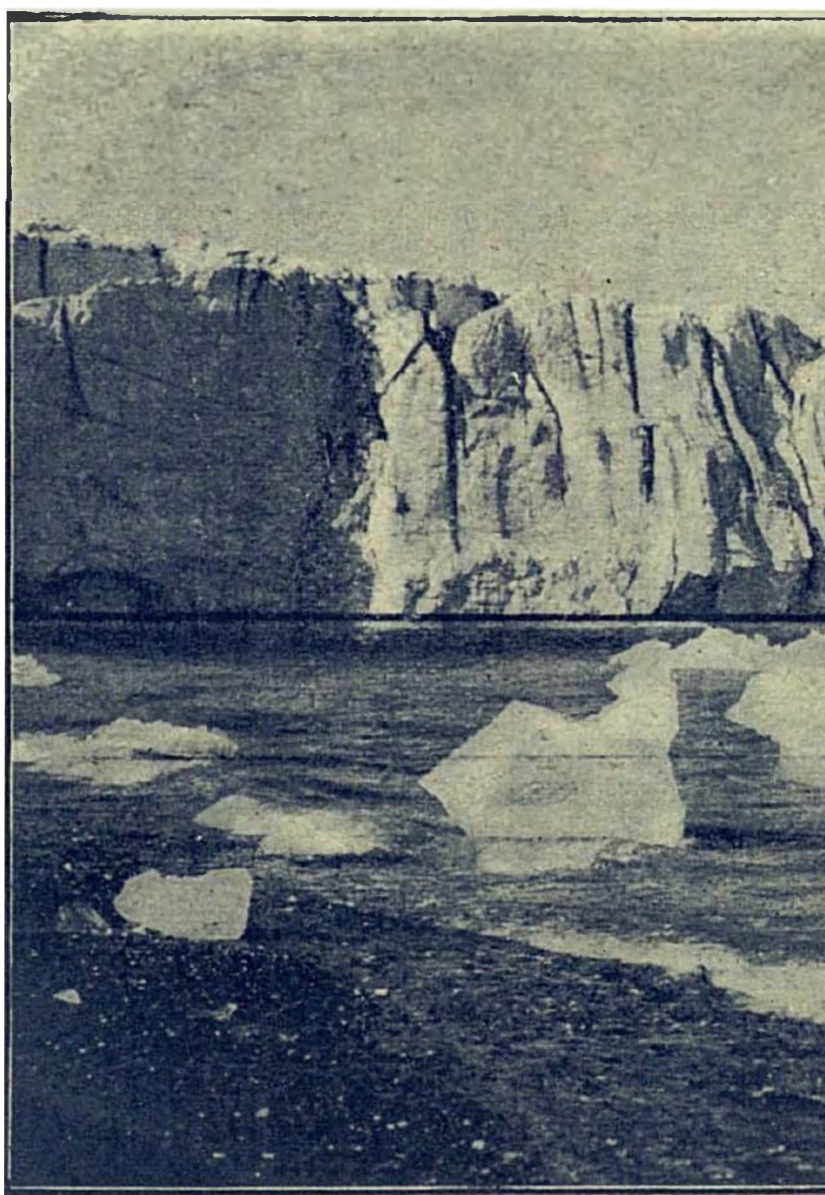
Я показал на пальцах сколько рублей — семь пальцев, это оказалось понятным. Стали рассчитывать. Здесь мне были предложены на выбор бумажки самого разнообразного достоинства — от рублевых до пятичервонных; бери любую, вообще сам отсчитывай себе сдачу. Но, как только расчеты были закончены, Мария тотчас забыла о деньгах.

— У тебя ситец нету?

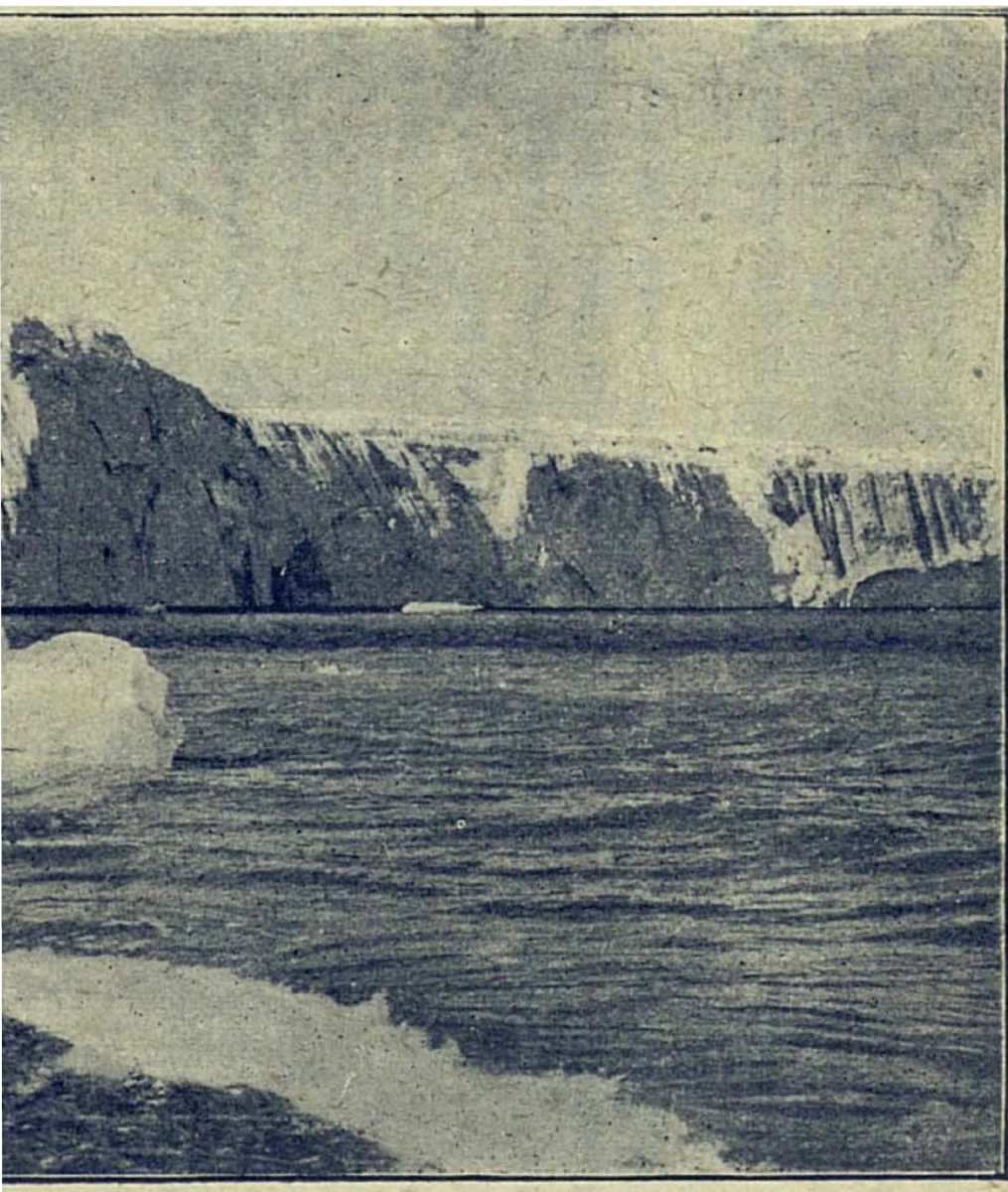
— Нет, ситца нету, а что тебе?

— Возьми теньги, тавай ситец.

Мне стоило немало труда доказать Марии, что я не не хочу помочь ей ситцем, а просто трудно предположить, отправляясь в экспедицию, что может понадобиться отрез ситца по соседству с северным полюсом.



Берега



в Поморской губе

Повидимому, однако; мои доводы подействовали недостаточно сильно, потому что Мария и Лукерья продолжали допрос.

— А на пимы ситец дашь?

— Пимы мне очень нужны, но и за них не могу дать ситцу.

Лукерья долго кряхтела, жалась чего-то, чесала у себя подмышками. Потом, оглянувшись на двери, вполголоса проговорила о чем-то с Марией и, понизив голос до совершенного шопота, обратилась ко мне:

— Ты холоси цилавек?

— Не знаю, смотря для чего.

— Я так думаю, сто холоси.

Польщенный комплиментом, я все же насторожился, даже приблизительно не зная, что последует за ним.

— Ты песец хочес?

Нужно знать, как преследуется подпольный сбыт песка помимо Госторга, чтобы уяснить себе, на какой риск, по ее понятиям, шла старая самоедка, делая мне такое предложение.

— Нет ситец, не ната ситец. Тавай масло, мука, цаво есть.

— Ничего нет у меня, Лукерья.

Старуха безнадежно махнула рукой и вышла. Мария тихо сидела на высокой постели. Затем она длинно вздохнула и снова принялась за свое рукоделье. На полу заплакал ребенок. Он сам вылез из-под наброшенного на него меха и на корточках пополз к постели матери. Мария бросила работу, вытащила откуда-то из-под мехов тряпицу, цвет которой определить было совершенно невозможно, до того она была грязна, и сделала на углу тряпицы узел. Хвостик этого узла она помакнула

в банку с вязкой желтой жижей и сунула в рот младенцу. По горнице распространился едкий запах тюленьего жира.

Я нахлобучил шапку и вышел на воздух. Вдали на конце мыса стоял Борис Лаврентьевич. Я присоединился к нему. Он рассматривал массивный постамент, увенчанный большим крестом и обнесенный оградой. Пространная надпись, вырезанная церковно-славянской вязью, гласила о том, что крест сей воздвигнут и охраняется попечением некоего иеромонаха, бывшего настоятелем здешней часовни. Повидимому, здесь, на краю света, для святого духа не нашлось более удобного прибежища, нежели этот крест с оградой, а оставить его вовсе без обозначения монах тоже, повидимому, не рискнул, — а вдруг понадобится. Но только это очень мало вероятно. Судя по всему, все-таки Наркиз был прав — самоеду вовсе не нужна религия. Антирелигиозная пропаганда даже в том примитивном виде, как она здесь проводится, оказалась достаточно успешной. О боге самоеды здесь не вспоминают. Даже старые русские промышленники относятся к нему с большим скептицизмом. Во всяком случае, ни у кого нет желания тратить средства на поддержание храмов и причтов. Все часовни либо Госторг, либо сами артели утилизировали под склады и жилье, а служители этих церквей принуждены были обратиться к добыванию себе пропитания далеко не божественным занятием — ловлей и потрошением моржей. Единственный осколок даже не веры, а внешнего ее выражения, сохранившийся здесь, — это крест. При всяком удобном случае промышленники воздвигают крест: заметить ли место, ознаменовать спасение от бури, отметить могилу товарища. При этом в большин-

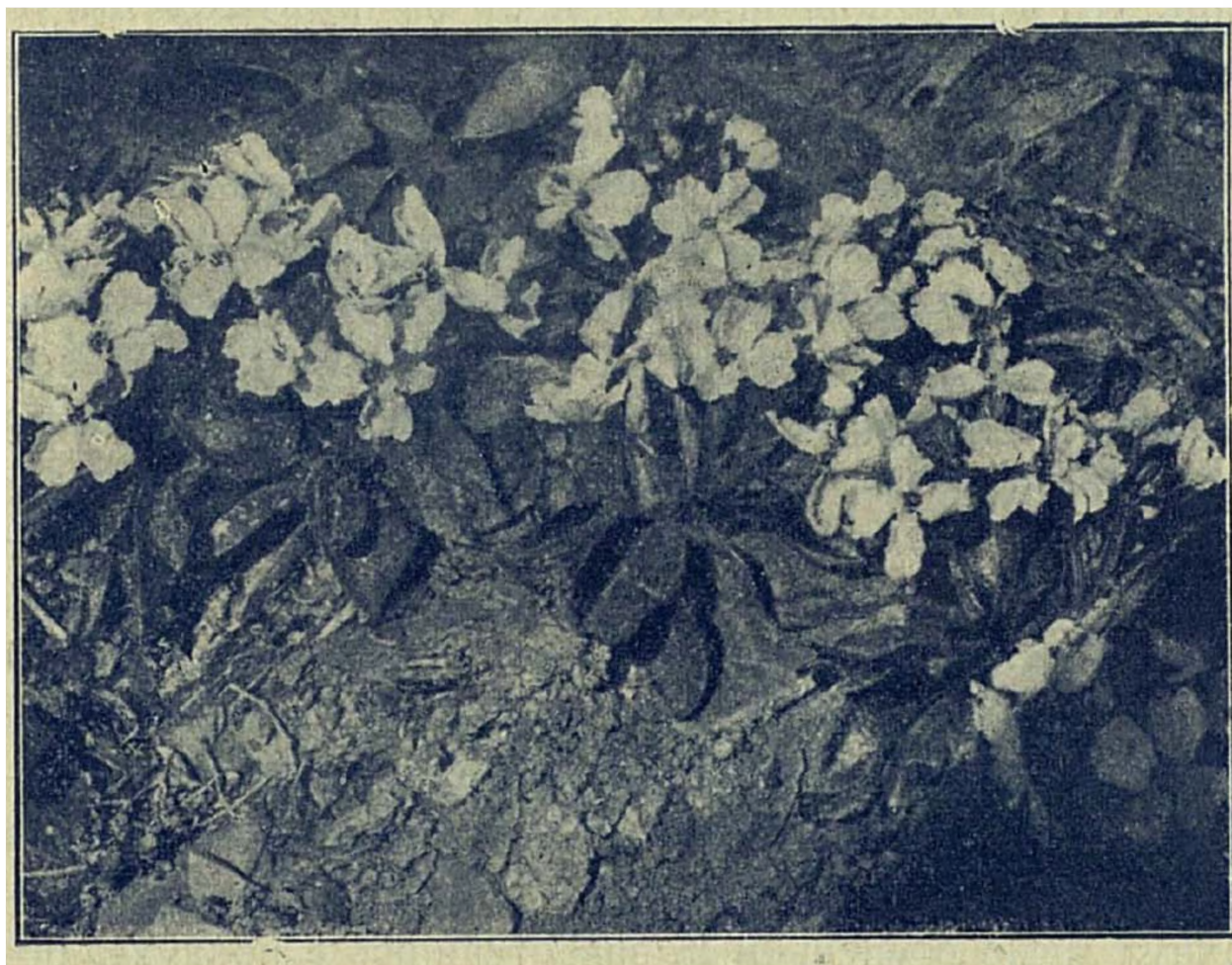
стве случаев крест истовый, староверческий, восьмиконечный. Такими крестами отмечены многие мысы и губы Новой Земли. Дальше креста, как памятника и знака, фантазия пионеров севера не идет.

Вместе с Исаченко мы пришли к метеонаблюдателю Зенкову, чтобы отдать ему визит и заодно сделать попытку раздобыть у его жены, временно заменяющей уехавшего агента Госторга, немного кофе и консервированного молока. Но, придя к Зенкову, мы увидели, что кофейные и молочные чайния придется временно оставить. В горнице уже было несколько гостей из наших же таймырцев. Сам хозяин не слишком твердыми шагами бросился нам навстречу, простирая объятия, и уже за несколько шагов выпятив губы для поцелуя. Я увернулся кое-как от выпученных, блестящих от сала губ Зенкова, и вся порция поцелуев пришлась на долю Бориса Лаврентьевича. Он пытался реагировать на это с обычным добродушием, но потом долго под шумок вытирал со своей бороды слюни хозяина.

Метеорологический наблюдатель Зенков, из бывших железнодорожников, живет в этих краях уже несколько лет. Второй год с ним живет здесь и его молодая жена. Суровая зимовка не наложила на жизнерадостную маленькую говорунью почти никакого отпечатка, и она утверждает, что ей тут так нравится, что она вовсе и не собирается уезжать на старую землю. Разве что съездит на побывку летом.

Она оживленно хлопотала около стола с немудреной закуской из только что привезенной Зенкову нашим же «Таймыром» посылки. Две-три бутылки спиртного тоже фигурировали на столе. Строго говоря, и напиток-то было нечем, но после года воздержания от

спиртных напитков алкоголь действовал на Зенкова очень сильно, и он быстро шел к естественному в таких случаях концу. Трудно сказать слово осуждения даже в этом случае. Я охотно верю, что те слезы, что появились у Зенкова при встрече с первыми вышедшими на берег таймырцами, были совершенно искренними.



Нозоземельские цветы

— Свои ведь... главное, свои, гидрографические... Ведь раз в год, — несвязно бормотал Зенков, поспешно обходя всех и пожимая поочереды руки знакомым и незнакомым. В данном случае знакомство не имело никакого значения. Важно то, что люди были свежие, не те, с которыми он просидел три года в Малых Кармакулах.

Нужно только хорошенько всмотреться в эти самые Малые Кармакулы, чтобы представить себе здешнюю жизнь человека, приобщенного хотя бы немного к культуре, в течение года фактического одиночества, среди самоедов и наших промышленников, зачастую имеющих самое отдаленное представление о городе. Мне говорили, что некий борзописец—не то из писателей, не то из журналистов—описывая в своей книжке Малые Кармакулы, рассказывает об улицах, рядах домов, даже проспект какой-то он там нашел. Вот запрятать бы этого писателя на любой самый главный проспект этого поселения, в любой из его шести беспорядочно разбросанных домиков.

Зенкову его сегодняшняя радость обошлась довольно дорого. Когда мы собирались уезжать на судно и сидели уже на катере, Зенков захотел обязательно спуститься по каменным плитам, заменяющим лестницу, к берегу. При этом он торопился и побежал по этой импровизированной лестнице. Мы со страхом смотрели, как он ускоряет движения и уже едва успевает становиться нетвердыми ногами на камни. В конце-концов случилось то, что должно было случиться. Зенков промахнул мимо ступеньки и, завертевшись в воздухе, полетел с каменного обрыва берега. Бросившиеся с катера люди подобрали распластанного в бессознательном состоянии наблюдателя и потащили домой.

По острым камням лестницы тянулся тонкий кровавый след—результат чрезмерной радости свидания с людьми.

Вернувшись на судно, мы немедленно отправили в Кармакулы катер с «доктором». Ему пришлось наложить несколько швов на голове и основательно почи-

нить корпус и руки Зенкова, долго не приходившего в себя.

Велико было наше удивление, когда на другой день поздно ночью к борту «Таймыра» подошел крошечный тузик и к нам поднялась жена Зенкова — она приехала просить нашего доктора еще раз посмотреть ее мужа.

Тем временем команда не покладая рук «ревновалась» над приведением в порядок старых кармакульских знаков и над постановкой нового знака на одном из Кармакульских островов — о. Наездника. Работа была особенно трудной. Бревна для знака нужно было поднимать на огромную высоту, причем скалы берега были совершенно отвесны. Не за что было даже зацепиться. Пришлось поднимать бревна на длинных концах. Это отнимало очень много времени, и «ревнивцы» возвращались на судно совершенно без сил.

1 сентября в последний раз ушел карбас на Наездника. «Таймыр» покинул Кармакульскую бухту и вышел в открытое море. Здесь мы бросили якорь по западную сторону Наездника, на расстоянии трех миль от него. Ждали возвращения команды со знака. Совершенно стемнело. Ночь уже по-настоящему черна. Ярко проглядывают сквозь прорывы облаков звезды.

Карбаса все нет и нет. Сирены, повидимому, не слышно на острове. Но надо думать, что команда догадается итти на наши огни, которые должны быть хорошо видны.

Наконец послышался плеск весел, и к борту подошел карбас. Люди с трудом лезли по штормтрапу, не будучи даже в состоянии поднять свой карбас. Мы взялись за это дело, мобилизовав всех матшарцев, на которых еще не начало действовать открытое море.

Через полчаса невозможно было уже сказать, где Наздник.

Кругом плескалось черное как вакса море, в двух шагах от борта сливаясь с таким же черным небом.

На палубе было темно как в колодце. На каждом шагу я наталкивался на что-нибудь то лбом, то боком, то носком туфли. Кстати о туфлях. Единственная обувь, которая у меня теперь осталась, были старые теннисные туфли. Они почернели от угля и сажи и сделались широкими как блины. Но это было все, чем я располагал, так как от знаменитых «горных» ботинок «Туриста» давно не осталось ничего, кроме жалких развалин; их даже нельзя было одеть: из дыр глядели целиком и пальцы и пятки. Сапоги находились примерно в таком же состоянии, и на них московский магазин «Турист» оправдывал свою репутацию.

Начинало покачивать как следует. К утру крен перешел уже за 20 градусов. Ветер снова принялся за свою заунывную песню в такелаже. Я попрежнему принимал ветряные ванны на верхнем мостике. Александр Андреевич попрежнему жаловался на «погоду», постукивая медяшками домино в кают-компани.

К вечеру 2 сентября, вернувшись в каюту, я застал в ней полный разгром. Ящики письменного стола были выкинуты на палубу. Все, что было на столе, оказалось тоже на палубе. Вдобавок все бумаги, дневники, блокноты, письменные принадлежности, плитки шоколада и просто носильные вещи оказались совершенно промо-ченными грязной водой, хлынувшей из ведра под умывальником. Все это вполне соответствовало показаниям креномера — его стрелочка колебалась между 25 и 33 градусами,



Перед штормом

Ходить по судну стало трудно. В проходах люди стучались плечами по очереди то об одну, то об другую переборку. Прогуливаясь по спардеку, приходилось выделывать ногами невероятные кренделя, чтобы благополучно миновать Сциллу и Харибду, с другой стороны — зияющий промежуток между шлюпками и с другой — разверстые капы машины. Раскачивающееся судно норовило бросить меня с размаху то в одну, то в другую сторону. Но обе стороны меня одинаково мало устраивали. Толкни меня в море — и, вероятно, никто на судне даже не знал бы о моей судьбе, полети я в машину — шуму было бы значительно больше, но в течение нескольких минут я был бы перемолот как первоклассная котлета.

Неважно было и в кают-компании. Привязанные к столу клетки для посуды не помогали. Все равно ни тарелку ни стакан в эти клетки поставить было невозможно; все их содержимое немедленно оказывалось на столе, а затем и на палубе. Однажды сорвались с привязи и сами клетки. Со всеми тарелками и мисками они поехали со стола. Если бы Александр Андреевич не навалился на клетку всем телом, она неминуемо была бы на палубе со всем сервизом. Долго капитан не мог успокоиться и крыл юнгу, плохо привязавшего клетку.

— Ишо пы немношко и ты, сукин сын, сакупил бы мне вся серфис. Какой ты к шортофой матери моряк, ешели ты тарелку сохранять не мошешь.

Ущерб, могущий быть причиненным качкой кают-компании, не давал покою капитану. То его беспокоила посуда, то кто-нибудь из страдающих морской болезнью матшарцев, пробираясь через кают-компанию, натыкался на книжный шкаф, угрожая целости стекол;

то, наконец, книги в этих шкапах начинали так ездить по полкам, что дверцы распахивались и все летело на палубу.

Лично же мне больше всего хлопот в эти дни доставил душ.

Струи воды никак не хотели попадать в ванну.

Следуя размахам «Таймыра», вода лилась то вправо, то влево на аршин от края ванны, и мне приходилось буквально гоняться за водой, чтобы что-нибудь попало на мою спину.

Во время такой качки каюта имела совершенно нелепый вид. По очереди то на одной, то на другой переборке висящие на вешалках полотенца и платье становились перпендикулярно к ее поверхности. Штаны, растопырившиеся до середины каюты, медленно возвращались к стенке; на смену им с другой стороны тянулось в середину пальто.

Так шло изо дня в день и мы отсчитывали мили, пройденные на пути к Архангельску, как вдруг однажды за ужином, когда мы были примерно на долготе Колгуева, радист появился в кают-компании и подал капитану бланк радиограммы. Повидимому, это не было обычное сообщение судам о предстоящей погоде и ледовых условиях, у радиста был слишком таинственный вид. Капитан, медленно разбираясь в телеграмме, тоже насупился.

Оказывается, Убеко предписывало во что бы то ни стало зайти на Канинскую землю, к устью реки Москвиной, и снять рабочую партию, ставящую там мигалку. Ради этого нужно было сходить с курса и потерять несколько дней. Никому это не улыбалось. Нехотя Александр Андреевич напялил фуражку и пошел на мостик

отдавать распоряжение об изменении курса стоявшему на вахте Пустошному.

От огорчения в этот вечер капитан играл в «козла» еще хуже, чем обычно.

5. У КАНИНСКОЙ ЗЕМЛИ

Со второй половины дня 4 сентября идем параллельно Канинской земле, определяясь по счислению. Ни одного пеленга взять не удастся, так как земля все время задернута туманом. Изредка на очень короткий промежуток времени раздернет, но, прежде чем штурмана успеют схватить какую-нибудь приметную точку для пеленгования, окно снова затягивается. Очень странно, что такой густой и постоянный туман держится при довольно сильном и ровном норд-норд-ост.

Несмотря на близость земли, крепко качает. Достаточно крепко для того, чтобы страдающие от качки не имели возможности выйти наверх полюбоваться канинской тундрой, даже тогда, когда туман, наконец, согнало.

На совершенно ясном горизонте предстали изжелта-зеленые пологие возвышенности канинского берега.

Повидимому, счисление было сделано верно и лаг врал относительно мало — мы вышли почти совершенно точно к заметному разлогу, у которого видны беленькие конуса двух палаток. Несколько левее на небо проектируется высокая ажурная башня: вероятно, это и есть новый знак.

Несколько дальше вглубь тундры, на косогоре, видно большое оленье стадо и около него белеет конус чума.

К тому времени, как мы приблизились к берегу на три-четыре мили, почти совершенно стемнело. Около знака покраснелась искорка костра. Постепенно искорка раздувалась и превратилась в мятущееся длинное пламя. Значит, нас увидели и показывают нам место своей стоянки. Капитан ухватился за рукоятку гудка.

Попеременно гудок и сирена кричали и выли в течение получаса, но на берегу не было заметно никакого движения, которое говорило бы о том, что оттуда собирается к нам шлюпка. Либо там нет никаких плавучих средств, либо рабочие не решаются идти в такой прибор. Широкая белая лента опоясала все побережье. Это говорит о том, что берег здесь отмельный. В некоторых местах приливная волна разбивается в расплывчатые белые пятна, далеко не дойдя до берега — там либо кошки, либо рифы.

В таких условиях вполне понятно, что с берега не решаются выйти на шлюпке.

Но ждать, пока спадет или переменится ветер, просто невозможно. Это может продолжаться и день, и два, и три. Всем надоело бесцельное мотание, и хочется скорее в Архангельск. Всем, кроме капитана, который совершенно стоически относится к таким вещам, как задержка на несколько дней.

— Путем штать потхотяшего фетра.

— Но, Александр Андреевич, ведь его можно ждать и неделю.

— Мошно и тфе. Я нишего не могу скасать.

— Этак пропадешь.

— Нишефо. Мы на якоре постоим. Это пустяки. Вот пыфало на паруснике в полосу штиля попатешь в открытом море, так тут уше не отстоишься — трейфует

неисфестно куда и зашем... Пойдем люшше в косла по-икраем.

Однако за «козлом» я поднял «бузу»: не ждате, пока с берега придут к нам, а итти туда самим. Капитан только смеялся в седые усы. Пустошный безнадежно махнул рукой и ушел спать. Один «молодой» Андрей Андреевич принял мою сторону и согласился попытаться катером подтащить карбас к прибою, но с тем, что на берег-то мы будем выходить уже без помощи катера, во-первых, и с тем, что гребцами пойдут добровольцы, во-вторых. Нам только этого и нужно было. Быстро набрали нужное число гребцов и стали спускать карбас и мотор. Задача оказалась не такой простой. Карбас кидало волной и било о борт корабля. С большим трудом забрались в карбас и отошли от «Таймыра».

Зарываясь в волну вместе с защитным брезентовым чехлом, катер медленно тащил нас к берегу. По мере того как наш карбас то взлетал на гребень волны, то скатывался в глубокую темную бездну, буксирный фал-линь то натягивался как струна, дергая карбас так, что трудно было усидеть на банке, то свертывался и подпускал нас к самому катеру: вот-вот ударим его в корму своим носом. При каждом ударе волны в карбас нам наливало целые водопады воды.

Глядя с «Таймыра», мы недооценивали волну. Почти никто из нас не одел брезентовых костюмов, и теперь мы были мокры до нитки. Холодные струи воды сначала только щекотали спину. Затем я почувствовал, что сижу на холодных штанах. Наконец вода стала стекать по ногам. Мало-по-малу пришлось стиснуть зубы, чтобы они не стучали: пронзительный ветер делал свое дело.

Однако долго нам мерзнуть не пришлось. Огромный пенистый вал подхватил нас самой вершиной. Одновременно карбас встал на попа, носом вверх. В корму хлеснуло волной, а на носу раздался треск, и фаллинь—просмоленный канат толщиной в руку—взвился в воздухе как оборванная тетива. Он лопнул.

— Весла на воду! — заорал во всю глотку наш рулевой.

Быстро стала согреваться спина. У некоторых от одежды начал клубиться пар. Надо было удержать карбас против стремительного напора прибоя и не дать его сносить, как попало, к берегу.

К нам должен был перейти с катера «молодой», чтобы стать на руль при выходе на берег, но катер болтался в четверти мили от нас. На корме его стоял «молодой» и что-то кричал. Ни слова не было слышно. Наш рулевой матрос не знал, что ему делать.

— Как, робя, к берегу пойдём, ай за Андрей Андреичем к катеру?

Не бросая гребли, стали подавать голоса.

— Ни к чему Андрей Андреич, сами дойдём.

— А куда выходить-то, ты знаешь?

— А он, думаешь, знает?

— Ну, на то он и командир.

— Верно, пускай отвечает, а то карбас в щепы разнесёт — нам отвечать.

— Это не ладно, айда к мотору, возьмём Николаева. Одновременно разобрали, что Николаев делает нам с катера знаки подойти к нему.

С большим трудом приблизились к катеру и осторожно подошли на расстояние двадцати метров. Взмахом набежавшей волны нас столкнуло с катером. На

один только миг борта соприкоснулись, и снова катер как мячик отлетел от нас. Но «молодой» был уже у нас и выкарабкивался из воды со дна карбаса, чтобы стать на руль.

Стуча мотором и зарываясь в воду, катер ушел к «Таймыру», а мы стали бочком продвигаться к береговым бурунам. Однако после часа напрасной борьбы с приливом стало ясно, что сегодня у нас ничего не выйдет. Невозможно было отыскать в пене прибоя место, где вливается речка Москвина, чтобы войти в ее русло. Всюду бурлила белая пена.

Против разлога, откуда должна была вытекать Москвина и где стояли люди и махали нам руками, пена была особенно сильной.

«Молодой» не захотел рисковать карбасом и повернул обратно.

Совсем стемнело. «Таймыр» угадывается только по огням. Временами, когда между нами и «Таймыром» становятся высокие горы мятущейся в реве воды, исчезают и эти путеводные огоньки.

Грести невероятно трудно. Весло то уходит в воду по самую уключину, то невозможно достать до волны даже его концом. То-и-дело кто-нибудь срывается с банки и задравши ноги летит на дно карбаса. Подвигаемся так медленно, что совершенно не заметно приближения к судну.

Два часа ушло у нас на то, чтобы вернуться к кораблю.

С облегчением услышали команду:

— Правая гребь, левая табань!

Карбас нырнул с волны и вошел в более спокойную полосу с подветра «Таймыра». Один за другим разви-

лись сверху несколько фаллиней. Но их не так просто было от нас поймать. Карбас не стоял на месте.

— Суши весла!

По носу карбаса стукнул штормтрап и сейчас же исчез в нескольких метрах. Снова он рядом с нами и снова убежал. Так по одному, ловя мотающийся штормтрап с прыгающего на волне карбаса, мы перебираемся на палубу.

От сброшенной одежды потекла широкая полоса воды. В дверях появился юнга Алешка.

— Николай Николаевич, у вас опять с подмывальника ведро плещет?

Но, увидя груды мокрой одежды, только махнул рукой.

В кают-компании матшарцы встретили нас не особенно любезно.

— Эх, вы, морячки тоже!.. До берега не дойти. Из-за вас теперь еще сутки потеряны.

Но на нашей стороне оказался капитан.

— В такой погод как мощно кафарить... ведь погода, это понимать нада.

Все примирились за ведерным чайником дымящегося кофе, заботливо приготовленного на паяльной лампе механиками.

Я с наслаждением вытянулся в своей теплой койке, убаюкиваемый широкими размахами болтающегося, как поплавок на привязи, корабля.

Однако выспаться так и не удалось. Над головой при каждом наклонении судна грохотал штуртрос. Временами казалось, что освобожденное перо руля со всего размаха бьет своей многотонной массой по стальному борту «Таймыра».

Утром поднялся вопрос, доколе же ждать? Особенно нетерпеливы были матшарцы. Но Александр Андреевич категорически отказался отпустить на берег карбас, не говоря уже о моторе. Только во второй половине дня, когда ветер как-будто немного спал, капитан согласился отпустить желающих, сделать еще одну попытку высадиться на берег.

На этот раз мы были умнее и с ног до головы оделись в непромокаемое. Спустили самый большой баркас. Уселись восемь гребцов. Николаев на руле

Разницы в волнении со вчерашним нет никакой. Преимущество только то, что сегодня светло. Подгоняемые приливом, мы быстро подошли к полосе пенистого прибоя. Здесь возник вопрос, где же подойти к берегу так, чтобы не прикончить карбас.

Решили спускаться кормой на дреке.

Выбрав момент, «молодой» закричал:

— Бросай дрек!

Линь стал быстро развиваться. Нас тащило к берегу.

— На воду!

— Навались!

Цепляясь лопатками весел за песок, изо всех сил налегаям на весла.

— Бери на прикол!

Но это излишне, нас и так уже выкинуло во всю длину конца.

Один за другим прыгаем за борт. Воды немного—по колено. Быстро идем к берегу. В карбасе остались двое на тот случай, чтобы выбрать его дреком, если станет прибоем бить о грунт.

Навстречу нам по берегу уже бегут люди. Это оказались рабочие, ставившие знаки. После первых привет-

ствий выяснилось, что они не имеют никакого намерения грузиться с нами.

— Так мы же имеем предписание снять вас!

— А мы имеем предписание закончить работу к 10 сентября, когда за нами должен зайти сюда «Полярный», возвращающийся с постройки знаков на Колгуеве.

— Как десятого, когда вчера, 3 сентября, мы получили указание Убеко?

— Да у нас еще работы-то на неделю... Вот, может, их вы должны снять, — рабочий указал в сторону белющих в километре палаток.

— Так разве это не ваши палатки?

— Не, это гидрографы.

Пошли к гидрографам. Оказалось, что и их партия ведет работу по съемке берега и не собирается с нами уходить. Она сделала интереснейшие открытия в отношении неточности прежних карт канинского берега и надеется проделать еще много съемок до прихода за нею судна.

— Так на кой же чорт мы здесь торчим вторые сутки?

— А мы думали, что вам от нас что-нибудь нужно, или новую партию привезли. Вон я даже самоедов, которые везли нас по берегу, не отпустил, когда вас увидел. Со всем стадом здесь стоят. Думал, вам могут понадобиться.

Действительно, на холме вдалеке виднелось давешнее стадо и беленький конус чума.

— Значит, мы спокойно можем уходить?

— Вполне.

— Вот тебе и соревнование!

Особенно повеселели матшарцы. Их жажду скорее попасть в Архангельск подогрела еще оказавшаяся в незначительном количестве на берегу Канинской земли морошка. Они с жадностью набросились на ягоду. Я попробовал сорвать несколько более или менее побелевших уже ягод, и то у меня физиономию повело в сторону. А матшарцы с наслаждением набивали рот красной, совершенно неспелой ягодой.

У кого-то это вызвало даже ассоциацию с земляникой.

— Вот приеду в Архангельск, первым делом пойду куплю земляники.

Матшарцы так увлеклись морошкой, что мы не заметили, что рядом с нами бредут по осыпающемуся мшистому ковру берегового обрыва и два матроса, оставшиеся сторожить карбас. Одного взгляда в сторону нашего карбаса было достаточно, чтобы понять последствия их появления здесь. Карбас неистово бился на все более и более разыгрывающихся гребнях прибоя. Полоса прилива подошла уже по крайней мере на двадцать—тридцать метров ближе к берегу, чем была, когда мы высадились.

Мы опрометью бросились к берегу. Путь нам перегородивали непроходимые нагромождения леса-плавника. Здесь его было такое большое количество, какого мне еще никогда не приходилось видеть. Повидимому, значительная часть леса, уносящаяся в Ледовитый океан реками, сносится течением к восточному берегу Канинской земли. Здесь скапливается не только много обычных обрубков и обломков, служащих отличным топливом, но можно найти и вполне пригодные для строительных нужд бревна.

Прыгая с бревна на бревно, застревая между сучьев, я с трудом преодолел эту естественную засеку.

Бежать по рассыпающейся под ногами мелкой гальке было тоже не так легко, и я совершенно задыхался, когда подбежал к речке Москвиной. Быстрая речушка, с совершенно кристально-прозрачной водой выбегает из глубокого разлога среди прибрежных холмов в их самом высоком месте. Но от моря ее отгораживает полоса более высокого, чем ее русло, грунта, и вода растекается мелкой широкой лужей. Вот почему мы из-за прибой и не могли найти входа в речку.

Перебравшись в брод через Москвину, мы добежали до берега против того места, где мотался на волнах карбас. Теперь до карбаса было не меньше сорока метров, волны уже пенились и рассыпались в прибой по эту сторону карбаса. Вода быстро прибывала.

Добежавший к берегу первым, Шведе дошел до карбаса по грудь в воде. Он сейчас же взялся за работу. Следующего волна накрыла по самые плечи. Я шел уже, все время прилагая усилия для того, чтобы не упасть от бешеных ударов волны. У самого карбаса меня накрыло с головой, и если бы я не успел ухватиться за его борт, вероятно, не смог бы устоять на ногах и был бы сразу от него отброшен.

Но хуже всех пришлось «молодому». Он шел последним. Небольшой рост его привел к тому, что вода дошла ему до горла. Мы могли только смотреть, как время от времени его накрывает волной. Дрек держал крепко. Линь был весь вытравлен, и, видя всю трудность положения Андрея Андреевича, мы не могли поодвинуться к нему ни на один сантиметр.

Наконец его удалось ухватить и втащить в карбас.

Мокрые и вымотанные борьбой с волнами и ветром, мы, наконец, добрались до судна. На этот раз не спасло и брезентовое платье. Но все были вполне удовлетворены — «Таймыр» мог больше не терять ни одного часа.

6. ОГНИ ДОМА

Качки как не бывало: На палубе стали появляться вчерашние тени. Матшарцев трудно узнать. Куда девались небритые щетинистые щеки? Куда исчезли замусоленные робы? На Шведе свежий синий костюм. Обсерваторский повар сверкает пуговицами нового бушлата. Все приоделись, почистились. И главное, повеселели от одного сознания, что скоро справа должна показаться тонкая полоса Терского берега — берега старой земли.

Со звоном и грохотом, погоняемые неутомимыми руками машинистов, вертятся валы, мелькают шатуны. За кормой на ровной зыби горла Белого моря остается пеннистая полоса от винта. Один за другим подходят матшарцы к лагу и, запомнив его показание, бегут в рубку посмотреть, сколько осталось.

На спардек невозможно сунуть носа. Реки, фонтаны воды с шипением вылетают из двух брандспойтов: скачивается палуба. С каустиком, щетками и метлами матросы отмывают почерневшие за плавание доски. Настроение необычное. Боцман, священнодействующий медным наконечником брандспойта, непрестанно отпускает тяжеловесные шутки по адресу весело скребущих щетками матросов и нет-нет да пройдетя по чьей-нибудь спине сверкающей, переливающей на солнце миллионами искр, твердой как оглобля струей. Высокий

краснощекий молодой матрос, моя обычная пара по банке при гребле, за спиной у боцмана ловко выделяет на скользкой палубе кренделя чарльстона.

Спардек блестит. На спардеке не осталось ни одной соринки. Боцман со всею ошетиленной метлами и щетками свитой переходит на верхнюю палубу. Спардеком завладевает молодежь со шкуркой и мазью в руках. Начинается драяние медяшки.

— Ревнуетесь?

— Какая «ревность», «ревность» кончена, теперь муда пошла.

Молодым матросам и практикантам из морского техникума сильно не понутру это скучное занятие. Они отводят душу зубоскальством. Однако через несколько часов все судно сверкает чистотой и порядком

Закат застаёт всех свободных от вахты людей в бане и ванной. В нашу ванную комнату невозможно войти. Из нее пышет как из котла. То-и-дело оттуда выползает совершенно распаренная, до пунцовости красная физиономия.

В кают-компании последний «козел».

На мостике в рубке Пустошный наводит лиск в вахтенном журнале. В полумраке штурвальной слышен голос практиканта Тенно, за меланхолическим поворачиванием штурвала мечтающего о какой-то «ней». Он невесел. Он учится в Ленинградском техникуме, и в Архангельске ему предстоит проскучать до следующего рейса «Таймыра» — последнего осеннего рейса.

— Уж лучше бы вовсе не возвращаться в вашу дыру.

Стоящий рядом с Тенно матрос, чарльстонист, повидимому, архангелец; его задевает замечание Тенно.

— Дыра... что ты, чухонская селедка, понимаешь!

— Знашь, понимашь... у, дылда!

Оба сумрачно замолкают. Лицо Тенно едва видно в слабом свете, поднимающемся над компасом. Поблескивает в отсветах надраенная медь.

Матрос берет тряпицу и сосредоточенно начинает начищать медь нактоуза. Тенно норовит так повернуть штурвал, чтобы двинуть нагнувшегося матроса ручкой по голове.

Я вхожу в рубку к Пустошному.

— Федор Матвеевич, вашего гуся опять нет в клетке.

Пустошный посмотрел на меня дикими глазами и бросился на спардек. Через минуту он вернулся, сердито сопя.

— Ну, знаете, вы такие шутки бросьте!

Даже не верится, что речь идет о простом сером гусе. Откуда столько нежности в этом суровом молчаливом моряке, везущем серую полярную птицу своему карапузу?

На мостике показалась белая фуражка капитана. Чехол на ней сегодня действительно белый— не скажешь, что им подтирали палубу в кочегарке.

— Ну, как, Николая Николаич? Скоро том.

— А когда, Александр Андреевич?

— Савтра после опета притопаем. Вот Святой нос.

Палец капитана упирается в черную ночь. Откуда там Святой нос?.. Я ничего не мог различить.

Вдруг далеко-далеко мелькнула звездочка у самой воды. Мелькнула и скрылась. Снова мелькнула — посветила немного дольше и загасла опять. Маяк Святой нос. Мы в Белом море.

Прошли маяк Городецкий. Его свет еще не успел исчезнуть за кормой, как вправо от курса далеко впереди

мелькнул слабый луч новой беленькой звездочки—маяк Орлов.

Теперь пойдём как по улице.

Ночь необычайно черна. Тихо и тепло. Даже вода, серая, неприветливая вода Белого моря, кажется темным мягким бархатом, на который, как серебряная вышивка ломаными сабельками, ложится свет иллюминаторов. От огней маяков все кругом кажется особенно уютным. Не хочется громко говорить.

Рядом со мной над бортом склоняется чей-то носатый профиль. Никольский — магнитолог Матшара. Студент. Обычно бурно говорливый, он медленно цедит:

— Вот, вам не понять... Ведь тринадцать месяцев!..

— Дом?

— Да, дом... университет...

— И арбуз?

— Нет, книга.

В полоску света попадает серая щетина механика Осипа Михайловича.

— Николай Николаевич!

— Ась?

— А как бы это через печать, чтобы «Таймыра» моего подправить, а?

— Подправить?

— Ведь душа изболела. Судно-то, судно ведь какое! Сколько на нем еще сделать-то можно!

Да, какое судно! И сколько еще на нем можно сделать на необозримых пространствах Ледовитого океана.

— Уж это не ваша забота, Осип Михайлович. Вам на покой пора.

— Нет, на покой я вместе с «Таймыром» пойду. Мы оба жилистые. Еще поплаваем.

— Та, еще попляфаем, — выплывает белая фуражка капитана.

— Поревнуетесь?

— Порефнуемся.

От ослепительного сверкания льдов выцвели глаза. Кожа побурела в суровых штормах и снежных буранах самого неприветливого из океанов. У капитана складки лица пропитаны солью и ветром. Механик пропах гарью и маслом машины. Из-под черных околышей фуражек серебрится седая щетина крепких затылков. И все-таки:

— Поревнуемся!

По курсу мигает Орлов.

Городецкий пропал.

Тихо.

Темно.

Уютно и хорошо от родных огней.

Уверенно и ровно стучит машина.

Тихо шуршит штуртрос.

Справа и слева от меня седая щетина крепких затылков.

Да, они поревнуются!

Сост. М. Мурашев

от Гринича 45 50 60 65

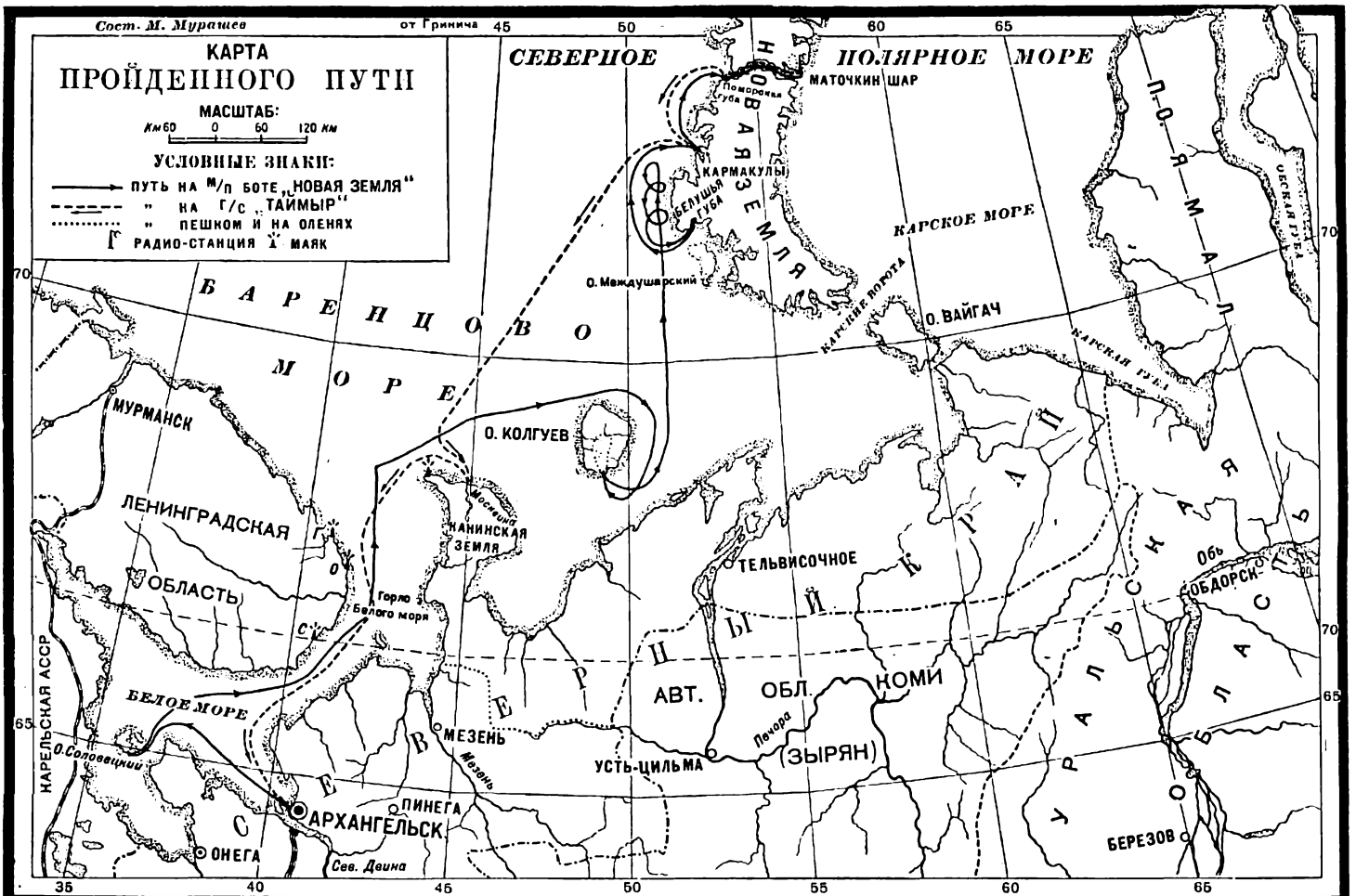
КАРТА ПРОЙДЕННОГО ПУТИ

МАСШТАБ:

0 60 120 км

УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ:

- ПУТЬ НА М/П БОТЕ „НОВАЯ ЗЕМЛЯ“
- - - ПУТЬ НА Г/С „ТАЙМЫР“
- ПУТЬ ПЕШКОМ И НА ОЛЕНЬХ
- Г РАДИО-СТАНЦИЯ И МАЯК



ПЕРЕЧЕНЬ ТУЗЕМНЫХ СЛОВ И СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕРМИНОВ, ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ В ТЕКСТЕ

Обозначения в скобках: (м) — морской, (к) — колгуевское наречие, (нз) — новоземельское наречие.

Анцá — сын (к)

Ау — утка (кнз)

Айбардам — есть сырое мясо (кнз)

Амдигам — есть вареное мясо (к)

Апóй — один (кнз)

Анó — лодка (кнз)

Арко анó — большая лодка

Арко седéй — высокие горы

Ама́м — я съел

Аумансь — кушать (нз)

Бак — носовая часть верхней палубы судна (м)

Бык — ездовой олень-самец (кастрированный)

Баланс — лесотехнический термин, означающий сортимент дерева, изготавливаемый для переработки на целлюлозу и древесную массу.

Ва́у — верхняя постель из меха (кнз)

Ванты — пеньковые или проволочные тросы, удерживающие мачту с боков (м)

Ва́рко — сказка (кнз)

Вартí — мизинец (кнз)

Важенка — олень-самка старше года

• **Гальюн** — уборная (м)

Голец — рыба из сем. лососевых

Даня — да (кнз)

Дрек — маленький якорь, кошка (м)

Енсдиэ — клюква (кнз)

Едлым — ехать (кнз)

Енырть — стрелять (кнз)

Ембац — одеваться (нз)

Емссад — одеваться (к)

Ейя — покрытие чума из шкуры (кнз)

Ебц — зыбка (к)

Ебцана мьяла ацкы — грудной ребенок (к)

Едьяуам — большой (кнз)

Едьяуягу — здоровый (кнз)

Едьяу — болезнь

Зипун — местное название сукна для покрытия чумов (к)

Ирт — прямо (кнз)

Иоиня — чрезседельник (кнз)

Ий — зять (кнз)

Идга — вода (к)

Ия — мука (кнз)

Иомзяда — безымянный палец (кнз)

И — вода (нз)

Жумка — чарка (арго)

Камыс — шкурка с нижней части ноги оленя

Қакода си — дымовое отверстие в чуме

Кап — колпак над иллюминатором, выходящим на палубу (м)

Клотик — точеный кружок, увенчивающий мачту (м)

Клюз — отверстие в борту для прохода якорного каната (м)

Кливер — передний треугольный парус (м)

Киркэ — птица

Кубрик — жилое помещение команды (м)

Кошка — мель (м)

Лаг — прибор, отсчитывающий расстояние, пройденное судном.

Лаглинь — шнур, на котором укрепляется вращающийся в воде винт лага (м)

Липты — меховые чулки мехом внутрь
Лызерма — голубика (кнз)
Лончак — прошлогодний теленок-самец (олень) (кнз)
Лымбра — грудь (к)
Лапта — равнина (нз)
Лопарь — канат, на котором подвешивается шлюпка к шлюп-балке.
Линь — веревка (м)

Мерко — скоро (нз)

Малица — оленья шуба без застежки, мехом внутрь

Мотьейня — вохжа (к)

Маня — направо (к)

Марага — морошка (кнз)

Мя — чум (кнз)

Мер — скоро (нз)

Маханя — направо (нз)

Мат — шесть (кнз)

Массада — мыться (кнз)

Мод — бросать (кнз)

Ма — спина (кнз)

Мунця — усы, борода (кнз)

Морта — ветер (к)

Малэу — сытый (к)

Миля морская — равна 1,85 км.

Нум — бог (к)

Ня — рот (к)

Няряна адэ — брусника (к)

Нэдэть — средняя постромка (кнз)

Нне — жена (кнз)

Нненец — муж (кнз)

Ниацкы — дочь (кнз)

Невял — мать (кнз)

Несял — отец (кнз)

Ньоцко ано — лодочка

Нянь — русский хлеб (кнз)

Нянму — щека (к)

Незаминдясян — уздечка оленьей упряжки (кнз)

Нямд — рога (кнз)

Няр — три (кнз)
 Нядэ — ягель (кнз)
 Намна — лончак
 Ни — пояс (кнз)
 Нюркась тара — вставать. (к)
 Ньяссад — раздеваться (кнз)
 Ной — сукно (кнз)
 Нямсо — живот (кнз)
 Неблюй — шкура молодого оленя старше 2-х месяцев

Ормам — кушать (кнз)
 Ормамкарылец — голодный (досл.: хочу есть) (кнз)
 Определение по счислению — определение места судна на основании учета пройденного расстояния по лоту и на основании курсов, взятых по компасу
 Определение по обсервации — определение места судна по засечке на известные видимые точки (берег, остров)

Парко — скоро (к)
 Пимы — меховые сапоги мехом наружу
 Постель — шкура со взрослого оленя
 Паница — женская шубка с застежкой, мех на обе стороны
 Пюнг — ива (кнз)
 Подяр — хомут (кнз)
 Пиво — пимы (кнз)
 Паны — паница (кнз)
 Пелеинясян — соединительная постромка (кнз)
 Пясик — костяной костылек (кнз)
 Пиптя — губы (кнз)
 Пий — ночь (к)
 Пяруи — чайник (кнз)
 Пирця — высокий (нз)
 Пыжик — шкура с теленка до 2-х месяцев
 Пябтя — деревянное кольцо в сбруе (кнз)
 Понар — тысяча (кнз)
 Пыя — нос (кнз) ●
 Пэ — камень (кнз)
 Пя — дерево, дрова (кнз)
 Пикця — большой палец (к)

По — год (к)
Пау — шитая женская сумка (к)
Приуы — есть вареное мясо (нз)
Пеленг — засечка, определение направления на известную точку

Реска — хлеб самоедского печенья (к)
Рундук — шкаф, комод, ящик (м)
Рында — колокол, в который бьют склянки на судне (м)

Сине — туман (кнз)
Совик — оленья шуба без разреза мехом наружу
Седэй — горы (кнз)
Сятня — налево (кнз)
Сса — боковая построжка (кнз)
Саук — совик (кнз)
Сауа — шапка (кнз)
Самсяг — пять (кнз)
Сэдор — шить
Сиэ — точило (кнз)
Сиде — два (кнз)
Сиу — семь (кнз)
Синдет — восемь (кнз)
Сипун — см. Зипун
Сеу — глаз (кнз)
Сырэця — важенка (к)
Сырэ — сырычка (к)
Сырычка — олень самка младше года
Сую — теленок (к)
Сэй — сердце
Саре — дождь
Сымзы — стойка тагана (к)
Соломбала — портовая часть Архангельска.
Стрельная лодочка — маленькая, очень легкая дощатая лодка на одного гребца, максимум двух; употребляется на Н. Земле промышленниками при охоте на морского зверя.

Тюр — хорей (кнз)
Ты — олень (кнз)
Тоба — копыто (к)

Тэд — четыре (кнз)
Тивя — зубы (к)
Туни — ружье (кнз)
То — озеро (кнз)
Тынзе — веревочный аркан (кнз)
Тороу хобу тынзе — кожаный аркан (кнз)
Тоубйоуа — кожа (кнз)
Тем — завязка на пимах (к)
Тар — оленья шерсть (кнз)
Тара́ — делай (кнз)
Той — лоб (к)
Тюнью — шест у чума (кнз)
Тирд — перекладина тагана (к)
Тибэ — зубы (нз)
Турпан — местное название гаги (кнз)
Тузик — маленькая лодочка на одного гребца, иногда складная парусиновая (м)

Уто — грузовая нарта (кнз)
Уэнко — собака (кнз)
Ум — трава (кнз)
Умб, яда — указательный палец (кнз)
Уда — рука (к)
Утяр — нижняя постель из травы (кнз)
У — шест у чума (к)
Уд, эся — кольцо (кнз)
Убеко Севера — сокращенное название управления по обеспечению безопасности кораблевождения в северных морях.

Фаллинь — толстый буксирный канат шлюпки (м)

Жаневось хэсь — охотиться (кнз)
Хорей — длинная палка для управления упряжкой
Хой — горы, тундра (кнз)
Хрей — песчаные холмы (кнз)
Харнипонг — можжевельник (к)
Хар — ножик (кнз)
Харнико — трубка (кнз)

Ханес — спать (кнз)
Хынц — песня (к)
Харнзе — ножны
Хоудэ — куропатка (к)
Хоба — постель (кнз)
Хабтэ — бык (олень) (к)
Хан — пассажирская нарта (кнз)
Хобсю — десять (кнз)
Ханте — бык (к)
Хоре — хор (к)
Хор — олень-самец производитель
Ха — ухо (кнз)
Хава — ноготь (кнз)
Хаяр — солнце (кнз)
Хопдиэ — куропатка (нз)
Хабинэ — женщина
Холгол — самоедское название о. Колгуева

Чижовка — место, где расположен архангельский таможенный и пограничный досмотровый пункт в устье Северной Двины

Штурвал — рулевое колесо (м)
Штуртрос — цепь или канат, передающий движение от штурвала к румпелю (м)
Шкертик — короткая веревка (м)

Эрьяда — средний палец (к)
Э — вся нога (части ноги названия не имеют) (к)
Эся — мешок (к)

Ым — лук (для стрельбы) (кнз)
Ырм — север (кнз)

Юр — сто (кнз)
Юбэ — юг (кнз)
Ю — девять (кнз)
Ют — кормовая часть верхней палубы (м)

- Янто** — гусь (кнз)
Янбо — тихо (кнз)
Ядергам — ходить
Якэ — дым
Яга — речка (кнз)
Янгыде — плюшка (кнз)
Яля — день, ясно (кнз)
Ян боу ни — скоро (нз)

2 р. 50 к.

